

ISSN 0132-0637

2001

Октябрь

6
Октябрь

6 2001

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

2001

ИЮНЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ольга СЛАВНИКОВА. Бессмертный. Повесть о настоящем человеке	3
Владимир ПУЧКОВ. Легкая тайна. Стихи	105
Владислав ОТРОШЕНКО. Гость. Рассказ	108
Николай КЛИМОНТОВИЧ. ...и семь гномов	111
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. Смуглый ангел пустыни. Стихи	131
Алексей ГРЯКАЛОВ. Здесь никто не правит. Рассказ	134

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир КАНТОР. Русский философ в эпоху безумия Разума	141
Федор СТЕПУН. Идея России и формы ее раскрытия	145

Пока не требует поэта...

Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ. **152**
Небесное и земное

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Первый встречный. Вольное сочинение на тему «Слово
и театр» **161**

Наталья МИХАЙЛОВА.
«Пиковая дама означает тайную недоброжелатель-
ность...» **178**

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Фэнтези **185**

Русское поле

Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ **189**

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора

Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов,
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила
Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
853 экземпляра журнала.**

**Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.04.2001. Подписано к печати 22.05.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 6375 экз. Заказ № 1072. Цена 39 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Ольга СЛАВНИКОВА

Бессмертный

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

В самом дальнем и, стало быть, самом жилом и укромном углу обычной типовой двухкомнатной квартиры ветеран Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич Харитонов лежал, глухо замурованный в своем расслабленном обабившемся теле, вот уже четырнадцать лет. «Очень хорошее, крепкое сердце», — бормотала себе под нос участковый врач, старенькая, похожая на мудрую крысу Евгения Марковна, каждый месяц добравшаяся на тонких, широко расставляемых ножках до этой квартиры и до этого угла, где парализованный простирался на свежей, косо натянутой под ним простыне, наряженный под одеялом в новые, кое-как надетые трусы. «Сердце просто как у молодого», — продолжала бормотать ученая старуха, размачивая под краном растресканную щепку дешевого мыла, в то время как жена ветерана, молодая пенсионерка Нина Александровна, держала наготове клочковатое от стирок махровое полотенце. Обе женщины молчаливо понимали, что про сердце — это не объяснение.

Было что-то странное и даже зловещее в ненормальном долголетии Алексея Афанасьевича. В отличие от большинства ветеранов той уже баснословной войны, ежегодно, хоть и неравномерно уменьшавшихся в числе, Алексей Афанасьевич пошел воевать не мальчишкой, а взрослым мужиком, уже окончившим училище и поработавшим в школе. И если эти, молодые по сравнению с ним старики, то и дело собиравшиеся под новыми, несколько бумажными на просвет красными знаменами, казались потомками тех, кто когда-то юным уходил на фронт, — совсем другими людьми, рожденными из долгого жизненного сна, в котором умерли, не выдержав непосильной длительности, истинные обладатели памяти о войне, — то Алексей Афанасьевич, напротив, поражал своей доподлинностью, пронесенной сквозь смутные и ярко освещенные годы: одним своим наличием он настолько полно удостоверял самого себя, что мало кому из облеченных властью людей приходило в голову спросить у него документы. Каждое состояние и действие этого человека длилось ровно столько, чтобы и он, и окружающие вполне осознали и запомнили совершенное; должно быть, полтора десятка человек, некогда убитых им, армейским разведчиком, беззвучно и без применения оружия, были из тех немногих, кто еще живьем приблизился к разгадке, что же такое смерть. Алексей Афанасьевич подарил им это знание, которого они сподобились, выплясывая ногами, сумасшедше косясь куда-то за собственный висок, роняя на землю автоматы, миски с супом, порнографические открытки. Самая удачливая снасть Алексея Афанасьевича — петля из крепкой шелковой веревки, имевшая преимущество перед ножом, который даже самой темной ночью ловил на лезвие неизвестно откуда брошенный свет, — ни разу не дала промашки, и сам разведчик, зажимая горстью теплое, как каша, мычание фашиста, явственно чувствовал момент, когда из тела с мягким толчком, точно спрыгивает кошка, выходит душа. В перерывах между опасной работой, чтобы не потерять инструмент, Алексей Афанасьевич носил петлю на собственной шее, как иные несознательные носили на войне на-

тельные кресты; иногда заношенный шнурок и правда принимали за крест. То ли из мужской нелюбви к сопливым постирушкам, то ли из опасения смыть с залоснившегося шелка гладкость и удачу, Алексей Афанасьевич никогда не полоскал веревку ни в одной из прелых банек, где выпадало отпаривать фронтовую соленую грязь, — и веревка, пропитываясь телом, все больше становилась частью его самого. Сзади, на шее, где грязная петля натирала худой, как велосипедная цепь, скользкий от пота позвоночник, у разведчика краснела и мокла воспаленная полоса — от нее у Алексея Афанасьевича навсегда осталась сильно чесавшаяся при сырой погоде грубая отметина.

После демобилизации Алексей Афанасьевич, имевший восемь орденов и бесчисленно наград помельче, не полез ни в какие начальники, посвятив всего себя (как писала заводская многотиражка) мирной работе в техническом архиве; однако взгляд его холодных, с каменной прозеленью, глаз содержал предупреждение, и движения его были таковы, что наблюдателю невольно думалось, сколько же весят по отдельности его обваренная загаром ручища, его хромя и его здоровая нога. Из-за фронтовой хромоты Алексей Афанасьевич шагал, будто левая половина тела содержала дополнительный, навсегда навьюченный груз, который следовало, вскидываясь и устраивая поудобнее невидимые лямки, непременно доставить с места на место: каждый следующий шаг, с опорой на крепкую, широко забирающую трость, зависел не от рельефа местности, а исключительно от навыка неспешной перекошенной ходьбы. Алексей Афанасьевич жил, никогда и ничего себе не объясняя, но как бы запоминая себя по частям, — оттого все прожитое всегда находилось при нем, и казалось, что существование ветерана просто не может прерваться, потому что какая-то часть его сознания никогда не дремлет и надежно присоединяет настоящее к прошлому, где он всегда и навечно живой. Доподлинность его, казалось, гарантировала бессмертие, при мысли о котором у Нины Александровны, бывшей моложе мужа ровно на четверть века, в душе поднимался немой суеверный вопрос и как-то ясно возникало представление о собственных похоронах — как это будет странно для нее, спящей на раскладушке рядом с высокой мужниной кроватью, вдруг улечься выше Алексея Афанасьевича, на обеденном столе, прямо в платье и туфлях под гробовой простыней.

Четырнадцать лет назад шестивие Алексея Афанасьевича по земле неотвратно прервалось. Когда он после ужина курил на тесном, курчаво цветущем балкончике, сперва вдруг зашаталась, заходила ходуном всегда бестрепетная трость, а сам он некоторое время еще стоял совершенно прямо, как бы в невесомости, прежде чем рухнул на пустые банки и тазы, заняв собою весь разгромленный балконный пятачок. Нина Александровна, прибежавшая из кухни на страшный стеклянный набат, не смогла попасть на балкон — там было некуда поставить ногу, чтобы не наступить на Алексея Афанасьевича, резко белевшего словно полувываленным из тела животом. Пока приехала бригада реанимации, пока прибежали от друзей дочка Нины Александровны Марина и зять, тогда еще просто ночующий жених Сережа Климов, пока удалось при помощи связанных полотенец вытащить с балкона застрявшее тело, словно норовившее себя обнять перекидывающимися длинными руками, прошло не меньше полутора часов. Половина лица Алексея Афанасьевича была оттянута книзу и странно размазана, точно кто пытался грубо стереть его простые солдатские черты; встопорщенные брови, всегда похожие на двух петухов, теперь разъехались в разные стороны, и левый глаз, полуприкрытый расслабленным веком, жутковато посверкивал полоской закровенвшего белка.

Таким оно, в общем, и осталось, это половинное лицо, бывшее в любом развороте всего лишь профилем чего-то человеческого. В периоды непонятных

улучшений, приходивших вдруг, Алексей Афанасьевич, криво щерясь и словно пытаясь зажевать зубами измятую щеку, иногда выдавливал какие-то дурные, протяжные, вязкие звуки, напоминающие выкрики пьяного, охваченного негодованием или жалостной песней. Иногда у него начинала двигаться левая рука: ею он возил туда-сюда по одеялу и даже удерживал, беря с осторожным, медленным подкрадыванием, странно повернутые или вовсе перевернутые предметы, неспособные, однако, заполнить пустоту его закостеневшей пятерни. Эта перевернутость вещей в бесчувственной руке Алексея Афанасьевича выражала отсутствие для него вертикалей и горизонталей нормального пространства. Когда-то Нина Александровна, женщина маленькая и с детской пушистой макушкой, гордилась богатырским ростом мужа в метр девяносто два, но теперь эта цифра, вероятно, не изменившаяся, не имела никакого физического смысла. Не имели значения также размеры одежды (Нина Александровна просто покупала на оптовом рынке самое обширное из полоскавшегося на ветру ассортимента). Выходило, что тело парализованного, по-прежнему достоверное в своем наличии, даже болеющее изредка бытовыми людскими болезнями (простуда, гастрит), вовсе не имеет пространственных размеров, а только вес, под которым никогда не звенит старинная, похожая на железную карету трофейная кровать. Вес, это невидимое свойство неподвижных вещей, был теперь для Алексея Афанасьевича, пока его не трогали, всего лишь способом взаимодействия с таким же, как и он, абстрактно-астрономическим центром Земли. Когда же Нина Александровна ворочала его по параличным меркам ухоженное тело, отмеченное старыми шрамами, напоминающими бледные расплюснутые стебли, какие бывают под валунами, ей казалось, будто она на миллиметр сдвигает с места всю незримую земную массу, принимающую ветерана за свою естественную часть. Этот ежедневный труд давался таким напряжением сил, что порою Нина Александровна долго пересидевала накачанную в голову тугую черноту, дававшую почувствовать, как в действительности непрочно попискивающие за ушами крепления черепа. Продолжала она ухаживать и за прежней одеждой Алексея Афанасьевича: его коричневые ботинки, на которых застарелый слой обувного крема походил на шоколад, стояли в прихожей рядом с ее пропыленными туфлями, в платяном шкафу висел, имея в каждом кармане средство от моли, пухлый, словно располневший от безделья габардиновый костюм, давно готовый к своей последней похоронной миссии, в которую, однако, не верило и не желало верить ветеранское семейство.

Дело в том, что неподвижность, навсегда занявшая дальний сумрачный угол квартиры, была на самом деле действеннее и активнее, чем вся другая ходячая и говорящая семейная жизнь. В новом времени, наставшем вдруг, семья Харитоновых, не получившая никаких подарков на детском празднике капитализма, существовала главным образом на ветеранскую пенсию. Беспечная Нина Александровна, всю жизнь просидевшая в тихой проектной конторе, у чистенького окошка, всегда украшенного, на манер платка, то морозными узорами, то нарядными ветками кленов, никогда не беспокоилась о будущем, потому что долгие годы каждый новый день ее ничем не отличался от вчерашнего. Любое маленькое счастье, вроде отреза заскоружло покрашенной югославской шерсти или свадьбы сослуживцев — двух немолодых, одинакового роста, инженеров, много лет ни перед кем не признававших свои отношения и наконец-то собравшихся в загс, — совершенно заслоняло от нее туманность перспектив. Потом, когда весь воздух новой жизни сделался таким, каким он бывает в комнате с выбитыми окнами, и все знакомые человеческие лица странно утекли в себя, точно вода в изношенный песок, Нина Александровна вдруг осознала, что те-

перь нельзя, запрещено и глупо радоваться чужому: тогда ее собственные радости вдруг показались ей совершенно ничтожными, словно она держала их в горсти и видела какие-то дешевые блески, цветные тряпочки, покрытые коростами мелкие монетки. Что же касается собственно денег, то обращение с ними требовало теперь особой сноровки: увеличиваясь до невероятных сумм, они одновременно уменьшались и буквально таяли в руках, экономить их было бессмысленно. Нина Александровна пыталась при случае делать запасы: однажды она невероятно дешево закупила полную хозяйственную сумку грубых макарон, что деревянно трещали в своих бумажных колчанах и варились по часу, превращая содержимое кастрюли в несъедобный клейстер. Были и другие продуктовые закупки, пересыпанные маком насекомых экскрементов и прослоенные промокашками зеленоватой плесени; когда у Нины Александровны прямо в магазине, в тесноте очередей, якорными цепями уложенных вокруг грохочущих касс, однажды стащили кошелек, она вместо ужаса испытала единственное за последние годы настоящее облегчение.

Выйдя на пенсию, она иногда встречала прежних знакомых, которых раньше все считали хваткими, умеющими устроиться в жизни: сейчас это были суетливые мужики в задастых китайских пуховиках и дамы с умоляющими глазами в полысевшем каракуле и в остатках советских металлоемких украшений, все еще сверкавших грубыми ромбами алых и васильково-синих камней. Если уж эти деловые люди не сумели приноровиться к новой товарно-денежной действительности, имевшей обмен веществ будто у землеройки и словно все время поглощавшей что-то больше собственного веса, то что говорить о Нине Александровне, всегда стеснявшейся понимать, как на самом деле устроена жизнь? В сущности, она могла рассчитывать только на других, взамен соглашаясь делать такую работу, которая изо дня в день остается одинаковой. Задержись она на службе, за которую продолжали цепляться пенсионеры, целыми днями крутившие ручки вялотекущих карандашных точилок, ей бы ни за что не выдержать резкой смены остервенелого начальства, грызни за редкие оплаченные заказы, какой-то тихой картежной интриги с акциями конторы, благодаря которой бывший директор, уволенный за сдачу помещений под склады химикатов, вдруг вернулся владельцем всех шести притихших этажей. Так получилось, что Нина Александровна ушла совершенно вовремя и теперь могла заниматься Алексеем Афанасьевичем, не выпрашивая у начальства двадцатиминутной прибавки к обеденному перерыву; она повторяла себе, что не одинока и теперь нужнее в семье.

Однако зять Сережа, который должен был, по идее, стать главой и кормильцем скромного семейства, не мог найти применения двум своим незаконченным высшим образованиям и через двое суток на третьи сторожил автостоянку, откуда всегда приносил с собой свежий, не сильнее обычного парфюма, запах алкоголя. Этот тридцатитрехлетний, среднего роста, гладко выбритый и уже практически лысый мужчина странно напоминал анатомический муляж, какой-то научно-популярный пример человека вообще; на язвительные реплики жены, отпускаемые всякий раз, когда он неосторожно брался небольшими изящными руками за домашнюю работу, Сережа отвечал безмятежной улыбкой того обезболенного оттенка, какой бывает у манекенщиков анатомических атласов, демонстрирующих на себе багровую, лаокооновыми змеями сплетенную мускулатуру. В свои свободные сутки Сережа предпочитал куда-то тихо исчезать и, бывало, являлся под утро — осторожно ковырял ключами в разболтанных замках, зажигал в прихожей воровской, из-за угла пробивавшийся в комнаты свет, изредка оставлял на подзеркальнике немного денег неизвестного происхождения, которые Марина, перед тем как идти на работу, брезгливо собирала себе в кошелек. Несколько лет назад Сережа про-

бывал промышлять, нанизывая на кожаные шнурки деревянные «талисманы», напоминавшие червивые грибы, и сбывая их в жидколиственном сквере перед городской картинной галереей, где продавалась масса всякой дребедени — от багровых мясистых пейзажей до проволочных перстеньков со слезливыми камушками, снабженными гороскопом. Марина, поощряя, за неимением лучшего, этот художественный бизнес, даже носила какое-то время подаренное мужем украшение — залитое лаком подобие получеловеческого уха, натершее на белом синтетическом свитере рыжие бородавки. Однако торговля с обшарпанного этюдника (позаимствованного для службы прилавком и в целях антуража у кого-то из дальних приятелей), разумеется, кончилась ничем. Теперь остатки товара, завернутые в старую, берестой засохшую газету, валялись под кроватью, и неудавшийся дизайнер не выказывал ни малейшего намерения взяться за что-нибудь еще.

Из всего семейства только Марина не оставляла надежды и усилий пробиться в люди. Нина Александровна не успела оглянуться, как дочь из белокурого упитанного подростка, чье лицо, казалось, было всегда измазано ягодным соком, превратилась в фигуристую женщину, затянутую в черный, дешево лоснящийся синтетикой офисный костюм. И в школе, и в университете, на факультете журналистики, Марина всегда была отличницей, но чего-то существенного не хватало в ее пятерках, в ее пространных репортажах, всегда начинавшихся, как ее учили, с какой-нибудь броской детали, — так неумелый рисовальщик, желая изобразить человека в полный рост, начинает с проработки носа и бровей, а потом получается непохоже и вообще не влезает на лист, — но у многих сокурсников Марины, не умевших расставлять запятые, карьера сложилась не в пример результативней. Те, кто списывал у нее на экзаменах, преданно дыша в плечо, теперь оказались устроены в газетах, щедро опекаемых властями, и даже превратились в щеголеватых маленьких начальников, а Марина, с ее единственным на выпуск «красным» дипломом, маялась внештатно при отделе новостей третьей ступени телестудии, занимавшей помещение обанкротившегося Дома мод, где в кладовке, на дощатых нарах, все еще прели предназначенные на продажу рулоны бурого драпа и пылился розовый, с грудями как колени, дамский манекен. Марина проводила на студии полный, как у штатных сотрудников, рабочий день — три-четыре сюжета, монтаж, — но платили ей только гонорар, что выходило меньше, чем у злобной, с гнилыми глазами, уборщицы, вечно ворчавшей, что на пол ей поналожили разных проводов. Марина пыталась делать и авторскую программу: интервьюировать городских и заезжих сумасшедших в условном оранжевом помещении, оставшемся от старой детской передачи и бесхозном по причине радикальной окраски стен, превращавшей лица студийных комментаторов в подобие яичницы. В помещении не было ничего, кроме громадных пластиковых кубиков вперемешку с полуразвалившимися картонными коробками из-под аппаратуры. Но Марина придумала, как использовать убогий интерьер: во время передачи она и гость то и дело пересаживались с одного кубического метра на другой (Марина, переваливаясь с боку на бок, выпрастывала юбку, что бесстрастно фиксировала камера), а из-за других разноцветных кубиков выскакивали с комментариями выпученные куклы, чьи трикотажные пасти напоминали хватающие воздух рукавицы. Однако оригинальный проект, которым бедная Марина, наконец-то допущенная к своему эфиру, гордилась несколько недель, совсем не собрал рекламы, директор «Студии А», сердитый толстый юноша с бородой как осиный клубок, носивший скромную фамилию Кухарский (дядя его, носивший фамилию Апофеозов, возглавлял не самый слабый городской департамент), собственноручно поставил на Маринином шоу начальственный крест.

В этот вечер на Марину было страшно смотреть — особенно Нине Александровне, давно не смевавшей прикасаться к дочери и не знавшей, каковы теперь на ощупь ее на много раз перекрашенные волосы. Марина молча сидела за кухонным столом, глаза ее были подернуты такою же мертвенной пленкой, как и стоявшая перед ней тарелка нетронутого супа. Она сидела не шевелясь, но в ней происходили перемены — на минуту Нине Александровне даже показалось, что эта неподвижность дочери того же свойства, исполнена той же замурованной таинственной воли, что и неподвижность Алексея Афанасьевича, лежавшего через три стены с комом овсянки во рту и с перевернутым пупсом в скрюченной руке. Муж Сережа, тоже, видимо, ощущая что-то подобное, беззвучно вытянулся по частям из-за тесного стола, потом мелькнул в прихожей, набрасывая плащ, словно пытаясь накрыться им с головой, — Марина, чуть повернув большое белое лицо, непонятно посмотрела вслед, а Нина Александровна с внезапной резкостью вспомнила, как увидела Марину и Сережу торжественной, новенькой, как из магазина, свадебной парой и отчего-то сразу поняла, что у них не будет детей.

С этих самых пор Марина влезла, как она не стеснялась объяснять домашним, в борьбу за место под солнцем, какую должен вести каждый уважающий себя человек. Продолжая каким-то образом удерживаться в «Студии А» (буквально краешком, на одной только цепкости ногтей и шпилек, подбитых железными бляшками), она вербовала сторонников и вела интригу против юноши Кухарского, для устранения которого надо было свалить не больше и не меньше, как самого Апофеозова, над которым, с переменной местной погодой, сгущались ватные тучи финансового скандала. Тут был замешан инвестиционный фонд, без остатка впитавший многомиллионный бюджетный кредит, маячили и два других каких-то племянника — смутные фигуры с недоказанным родством, но очень друг на друга похожие, с широкими круглыми мордами, на которых только посередине рисовалось что-то вроде собранных черточек, остальное лежало свободным пространством, — и оба проворовавшиеся. Племянников, именуемых бизнесменами, оппозиционная пресса поодиночке вытаскивала на интервью, но толку было чуть: молодцы, на словах отрицавшие один другого и чуть ли не отказывавшиеся верить в существование друг друга, на деле были как две катушки магнитофона, между которыми крутилась пленка, выдававшая в эфир записанный текст. Сам же Апофеозов, мужчина породистой, хотя и несколько собачьей наружности, вдруг, окутавшись грозой, сделался обольстителем и прекрасен: на обширном его, из богатого материала сделанном лице играли, перекладываясь то налево, то направо, витиеватые тени, двубортные костюмы сидели превосходно, янтарные, слегка навывкате глаза смотрели так проникновенно, что телезрители теряли ощущение материальности телевизора и отделявшего их от политика экранного стекла. Давая интервью исключительно своим, Апофеозов так часто возникал в эфире, что буквально насытил собой воздух, сделавшийся при вдыхании странно щекотным и терпким. Дух Апофеозова витал повсюду, точно сам он умер; в почте его, к тайной досаде бессменной, похожей на старого Буратино и совершенно бесполой секретарши, стали все гуще попадаться любовные письма, плохо замаскированные под политические заявления.

Но и на Апофеозова нашелся достойный враг — некто Шишков, политик и доктор наук, длинный и длиннолицый, будто шахматный король, прежде свирепствовавший на экзаменах и гремевший на перестроечных дискуссионных трибунах, ныне владеющий сетью народных пельменных, где и сам демонстративно питался. Марине-отличнице, несомненно, был духовно близок этот тип коварного и сумасшедшего профессора, ставящего на своем больном желудке бескомпромиссный эксперимент, — не говоря о том, что Шишков определенно

обещал своей бывшей студентке в случае победы должность замдиректора «Студии А» с хорошим процентом от рекламы и с окладом в шестьсот условных единиц. Эти обещанные деньги, по самым скромным подсчетам, были больше, чем могли бы принести в семью двадцать парализованных Алексеев Афанасьевичей: Марине (не знавшей, что уже подготовлен в провинции будущий директор студии, свирепый непризнанный поэт, намеренный все переделать по своему усмотрению) было за что бороться. Все средства сделались хороши: на тайных сходках, за бурым чаем с трухлявыми сушками, вырабатывался из добытого сырья правдоподобный компромат, утверждавший, например, что лично Апофеозов украл через племянников больше семисот тысяч американских долларов (в действительно три миллиона триста, о чем достоверно не знал никто, даже сам Апофеозов, как-то стыдливо не сложивший в уме миллион четыреста, миллион и еще девятьсот). На деньги дружественного банка в центральной прессе помещались аккуратные, в предположительном тоне, статьи, перепечатываемые затем, со ссылками на авторитетный источник, в местных листках. Дел у Марины стало невпроворот. Теперь она приезжала домой на разных, осторожно пробирававшихся к подъезду автомобилях ближе к двенадцати часам; в усмешке ее появилось что-то поистине змеиное. Мужа, присутствовавшего либо отсутствовавшего, она не замечала вовсе — при том, что стала, как и враг Апофеозов, странно, притягательно хороша. Она и прежде гордилась тем, что костюм ее на два размера меньше, чем потные джинсовые вещи, что она носила в студенческие годы, а теперь и вовсе похудела, навесила на талию широкий черный пояс из лаковой клеенки, с пряжкой, как дверной замок хорошей фирмы. Теперь, когда она, часто дыша воспаленным, небрежно намазанным ртом, проходила на поцарапанных шпильках по коридору телестудии, многие мужчины на нее оглядывались, а однажды сам Шишков, сидя через одно пустое место за столом секретных совещаний, церемонно привлек ее за бочок и позволил себе один отдающий пельменем отеческий поцелуй.

Нина Александровна тоже смотрела на Марину новыми глазами: полужаночная задерганная женщина, с которой стало почти невозможно соприкоснуться физически, стала для нее какой-то видимостью, домашним привидением. Казалось, будто дочь ей показывают по телевизору и все не разрешают свидания, когда можно было бы тихонько поправить ей некрасивый черный воротник, просто погладить по руке, тяжело лежавшей на клеенке, пока не начинал внезапно прыгать полусогнутый средний палец, будто клавиша испорченного механического пианино. Сразу Марина сжимала пальцы в кулак и крепко забирала их в другую горсть, но тик перескакивал ей на лицо, где принимались плясать какие-то тонкие болезненные ниточки. «Мама, отвяжись», — цедила она сквозь зубы, хотя Нина Александровна и не говорила ничего, молча обваливала, например, котлеты из дешевого липкого фарша и тут же вспоминала, как десятилетняя Маринка, бывало, прилетала со двора с запутавшимся бантом, с черной разбитой коленкой и с порога кричала: «Мама, отстань!» Нине Александровне очень не нравились эти нынешние нервы и искусственная, с рыхлыми тенями худоба, она не могла остановить воображения, убедительно развивавшего в дочери целый комплекс затаившихся болезней, но не смела просить, чтобы Марина потратила время и показала врачам, которых могла воспринимать в разгаре борьбы только как новых врагов. Лежа ночью на перекошенной, пахнущей старым брезентом раскладушке, слушая близко над собой, как тело Алексея Афанасьевича тихо бурлит пузырящимся храпом, Нина Александровна иногда позволяла себе размечтаться, что все еще будет хорошо и у нее родится внук. Иногда из соседней комнаты до нее доносились странные звуки, которые Марина и Сере-

жа, ночевавшие дома, явно производили вместе: Нина Александровна не могла объяснить себе природы этих звуков, в которых вовсе не слышалось человеческой речи, не угадывалось вообще ничего органически-телесного, а раздавались только железные взвизгивания, деревянный скрежет, бряцание упавшего бокальчика с карандашами, как будто в комнате боролась и бодалась четвероногая мебель.

Это настолько пугало Нину Александровну, что она крестилась под одеялом, неумело всаживая щепоть в наморщенный лоб. А наутро лица дочери и зятя были настолько разными, точно они вообще никогда не видели друг друга. Марина, подбоченясь у окна, покрытого птичьим пометом дождей, наспех глотала несладкий кефир и убегала на работу, оставив на холодном подоконнике мутный оплывающий стакан. Только тогда Сережа, хорошенько распарившись под душем, выходил на кухню в прилипшей майке и в красных пятнах от горячей воды, и Нина Александровна, подвигая ему поближе оставленную Мариной безо всякого внимания тарелку пирожков, думала, что зять не пьет по-настоящему лишь из-за того, что ему это не позволяет образцовый, никогда и ничем не болеющий организм. Отделенный от мира преградой неодолимой физиологической трезвости, зять, похоже, все время упирался в какую-то прозрачную стену и, ограниченный собой, был совершенно неспособен выпасть из привычки пить одно и то же слабоградусное пиво, самому наглаживать свои заношенные, пахнувшие под утюгом горелой изоляцией синтетические рубашки. Иногда Нина Александровна замечала, как зять пытается пробудить в себе интерес к окружающей действительности: линует глазами толстенные книги, раскрыв их перед собой прямым углом и словно упираясь в угол какой-то отдельной комнаты, или крутит настройку насморчного транзистора, заставляя себя внимательно вслушиваться, что делается на каждой пойманной в толще помех ускользающей станции. Изредка Нине Александровне казалось, будто зять вот-вот заговорит с Мариной всерьез и по-хорошему: тогда ее сердце сладко замирало, словно это ей самой готовилось любовное объяснение. Однако момент уходил, искра проскакивала зря, и сама Марина непременно как-нибудь портила возможность, одаривая мужа саркастической усмешкой или демонстративно принимаясь мыть посуду, в которой резко пущенная вода буквально закипала, переливаясь в раковину вместе с жиром и остатками еды. В такие минуты Нине Александровне казалось, будто зять своими зеркальными глазами видит все увеличенным вдвое; она заметила еще, что с некоторых пор Сережа приобрел привычку пожимать плечами, даже когда с ним никто не говорит.

Это была идея Марины, чтобы Алексей Афанасьевич не знал о переменах во внешнем мире и пребывал все в том же времени, в каком его свалил негаданный инсульт. «Мама, сердце!» — убеждала Марина, немедленно смекнувшая, что это лежачее тело, как бы ни было оно обременительно, потребляет много меньше, чем дает. Может, на первом этапе ясноглазой Мариной двигала не только ранняя практичность: был между нею и отчимом период первой влюбленности вздох, когда девчонка лазала по огромному Алексею Афанасьевичу, точно по дереву, забиралась к нему во все карманы, обязательно обнаруживая в одном специально приготовленные шоколадные конфеты. Алексей Афанасьевич учил ее удить рыбу, ловко набрасывать на палку фанерные кольца, и однажды они вдвоем обчистили снабженный хватательными щупальцами, полный всякой крашеной всячины чешский игровой автомат. Все это кончилось через какой-нибудь год: стрекозиный пруд на задворках новеньких девятиэтажек, бывало, дергавший, будто детские соски, два стоячих красно-белых поплавка, на другое же лето превратился в болото, покрытое ядовито-зеленым растительным пластырем, а теперь на этом месте стояли ларьки. Все-таки это

не могло забыться совсем — по крайней мере к тому довольно странному моменту, когда через месяц после телевизионной смерти Брежнева Марина повесила на стену орденосный и бровастый портрет казенного образца.

После Нине Александровне оставалось только удивляться той прозорливости, которую юная Марина, занятая как будто только Сережей да своими конспектами, проявила при самом первом историческом толчке — угадав в перемене дряхлого генерального секретаря на более молодого и деятельного не залог продолжения и прочности советской жизни, но начало конца. Она уже тогда принялась сохранять, консервировать впрок субстанцию времени, очищая ее от новых, на первых порах как будто безобидных примесей. Так получилось, что заслуженный телевизор «Горизонт», в котором цветными оставались только импрессионистские вспышки помех, показал напоследок прощание с великим деятелем современности (жирная цветочная гробница, венки, похожие на макеты орденов, вытянутая шея и пол-лица настороженного человека из очереди к телу) и окончательно погас. Временно Марина запретила покупать другой, но выписала зато газету «Правда». Никто не мог бы теперь утверждать наверняка, умеет ли Алексей Афанасьевич читать: прежде он всегда внимательно прорабатывал газеты, удерживая строчку школьной линейкой, как бы исчисляя в миллиметрах количество информации, а сейчас смотрел на приспущенный в руках у Нины Александровны газетный лист безо всякого движения в глазах, точно это было взятое ею для починки постельное белье. Нине Александровне было вменено в обязанность читать парализованному вслух отдельные статьи, которые Марина редактировала жирными вычеркиваниями и снабжала рукописными вставками. Нина Александровна выполняла приказ, стесняясь и статей, и собственного голоса, незаметно так поворачивая газету, чтобы спуститься до конца малоразборчивого Маринино предложения, и как-то мозгом ощущая, что замурованный, с темным ушибом от инсульта, мозг Алексея Афанасьевича посылает ей в ответ напряженно гудящие пятна. Временами ей казалось (она не решалась проверить), что стоит наклониться ближе к этой подсохшей голове с криво натянутой маской вместо прежнего лица, как можно будет говорить безо всяких слов.

Очень скоро внешнее время изменилось так, что даже в газете «Правда» не осталось ничего пригодного для переработки Марининым пером. Но к моменту, когда в советских душных помещениях вдруг повышибали окна (когда еще сравнительно молодой и щекастый Апофеозов в одночасье превратился из первого секретаря райкома в публично растерзавшего партбилет демократического лидера),— время внутреннее уже успело устояться. Теперь оно само держалось в комнате и обладало еле уловимым собственным запахом, не имевшим предметного источника и напоминавшим слабую кислоту сгоревшей спички. Все здесь проявляло склонность к неподвижности, к засыпанию в неудобной позе. Что-то подсказывало Нине Александровне, что в закупоренном времени не существует разницы между порядком и беспорядком: предметы, накапливаясь, теряли повседневный смысл. Бессмысленность особенно проявлялась во время уборки. Нина Александровна упорно боролась с густой и удивительно ровной пылью, охотно садившейся на мокрое и очень быстро превращавшей питательный пролитый чай в шерстяное пятно. Она без конца протира-ла, перещупывала, как слепая, все нужное и ненужное. Вероятно, Евгения Марковна про себя удивлялась тому стерильному хаосу, что поддерживался вокруг больного, когда фарфоровые фигурки на серванте выглядели будто произведения уборки, вылепленные рукой и тряпкой сияющие штучки,— и тут же теснились пустые, которые давно пора бы выбросить, аптечные бутылочки, тоже свежепротертые, ясные до видимой на дне лекарственной слезы. Застекленный брежневский портрет, на который врачиха не смотрела, но всегда огляды-

валась, выходя из комнаты, тоже был со следами тряпки, с лиловой радугой от дешевого стеклоочистителя; когда, управившись с портретом, Нина Александровна осторожно спускала на пол заголившуюся ногу с пухлыми поджилками и в два приема слезала с покачнувшегося стула, Алексей Афанасьевич удовлетворенно прикрывал правый большой и левый маленький глаз, будто увидел перед собою именно то, что хотел.

Скептический Климов, бывший против всей этой затеи (тогда еще не пораженный в правах, но со слезами защищаемый от малейших попыток тещиной критики), не раз замечал, что уж если сохранять атмосферу семидесятых, то лучше повесить портрет Высоцкого, но Марина, руководимая чутьем, совету мужа не вняла. Была, конечно, в частном брежневском портрете некая фальшь, даже иностранщина: как сказал Сережа, подвизавшийся тогда при бешено доходном, несмотря на запахи канализации, вокзальном видеосалоне: «Реквизит голливудского фильма про советскую жизнь». Однако законсервированное время, пережившее в отдельно взятой комнате свой насильственный конец, явно обладало собственными свойствами, которых в его натуральном виде никто не наблюдал.

Свойства эти были каким-то образом связаны с бессмертием. Омоложенное фото генерального секретаря, сделанное при жизни, но состоявшее наполовину из документального отпечатка, наполовину из ретуши, поражало той же самой полунарисованностью, какая бывает только у мертвых человеческих черт; точность впечатления была такова, что Нина Александровна, осознав, что именно ей напоминают бессильная складка брежневского рта и гробовая аккуратность подштрихованных волос, стала протирать портрет с опасливой почтительностью, избегая заглядывать на его оборотную сторону, где имелся полустертый инвентарный номер. Но вот что удивительно: генеральный секретарь, чья смерть оказалась отменена, чье долголетие перешло естественную черту и продолжало прирастать, каким-то образом перенял у Алексея Афанасьевичу ту доподлинность, которой сам по себе никогда не обладал. Если раньше Брежнев был условным человеком, за которого писали книги и на которого, словно играя в крестики-нолики, навешивали взаимоисключающие ордена, то теперь в его существовании сомневаться не приходилось — хотя бы потому, что генеральный секретарь больше не мог умереть. Тоже ветеран Великой Отечественной войны, он был теперь во внешнем времени не мертвым, но пропавшим без вести. Он решительно отмежевался от тех ветеранов с лицами спившихся школьников, что шли, припаркивая, за новыми коммунистическими лидерами и продолжали жить сегодняшним днем, и присоединился к беспартийному Алексею Афанасьевичу, с которым у него проявилось даже некоторое портретное сходство. Любой, вошедший в комнату (куда на самом деле почти не пускали посторонних), мог бы увидеть стершийся, как монета, лоб парализованного, пару хвойных, низко нависающих бровей — и то же самое на стене, оклеенной дешевыми обоями в посудохозяйственный цветочек. Даже Нина Александровна как-то поддавалась успокоительной иллюзии, будто Брежнев на казенном портрете — вовсе не бывший глава Советского государства, а попросту какой-то дальний родственник.

Разумеется, перед Мариной, как перед автором проекта, не мог не встать вопрос: нуждается ли призрачное время в каких-нибудь событиях? Поскольку главное естественное событие — смерть — было здесь отменено, невозможны оказались и смежные с нею происшествия: болезни, увечья, смена кадров в любом руководстве и так далее, — при попытке додумать этот ряд даже решительной (на многое решившейся!) Марине становилось не по себе. Создавалось ощущение, будто ряд уходит очень глубоко и так пронизывает жизнь, что по нему

можно добраться до чего угодно — вообще до такого, что и не мыслилось никогда в связи со смертью, — будто эти корни при попытке вырвать вершок вдруг обнаруживают страшную тягу в стороны и в глубину и только чуть приподымаются, как невод, груженный всею почвой, какая только есть под человеческими ногами. Так или иначе Марина запретила все, что могло вызывать отрицательные эмоции (в этом смысле ее застой достиг совершенства). Она решительно пресекала любые попытки Нины Александровны сообщить больному хотя бы что-нибудь частное — о том, например, что в соседнем подъезде обокрали квартиру или что племянник Алексея Афанасьевича отравился паленой водкой. «Мама, деньги!» — страдальчески восклицала Марина, видимо, все-таки имея в виду сердце Алексея Афанасьевича и при этом держась за свое, которое тоже было и, пухлое, билось под грудью. «Доченька, болит?» «Мама, отстань!» Получая привычный ответ, Нина Александровна чувствовала с левой стороны, под ребрами, тонкую ломоту, отдававшуюся тяжестью в самых кончиках пальцев, но, понимая, что уж ее-то болезни сделались, с укреплением внутреннего времени, просто невозможны, уносила все это куда-нибудь на кухню. Сердце Алексея Афанасьевича, которое следовало беречь как главное достояние семьи, представлялось ей теперь багровым крупным корнеплодом, для которого парализованное тело стало чем-то вроде грядки, оплетенной синими набухшими корнями.

Странно было думать, что это сердце когда-то ее любило: да было ли это? Когда-то Нина Александровна была красива правильной, несколько водянистой красотой, настолько лишенной собственных красок, что взгляду было буквально не за что зацепиться. Ее овальное лицо, сделанное в старомодной и тонкой манере уроков чистописания, совершенно не выдерживало той внутренней темноты, в которой всякий человек хранит и воспроизводит зрительные образы, и потому не сохранялось в памяти даже прекрасно знающих ее людей; испытывать к ней какие-то чувства во время ее отсутствия было невозможно. Вероятно, тут имелась некая тайная связь со страхом простой физической темноты, которой Нина Александровна никогда не могла преодолеть. Получалось, что никто по-настоящему не видел ни ее высоких, словно гладью вышитых бровей, ни милого очерка губ, всегда заветренных, будто полежавшие на блюде дольки апельсина, а фигура у Нины Александровны была самая обыкновенная, облик ее на улице не требовал от встречных никаких усилий внимания. Никто ни разу не попытался с ней познакомиться, не спросил телефона, даже когда она нарочно гуляла вечерами по парку культуры, чьи скамейки были переполнены, будто сидячие места в общественном транспорте, а по гирляндам, украшавшим центральные аллеи, трудолюбиво, словно муравьи по муравьиным тропам, бежали мелкие огоньки. Незамеченная, она жила с болезненной, пропеченной всеми хворями Маринкой в рабочем общежитии, где на нее, нечаянную мать, орала необъятная, с крошечным ротиком, комендантша Калерия Павловна, где однажды, мягкой зимней ночью, сосед по коридору Коля Филимонов выбросился из окна и несколько часов лежал вдали от фонарей, распухая от снега, напоминая укрытого осевшим куполом парашютиста. Брачное предложение пожилого и бездетного вдовца, сразу подарившего картофельно-бледную кофточку в хрустящем сирийском пакете, стало для Нины Александровны сущим спасением: на свадьбу ее выкинули из общежития буквально с вещами.

Так было или не было? Никогда Алексей Афанасьевич не допускал между собой и молодой женой никаких любовных глупостей, которые почему-то называл литературой; редкие его поцелуи, в основном прилюдные, по каким-нибудь праздничным случаям, напоминали сухостью зубную щетку. В строгости своей Алексей Афанасьевич днем вообще не прикасался к Нине Александровне, снующей по хозяйству, словно прикосновение означало бы его участие в ба-

бых кухонных занятиях,— а если и вел ее под руку, скажем, на торжественном вечере в институте, то далеко отставлял габардиновый локоть, тем обозначая и выдерживая расстояние между собой и супругой, которой оставалось только аккуратно семенить, положив короткие пальчики с горошинами маникюра на шерстяной неласковый рукав. И даже по ночам Алексей Афанасьевич, нависая над женою косо, едва ли не накрест, словно пикирующий самолет над беженкой из разбитого эшелона, не заговаривал с ней и не допускал никакого звука с ее стороны. Стоило Нине Александровне чуть застонать — он сразу зажимал ей рот и пол-лица соленой кожаной ладонью, после чего распухшие губы Нины Александровны долго сохраняли эту соль, а вся еда казалась пресной на вкус и была какой-то скользкой, словно Нина Александровна ела что-то живьем.

При этом он никогда не скандалил, не пил, как пили другие ветераны, чья память о войне давно превратилась в символы. В отличие от них Алексей Афанасьевич все держал в уме — в полной сохранности, звено за звеном (вероятно, неизбежные в разведке элементы секретности придавали особую крепость этой цепи). В День Победы бывший разведчик, опрокинув только одну, налитую с горбом граненую стопку, выходил с принарядившимся семейством полюбоваться салютом. Повсюду репродукторы выкрикивали стихи о бессмертии подвигов, духовые оркестры выдували маршевую музыку, взбудораженная Маринка, хлопая сандалиями, уносилась вперед и с разбегу залезала на все, что попадались по дороге, перила и фонарные столбы, набивая на телячий наморщенный лобик горячие шишки. Когда наконец раздавался тугой рассыпчатый залп и над головами ахавшей толпы распускались блистающие букеты, оставлявшие потом на бледном небе еле видную горелую пыльцу,— тогда смеющаяся Нина Александровна переживала минуты полного женского счастья рядом с героем, ради праздника приобнимавшим ее за круглое плечико. На тех салютах она ощущала себя счастливей, чем подлинные героини 9 Мая, бодрые тетеньки с белыми кудряшками и золотыми зубами, шаркавшие с переплясом медалей под твяканье смешных, выше пупа задираемых гармошек. «Теперь таких не делают»,— приговаривал Алексей Афанасьевич, здороваясь с очередной фронтовой подругой, сажавшей на его отскобленные щеки сморщенные гвоздички красной помады. Нина Александровна, скромно стоя поодаль, думала, что когда-нибудь докажет мужу свою полноценность, женскую самоотверженность, может быть, даже отвагу, но тут пробежали годы, и случился инсульт.

В общем, с любовью муж и жена Харитоновы как-то не успели разобраться. Теперь следы былой красоты сделались заметней, чем прежде сама красота: годы словно наложили на лицо и шею Нины Александровны грубый слой театрального грима. Порой Нине Александровне казалось, что парализованный муж не только не любит ее, но просто уже не сознает, что она — это она. Может, причина состояла в том, что Нина Александровна часто стеснялась с ним говорить: получалось, будто сама с собой или, хуже того, с кошкой или собакой. При ограничениях, наложенных дочерью, всякую фразу, прежде чем произнести, следовало составлять в уме; иногда Нина Александровна начинала бойко и весело, прямо с порога, но вдруг забывала какое-нибудь слово, сразу забывала все остальное, краснела и путалась, точно уличенная во лжи,— в результате у нее оставалось все меньше и меньше слов. Облегчение приходило только когда она физически занималась больным: кормила кашкой и протертым супчиком, обернув его, как в парикмахерской, старой простыней (на которой и оставалась творожистыми пятнами половина обеда), выскабливала крепкую, как рыба чешуя, соленую щетину (однажды Алексей Афанасьевич приснился ей в какой-то пегой, высосавшей глаза и щеки бороде, и она проснулась в слезах). Тут чем было тяжелее, тем все выходило естественней. Если во время гигиенических проце-

дур тело Алексея Афанасьевича, накопившее на боках бесформенный жирок, особенно плохо ворочалось и капризничало, Нина Александровна бойко покрывала на больного, точно чужая женщина, какая-нибудь сиделка или медсестра.

Видимо, уже ничто из времени внешнего не могло служить событием для времени внутреннего: сообщение между ними прекратилось. Внутри имелся свой ежедневный график, определяемый трудами: кормлением, бритьем, пушечной оправкой под прикрытием одеяла, протираaniem тела мыльноспиртовыми, быстро каменеющими ватками. Тот факт, что тело Алексея Афанасьевича тоже трудилось (когда оно глотало, вздвухшееся горло казалось более мощным, чем любая атлетическая мышца), создавал иллюзию общей жизни, имеющей во времени даже и некую цель. Все-таки этих ежедневных событий было недостаточно: внутреннему времени требовался и более крупный масштаб, и даже Нина Александровна чувствовала, что каждой сцене, что разыгрывается между нею и парализованным телом, для правдоподобия требуется задник.

В результате возникло то, что можно было уподобить псевдообменным процессам в организме питающегося вампира. Взвзявшись за создание псевдособытий (честно отдавая им в первую очередь собственную кровь), Марина однажды объявила — как бы матери, сидевшей около больного, — что стала кандидатом в члены КПСС. Кандидатский стаж ее мог длиться неограниченно долго; за эти годы Марина, кое-чему научившись и кое-что сообразив, все-таки приобрела дешевый корейский телевизор (буквально за сутки выбеливаемый пылью, точно обшиваемый сукном) плюс простейший видеоплеер, надежно укрытый от парализованного кучами ссохшихся газет. У себя на телевидении, пользуясь архивами и небескорыстной помощью тайных союзников, недовольных внутренней политикой Кухарского, Марина монтировала для больного «вечерние новости». Их однообразные картинки состояли из коллективных аплодисментов, из крупных планов с рабочими тех государственных профессий, что чумазят не только руки, но и лица, из высоких, процеживающих дымы, решетчатых цехов, из поцелуев на высшем уровне, где профиль генерального секретаря преобладал над встречным профилем партнера, как преобладает над материалом обрабатывающий инструмент. Скоро Марина на пару с компьютерщиком Костиком (буквально влюбившимся в Брежнева и утверждавшим, будто при помощи одной из обнаруженных в Сети и лично им украденных программ голос генерального секретаря разлагается на женский и мужской) наловчились так, что сумели подготовить для парализованного XXVIII и XXIX съезды КПСС. Материалом частично послужили вклеенные в черно-белом варианте заседания Думы (было что-то противоестественное в мелькнувшем несколько раз, отдаленно похожем на Брежнева Черномырдине), но сам генеральный секретарь как ни в чем не бывало читал, хозяйственно раскладывая на две кучки, многочасовой отчетный доклад, и в зале депутаты слушали смиренно, точно сидячие, но правильными отделениями построенные войска.

Никто, конечно, не мог сказать с уверенностью, обманывает ли больного инсценировка; Нина Александровна, во всяком случае, улавливала в фигурах, посылаемых его асимметричным мозгом, какое-то согласие, подобие утверждающего жеста. Конечно, могло быть и так, что Алексей Афанасьевич, всегда не то чтобы любивший, но считавший правильным, что ему угождает его мелко-рослое семейство, просто был доволен их усилиями, поднятой вокруг его болезни театрализованной возней. Однако псевдособытия, эти призрачные паразиты, забирали все больше власти над Харитоновыми и уже начинали ими питаться. Это было как перемена фокуса зрения, обнаруживающего в одном пейзаже как минимум два. Нину Александровну иногда пугало отчетливое ощущение, что на самом деле похороны Брежнева обман, кем-то смонтированный фильм, что

проживаемые ею годы по-прежнему делятся на пятилетки и страна со всеми ее тяжелыми заводами продолжает строить в воздухе над собой уже наполовину готовый, уже посверкивающий перекрытиями коммунизм. Она, конечно, выбиралась из дома и наблюдала перемены: пеструю от импортных бумажек грязь на улицах, снящуюся к богатству, обилие в витринах разнообразного мяса — от мозаичных пластов свинины до конфетно-розовых финских колбас, — снящегося к выгодному сватовству, обилие частной торговли всякими мелочами, включая удивительно дешевый, беленький, как рис, китайский жемчуг, о нитке которого Нина Александровна порой мечтала с безнадежной нежностью, — снящийся, однако, к обильным и горьким слезам. То, что все это виделось и было наяву, только усиливало вещи качества предметов, буквально лезущих человеку на глаза. А однажды Нина Александровна, направляясь на ближний рынок, вдруг увидела на месте нарядного мини-маркета прежнюю пустую гастрономную стекляшку (голый пузырь, третьего дня разгромленный конкурентами) и на перекошенных дверях — свежую листовку кандидата в депутаты, представительного товарища с красивым лицом сенбернара, по виду директора, под которым помещался строгий прямоугольник биографического текста. От этой замечательно восстановленной картины — медлительная толстая уборщица в глубине помещения, черно-белая листовка, липкое пятно и горбатые стекла разбитой водочной бутылки на ступенях крыльца, от которых в осеннем воздухе пахло виноградом, — вдруг напало на Нину Александровну такой несомненной реальностью, надежностью простых вещей, что на рынке, явно бывшем зыбкой, машущей пустыми рукавами и гудящей мухами иллюзией, она блаженно платила, сколько запросят, и вернулась домой, к серdito ожидающей дочери, с абсолютно пустым кошельком.

Помимо врачихи Евгении Марковны, соблюдавшей нейтралитет и если что-то бормотавшей себе под нос, то исключительно свое, во внешнем мире существовала еще одна персона, которую приходилось допускать к парализованному, причем персона весьма опасная. То была представительница собеса, приносившая пенсию. Ее, в отличие от врачихи, Марина поджидала с нервным нетерпением, первым делом спрашивала о ней, вернувшись с работы, и если пенсию задерживали на несколько дней, страстное Маринино желание увидеть наконец с балкона знакомую бокастую фигуру, на мелких ножках семенящую в подъезд, напоминало родственную любовь, какую Марина, с тех пор как у них с Сережей все заглохло, не испытывала ни к кому из семьи. Получалось, что представительница собеса, которую Марина в отместку за волнения называла Клумбой, стала для семейства необходимым человеком, облик ее сделался родным до автоматизма. Казалось, этой массивной тетке, всегда одетой в мануфактуру с крупными цветами, в белый, двумя тетрадными листами раскрытый на груди воротничок, еще предстоит сыграть в судьбе Харитоновых какую-то важную личную роль.

Вместе с тем проникновение Клумбы туда, где иное время бормотало, как из репродуктора, из гнусавых и сбивчивых настенных часов, вызывало ощутимые утечки этого времени, становившегося после ее визитов каким-то разбавленным. Всякий раз Клумба требовала прежде выдачи денег «посмотреть на дедушку» — потому-де, что многие сейчас хитрят и в ее персональной практике имеется случай, когда семья четыре месяца получала деньги на мертвого. Следуя пригласительному жесту Нины Александровны, посетительница ответственной походкой, взбив перед коридорным зеркалом кудряшки цвета луковой шелухи, следовала в дальнюю комнату, где минуту неподвижно стояла на пороге — после чего возвращалась с малиновым пыланием на пористых щеках и, уже не поднимая глаз, отсчитывала купюры. «Как вы только живете в этом запа-

хе», — говорила она напоследок, спихивая в безразмерную замурзанную сумку свое служебное хозяйство.

Никакого запаха, конечно, не было и быть не могло: Нина Александровна отдраивала судно Алексея Афанасьевича лучше кухонных кастрюль, его застиранные простыни, всегда вывешиваемые на балкон, сквозили тигровыми разводами старой мочи, однако разводы эти пахли не больше, чем набивные розы, украшавшие кримпленовое платье представительницы собеса. Но, видимо, Клумбе здесь действительно пахло: воздух комнаты, перед ее приходом дополнительно орошаемый резкими струями цветочного освежителя, был для ее пылающего носа чрезвычайно подозрителен. Похоже было, что она боится приближаться к болезни и несчастью и преодолевает себя десятки раз на дню, героически сохраняя грубую мозаику служебного лица и выбивая каблуками женский наступательный марш. «Моя работа — это сплошные микробы», — говорила она сердито, углядев на сияющей кухне Нины Александровны какое-нибудь липкое пятнышко. В действительности пятнышко было предлогом, чтобы придраться: на самой что ни на есть отмытой поверхности Клумба буквально видела болезнетворные микроорганизмы, причем существование микробов, бывшее, по сравнению с зелеными чертями алкоголиков, научно доказанным фактом, от объективности которого некуда деться, потихоньку сводило женщину с ума. Нина Александровна нередко замечала, как представительница собеса, украдкой лизнув наманикюренный указательный, поклевывает им как бы воображаемые крошки. Вероятно, комната парализованного, где светлая пыль лежала на вещах, делая их пригодными для писания пальцем и странно пустыми, будто чистые бумажные листы, являла Клумбе наглядный образ мира, каким он представлялся в ее воображении; не раз после ее ухода Нина Александровна обнаруживала в укромных местечках оставленные пальцем гости вороватые запятые. Что-то в этом пенсионерском доме беспокоило Клумбу: это было нечто, связанное с ее основным расстройством от житейского. Поэтому она, только что торопившая Нину Александровну скорей расписаться в ведомости, внезапно застревала в полунадетом плаще и возмещала растерянность громкими разглагольствованиями, представлявшими собою сплошь образчики здравого смысла. Это продолжалось, пока горбатая старуха из верхней квартиры, с шести утра «дождавшая пенсию», не одолевала, промеряя палкой глубину ступеней, оба лестничных пролета и не принималась жать на звонок.

Возможно, общение с людьми Клумба понимала как обмен микробами, в этом смысле микробная жизнь была для нее явлением не столько медицинским, сколько духовным — тем, что иначе называется «флюидами» или «аурой», только Клумба, человек конкретный и с высшим образованием, не признавала мистических слов. Глядя на ее условный, петушиным гребешком нарисованный ротик (пока соседская старуха подцепляла ручкой, будто вязальной спицей, потерянную нитку начатой росписи и, поправляя на себе платок движением умывающейся кошки, собирала деньги в портмоне), Нина Александровна думала, что поцелуй для Клумбы, вероятно, антисанитарен, следовательно, аморален. Между тем представительница собеса была по-своему не лишена человеческих чувств. Нина Александровна кое-что поняла про нее, когда, за всеми денежными волнениями забыв про чайник, бесившийся на залитой плите, схватила его, перекаленный досуха, голой рукой: Клумба, отчаянно остужая трясением свою увесистую пятерню, так закричала на Нину Александровну, что резиновый ожог, вмиг перетянувший отдернутую ладонь, показался Нине Александровне нестерпимо ледяным.

Должно быть, механизм сочувствия был у Клумбы устроен иначе, чем у большинства людей: чужая боль, совершенно минуя душу, действовала на Клум-

бу физиологически, то есть сразу попадала из чужого больного органа в ее здоровый. Вряд ли способная вообразить чужое одиночество или муку неразделенной любви, Клумба служила идеальным зеркалом для страданий плоти и в этом смысле была беззащитна. Посещая по долгу службы инвалидов и полуразрушенных стариков, Клумба носила их недуги, словно святящиеся метки. При этом представительница собеса была, по-видимому, совершенно безжалостна; в ее граненых, ровно на расстоянии сантиметра поставленных глазках читалась такая нетерпимость, что соседская бабка, шарясь по стене и нечаянно включая свет в туалете, предпочитала убраться до того, как Нина Александровна освободится и втащит ее, точно сломанный велосипед, на верхний этаж. Порой у Нины Александровны создавалось впечатление, будто Клумба ходит по квартирам старых и убогих с тайной целью уничтожения этого мирка, паразитом внедрившегося в здоровый городской организм, будто знание ее об этих людях отнимает у инвалидов их отдельное существование. Клумба как будто боролась с вредной человеческой рухлядью, замыкая ее на себе и пестуя ее зависимость от своей героической персоны — отнюдь не только денежную; эта власть, казалось, приводила пенсионеров к утрате каких-то важных человеческих свойств.

Как правило, Клумба приходила хмурая и убиралась еще мрачней: черная сумка ее гремела каким-то донным железом, нос горел как уголек. Но если представительница собеса почему-либо была в хорошем настроении, опасность для иного времени возрастала многократно. Почему-то у нее приподнятость духа всегда выливалась в громкие ругательные разглагольствования по адресу властей, что нисколько не уважают и не жалеют несчастных стариков, заставляя их голодать на нищие гроши. Жару поддавало то, что Клумба женски и граждански была сторонницей Апофеозова Валерия Петровича; при постановке этой фигуры в центр переплетение столичных и местных властных ветвей приобретало столь неожиданный рисунок, богатый воображаемыми профилями и — как в журнальных рисованных загадках — спрятанными разбойниками, что воодушевленной Клумбе, действительно, было о чем поговорить. Апофеозов Валерий Петрович был для нее не только целью, но и средством, чтобы ненавидеть прочих, особенно московских; его существование как бы давало Клумбе много дополнительных прав. Голос посетительницы, моложе ее самой на десять — пятнадцать лет, заставлял на кухне побрякивать и екать чайную посуду и сам побрякивал, несомый к комнате больного на острых, высотой с мизинчик, красных каблуках. Прервавшись на полуслове и убедившись, что «дедушка» смотрит (взгляд Алексея Афанасьевича становился совершенно осмысленным), Клумба продолжала без запятых с того же места — как бы механически договаривая забытую фразу и параллельно вспоминая суть своего сообщения, после чего, оставив дверь распахнутой, еще минут пятнадцать звучала на всю квартиру. Нине Александровне оставалось только надеяться, что парализованный принимает ругаемых политиков за каких-нибудь управдомов и прочих работников сферы обслуживания, ставших персонажами журнала «Крокодил».

Неизвестно, какое время года стояло в комнате больного; во времени же внешнем, как уже было сказано, стояла осень. Туфли у Нины Александровны прохутились и посапывали под мелким дождиком, окрашивая фиолетовым перепончатые мокрые чулки. Точно такие же пятна, только черного цвета, она замечала вечерами на ногах у дочери, когда та устало сдирала сырые итальянские ботинки, размякшие наподобие компотного чернослива, — а ведь только недавно купленные. Очень рано, прямо в первых числах сентября, задул холодный ветер, начало полоскать, трава, не успевшая пожелтеть, сделалась как зелень из огуречного рассола, уличные торговцы покрывали товары бисерно отпотеваю-

щами пленками. Ноги матери и дочери были беззащитны перед непогодой: уже на всякой паре обуви, даже на зимних сапожках, изнутри образовались глубокие бо сые отпечатки. С сентябрьской пенсии намечалась покупка общих (в основном, конечно, для Марины) демисезонных сапог. Дожидаясь двадцатого числа появления Клумбы, Нина Александровна ощущала недомогание, мятное онемение, какой-то кулак под левой лопаткой, что неуклонно возвращало ее к беспоконным мыслям о дочкиных болезнях.

Клумба явилась деловитая, с повлажневшей, словно бы наслюенной, косметикой на сосредоточенном лице, в отсырелом шерстяном костюме, пахнувшем овцой. Заглянув, как всегда, в бледную мытую комнату с парализованным в подсиненной постели, уже возвращаясь на кухню к приготовленной ведомости, она мимоходом заметила, что «у дедушки в кровати почему-то веревка». Сосчитав долгожданные деньги и выпроводив посетительницу, долго убиравшую расквашенные кудри в велюровый берет, Нина Александровна, одолеваемая странным беспокойством, поспешила в спальню. Ничего особенного: всего лишь пояс от ее зеленого халата, давно пошедшего на тряпки. Где-то он, видимо, валялся и на одеяло к Алексею Афанасьевичу попал, притащившись за чем-нибудь во время уборки. Нине Александровне и прежде случалось забывать в постели парализованного разные вещи, не говоря уже о том, что с Алексеем Афанасьевичем всегда лежало несколько его игрушек: пара маленьких кукол, плюшевый кролик. Нина Александровна давно открыла опытным путем, что большинство обычных предметов — слишком мелких или слишком плоских, требующих работы пальцев, мужу не по руке. Чтобы брать их вот так, рукавицей, годились главным образом фарфоровые статуэтки: еще трофейные немецкие красотики и пастушки с цветочными личиками — одну такую Алексей Афанасьевич, уронив, разбил на четыре части, и голова, сияя щечками, укатилась под стул. Почему-то Нину Александровну расстраивало, что муж, протягивая из своего заточения пустую руку, похожую в сравнении со всем покоящимся телом на механический протез, все-таки может овладеть не реальными вещами, а всего лишь изображениями, подставными фигурками, которые внешний мир, убеждаясь от соприкосновения, издевательски ему подсовывает. Тем не менее она вняла подсказке: заменила фарфор на пластмассовых пупсов, которых Алексей Афанасьевич сгребал, как людоед, и таскал по одеялу вниз головой, пока улыбающийся человечек не вываливался из его ослабевшей угловатой хватки. Хороши были также резиновые игрушки-пикульки, которые иногда, сообщая о высшей победе парализованного над окружающей его недоступной материей, издавали в его клешне полупридушенное сиплое попискивание. Как раз сегодня Нина Александровна собиралась купить Алексею Афанасьевичу что-нибудь новое, по возможности забавное и милое: того китайского динозаврика с фланелевым брюшком, похожим на фартук, которого видела месяц назад в девчоночьем отделе «Детского мира». Подоткнув больному одеяло, Нина Александровна быстро собралась, взяла немного денег, сунула ноги в пересохшие тупые туфли и вышла на улицу.

На улице тем временем выглянуло солнце, лужи на мокром асфальте стали как чисто вымытые окошки. Возле подземного перехода бабушки продавали маслянисто-мягкие, в темнотах от пальцев и хвоинок последние подберезовики, крепенькие белобрюхие огурчики, жесткие, с запахом аптеки, дешевые астры. Проехал, лоснясь и журча колесами по мелкой сборчатой воде, сутулый, весь вразлет, весь просвеченный солнцем, включая спицы и грубо-стеклянистую шуршащую ветровку, светловолосый велосипедист. Нина Александровна устремилась к «Детскому миру», возле которого, ей на горькую радость, всегда стояло несколько колясок, заполненных тяжеленькими спящими младенцами. На

этот раз у полированного крылечка притулилась только одна, в коричневую клетку, похожая на чемоданчик на колесах, и точно такая же, только пустая и клеенчатая изнутри, красовалась в витрине, под развешенными на невидимых шелковинах погремушками — словно в райском саду, полном ярких пластмассовых птиц и плодов. Не устояв перед искушением заглянуть, Нина Александровна воровато склонилась над безбровым, нежным, будто простокваша, личиком ребенка, на котором слипшиеся глазки были словно плоские морщинки; тут же к ней тяжело побежала с крыльца, пиная и распугивая собственные покупки, молодая коренастая мамаша в позолоченных очках. Нина Александровна отпрянула, заизвинялась, мамаша, ни слова не говоря, поставила экипаж на задние колеса, ухнула его, развернув, и решительно, наматывая на колеса воду и палые листья, зашагала прочь.

Расстроенная Нина Александровна потихоньку прошла в магазин. Девчачий отдел оказался отгорожен веревкой, на которой флагами болтались грубые куски бумаги; на одном фиолетовой шариковой ручкой было крупно и бледно нацарапано «Учет». В отделе для мальчиков висели в затылок канцелярски-синие, точно переплеты служебной документации, школьные формы, отдельно красовался белый джентльменский пиджачок по немислимой цене в тысячу четыреста рублей, а игрушки были представлены серебристыми танками с сипло работающими моторчиками, большим разнообразием холодного и огнестрельного оружия, какими-то боевыми роботами, к которым, в отдельных квадратных коробках, прилагалось пластмассовое оружие совсем миниатюрного размера, похожее на елочные свечи. При всегдашней мысли, что она могла бы вдруг сойти с ума и принести Алексею Афанасьевичу игрушечный танк, или автомат, или один из маленьких тупых броневичков, возможно, сделанных по конверсии из настоящей брони и крашенных настоящей зеленой армейской краской, Нина Александровна привычно ужаснулась.

Тут ей снова сделалось нехорошо, тревожно. Видимо, она слишком внимательно стала перебирать на вешалках спортивные курточки, потому что к ней устремилась, с профессиональной улыбкой на чернильно покрашенных губах, молоденькая продавщица. Но Нине Александровне вдруг показалось, что любой человек, который к ней сейчас приблизится, сообщит ей какую-нибудь дурную, мрачную новость. Поспешно протолкавшись мимо очереди к кассе, она опять оказалась на зеркально сияющем крыльце. Незнакомые люди шли со всех сторон, казалось, столкновение их было рассчитано в точности там, куда Нина Александровна осторожно спускалась по ступеням. Давно она не видела сразу столько народу, — или по крайней мере давно не сознавала, что перед ней мелькают сотни человек; внезапно она поняла, что, несмотря на конкретность каждого, кто возникал перед ее глазами, — конкретность совершенно недоступную, пока она сидела у себя в квартире, — она воспринимает всех совершенно абстрактно. Для того, чтобы знакомые люди стали абстракцией, даже не требовалось сотни или десятка, достаточно было двоих: пока эти двое только еще сближались в толпе, можно было различить какую-нибудь кудрявую шевелюру, трикотажный черный капюшончик, похожий на ласту прорезиненный локоть, но стоило этим двоим на секунду совместиться и тем более заговорить, как они буквально стирались в уме.

Все еще держась за перила, Нина Александровна поразилась тому, что за последнее время население города, похоже, резко возросло: стало очень много людей, автомобилей, укачливых автобусов с рекламой на бортах, которую раслаивал транспортный поток, — все это лилось и перло по улицам, под полуоблетевшими, плоской слюдой отливавшими деревьями. Она не знала причин, потому что совсем не смотрела настоящие новости и не читала газеты. Всему,

что Нина Александровна видела вокруг, не хватало фильма, показа по телевизору: без этого окружающее было недостоверно, теряло статус первичной реальности и потому само казалось фильмом, в котором Нина Александровна чувствовала себя неловко, словно перед телекамерой, и двигалась так, будто все время пыталась что-то обнять или обойти.

Неуверенной походкой, демонстрируя всем свое несоответствие с действительностью, Нина Александровна двинулась на рынок за продуктами. Перед мебельным салоном в стеклянном саркофаге медленно вращалось кресло пряничного дизайнера, с такими располагающими подлокотниками, что его, как даму, хотелось взять под ручку; двое молодых людей, грамотно контролируя тротуар, оделяли прохожих какими-то объявлениями, и у того, что преградил дорогу Нине Александровне, в ушах и на крупной мясистой ноздре сидели, будто клещи, мелкие сережки. Всего этого не было прежде — и не было в той жизни, которую Нина Александровна продолжала вести в своих четырех стенах. Здесь, в наружном мире, ее со всех сторон окружали новые предметы, которым никакие сонники не давали истолкования, и страшно было вообразить, какие события должны произойти в обыкновенной человеческой жизни, чтобы оправдать присутствие во сне вот этого кресла, величаво пустующего под ярко-белыми холодными облаками, или всюду продаваемых компьютеров, на чьих экранах, точно на рентгене, казалось, светились и плавали их собственные электронные потроха. Прежде было немыслимо представить столько никем не купленных вещей; свойственная им четырехзначная и пятизначная цена, казалось, делала их опасными в обращении, как бывает опасно хранимое дома оружие. Впервые Нина Александровна чувствовала себя на улице настолько подавленной. С другой же стороны, поскольку она ничего не знала об окружающем, все было сравнительно просто: главное — знать свою дорогу, а от пестрой видимости можно отмахнуться.

Вход на рынок был издалека отмечен парой высоких тополей. При виде знакомого нищего с одной пустой глазницей, похожей на пупок, и с потрепанной, жадно хватающей воздух гармошкой Нине Александровне немного полегчало. Неподалеку, прямо за решетчатой оградой рынка, громко била из киоска сердитая музыка, из-за нее гармошка нищего была нема, как рыба жабра, только очень близко, почти вплотную, слышались ее неясные порывания, но Нина Александровна все-таки бросила в кепку, черной лепехой лежавшую у ног гармониста, новенький рубль. В тесных, пьяных от солнца и соков торговых рядах было, как всегда, неопрятно, липкие лужи с мутной нутряной жидкостью на самом дне еще привлекали своими несохнувшими разводами яростных мух, которые металась всюду и, вплепавшись в лицо, оказывались неожиданно холодными, точно металлическими. Но для Нины Александровны все здесь было привычно, а то, что музыку из рыночных киосков она уже несколько раз слышала в других торговых местах, прибавляло ей уверенности в себе. Не торопясь, Нина Александровна купила суповой набор, немного свежей, чистой на срезе колбасы, банку тушенки и банку сардин, крепкий, в лопнувшем золоте лук, тщательно выбрала из нескольких предложенных большого кроваво-серебристого леща, — все эти предметы, в отличие от уличных химер, были по крайней мере человеческими из-за своей съедобности; что-то подсказывало Нине Александровне, что такими вещами и надо ограничиваться. Все-таки она наведлась к меховому и пластмассовому китайскому лотку, торгующему игрушками. Там расторопный продавец, скуластым лицом напоминающий русский чугунок, как раз демонстрировал грязноватым джинсовым детям нехитрую забаву: сжимая в кулаке резиновую грушу, надувал через длинную кишку лоснящегося паука, отчего тот неуклюже подпрыгивал. Представив, как понравится Алек-

сею Афанасьевичу управлять хоть чем-нибудь на расстоянии, Нина Александровна паука немедленно купила и, обмотав пуповиной, аккуратно сложила в сумку. Она уже почти совсем успокоилась, даже паук-страшилка, похожий в обмотанном виде на какой-то медицинский аппарат, тонометр или фонендоскоп, вызывал у нее доверие. Она сказала себе, что просто у нее наконец-то развивается привычка внимательнее смотреть на окружающее. В подтверждение она тут же увидела на металлическом столбе зеленых рыночных ворот портрет солидного мужчины, похожего на добрую собаку,— того самого, который ей уже встречался на дверях пустого гастронома.

Дальше, пройдя мимо ящиков с редющей торговлей (нищий, стеснив на коленях захватанную гармошку, закусывал поверх нее разваливающейся картофелиной и соленым огурцом), Нина Александровна заметила на какой-то железной будке сразу два таких портрета, наклеенных в ряд, будто марки, вместе увеличивающие ценность предмета, пусть даже его и нельзя никому отправить по почте. Сразу ей стало понятно, что она уже неоднократно видела листовки с человеком-собакой: в подземном переходе, на кассе «Детского мира», на разбитой, как корыто, двери собственного подъезда, где листовка хозяйственно залепляла главную вмятину и потому сама по себе не сразу бросалась в глаза. При мысли, что добрые лица человека-директора, будучи наклеены на многие предметы, назначения которых Нине Александровне было не понять, все-таки делают это непонятное обиходным и достаточно простым, Нина Александровна ощутила благодарное тепло. Теперь она освоилась настолько, что позволила себе присесть за один из уличных столиков и, сделав заказ подскочившему подростку неопределенного пола, получила на тарелочке неукусываемый, размером с мячик, американский бутерброд. Разбирая бутерброд на смокшие, взаимно покрашенные части, поглядывая на бегущих в разных направлениях людей, которым тщетно сигналила вспышками света бурно летящая листва, Нина Александровна чувствовала, что может ко всему относиться совершенно спокойно. И на обратном пути лицо человека-директора мелькало и вело, как луна в чащобе, пока не довело умиротворенную Нину Александровну до самого подъезда, где напоследок улыбнулось одними глянцевыми глазами поверх бумажки, крупно сообщавшей о большом наборе платных агитаторов по такому-то адресу.

Для Марины этот день выдался настолько перегруженным, что она не выкроила минутки, чтобы позвонить домой и выяснить, приходила ли Клумба и приносила ли деньги. Сидя в предвыборном штабе — в промозглом, с какими-то заляпаннами досками в углу, полуподвальном помещении, нанятом за сущие гроши,— она записывала в отсыревшую тетрадку многочисленных граждан, явившихся сюда по объявлениям, которыми неделю назад весь имевшийся в распоряжении Шишкова личный состав сплошь облепил голосующую территорию. Избирательный участок номер восемнадцать, где проводились довыборы в областную Думу (предыдущего депутата, финансово обрусевшего кавказца, расстреляли в новенькой коробке его загородной виллы), не представлял собою ничего хорошего. То была пологая оплывшая местность, как бы щека большого Юго-Западного района, уходившая от центра к индустриальным болотам, где горизонт словно истлевал от испарений и земная ткань казалась дырявой, скатавшейся в пуховые очески. Шарикоподшипниковый завод и серые девятиэтажки этого завода, от порядка нумерации которых любой нормальный человек просто сошел бы с ума; хрущевки, хрущевки, хрущевки; две улицы частного сектора с тусклыми аленькими цветочками в кривых от старости избяных окошках и с похожими на могилки георгиновы-

ми грядками в тощих палисадниках; узкая отравленная речка в зализанных берегах, даже зимой, под снегом, в темных промоченных пятнах, поедающих легкие хлопья, а по осени пустая, словно выключенная, без единого образа на черной воде; небольшая часть хорошего квартала, где, однако, неизбежная разница между новым уличным благоустройством и бедностью скрытых от глаза квартир была доведена до какой-то метафизической несовместимости; и, наконец, главная достопримечательность — Дворец политпросвещения, из тех бетонно-стеклянных гигантов посреди мощных квадратами ветреных площадей, что совершенно не поддаются описанию в словах, но господствуют над местностью, иногда притягивая к себе цепочки мелких человеческих фигур на какой-нибудь средней руки эстрадный концерт. С половины девятого утра обитатели этого участка, пахнувшие мокрым драпом и своими кухнями, толпились перед шатким Марининым столом. Они подавали ей замученные, потрепанные жизнью паспорта и наклонялись над тетрадкой, чтобы в графе после паспортных данных вывести казенной ручкой куриную подпись. После этого завербованному выдавался сложенный листок «Инструкции агитатора», внутри которого приятно твердела подколота скрепкой пятидесятирублевая бумажка; тут же ему предъявлялась и другая, более опрятная тетрадь, где напротив его свежезанесенной фамилии значилась сумма в сто двадцать рублей: то была поощрительная премия, которую агитатор мог получить только после победы на выборах кандидата от блока «Спасение» Федора Игнатовича Кругаля.

Положение Марины к этому моменту было незавидное. Все-таки ее уволили из «Студии А»: закончился срок какого-то пятилетнего контракта, о котором Марина успела забыть,— а вот юноша Кухарский помнил и напоследок не отказал себе в удовольствии вызвать Марину в кабинет и, развалясь в своем рессорном кожаном кресле, с лимонным галстуком, спущенным до пупа, и с карамелькой за волосатой щекой, обстоятельно ее отчитать. Пока Марина пускала перед Кухарским беспомощные пузыри, коллеги успели выпотрошить ее скромно обжитой, ни в чем не повинный столик и, сложив имущество в черные липкие мешки для мусора, выставить за дверь. Ей не оставалось ничего другого, кроме как пойти восвояси, в каждой руке волоча по папиросному, острыми углами распоротому мешку; внизу на вахте от нее потребовали предъявить содержимое, обнаружили немытую фирменную кружку «Студии А», ей пришлось звонить наверх и объясняться. Почему-то боль и страх были в точности такие, как тогда, когда ее и маму выгоняли из общежития: красивая комендантша, делая руками, как врач, пальпирующий живот, проверяла их раскрытый чемодан, мама тоже была красивая, в длинных кудрях, в новой кофточке с конфетными пуговицами. Оттого, что все это было уже когда-то пережито, Марине становилось не легче, а хуже, ей казалось, что Кухарский каким-то образом увидел в ней то нелепое, у всех просившее подарки существо (шка тулка для подарков содержала пуговички, марки, цветные мелки, фантик, обманно сложенный конфетой, который Марина считала красиво сделанной игрушкой и очень боялась помять),— того общажного заморыша в платье из портяночной байки, какой она была до того, как научилась ненавидеть собственное детство и быть отличницей.

Теперь Марина целиком и полностью зависела от профессора Шишкова. Шишков уделил на персональное сочувствие Марине целых двадцать минут, потечески ее приласкал, промокая ее поплывшие глаза своим безупречным платком и проникновенно потискивая плечико. Для нее как раз нашлось ответственное дело, означавшее последний этап перед замдиректорством и торжеством справедливости. Преступный Апофеозов, нуждавшийся, чтобы не быть привлеченным по ряду статей, в депутатском иммунитете, буквально ринулся на

подвернувшиеся выборы, и профессор, не пожелавший полной симметрии на этом этапе борьбы (вообще чуравшийся симметричного, видя в том опасное удвоение вещей и равенство сторон), противопоставил Апофеозову не себя, но верного человека, вполне одобренного заинтересованными банками. Господин Кругаль, директор того самого Дворца политпросвещения — похожего архитектурой на шарикоподшипниковый завод коммунистического будущего и уже этим привлекавшего сердца рабочего электората, — был человек с неудачливым не то актерским, не то теледикторским прошлым. При этом он был настолько безграмотен, что редкое свойство его, каким-то образом пропитывая собою весь подчиненный штат, сказывалось даже на афишах и рекламных полотнощах, которых на Дворце было повешено не меньше, чем на окрестных хрущобах — балконного белья. Все, что Кругалю надлежало произнести, вплоть до «Здравствуйте, дорогие товарищи!», требовалось написать на бумаге, так что работы было много. Марину, как нового спичрайтера, предупредили, что для кандидата в тексте возникает ряд естественных препятствий, например, перенос. Следовало также избегать более чем двух эпитетов подряд и почему-то слова «реконструкция», которое кандидат не выговаривал из-за давнего вывиха челюсти. Давая последние наставления, профессор так смотрел Марине в душу, что сама она словно впервые увидела его замороженные глаза, под которыми белело как бы рыбе мясо с тонкими костями, увидела также неприятный нос в форме щучьей головы; впервые ей стало не по себе при мысли, что профессор Шишков на сегодня самый близкий ей человек.

Понятие «ответственность» запросто могло подвинуть Марину на самоотверженный труд. Буквально за несколько дней она сроднилась с господином Кругалем. Это оказался большеголовый маленький мужчина с портативным, расположенным ниже нормального уровня, псевдоримским профилем и чрезвычайно напряженным, как бы чем-то распираемым лбом, получавшимся на черно-белых снимках в виде пустого засвеченного пятна. Будучи на своих листовках персоной величественной и даже массивной, в жизни Федор Игнатович производил впечатление собственной уменьшенной копии. С предшественником Марины, чрезвычайно щепетильным в смысле русского языка и стиля, а потому необычайно обидчивым молодым человеком, Кругаль хронически не ладил, потому что стоило на него кому-нибудь обидеться, как он сам моментально оскорблялся. Но теперь, почему-то переняв у отставного референта его придиричивость, кандидат цеплялся ко всякой мелочи в подготовленных текстах. Закинув ногу на ногу и перекрутившись в одну сторону, жуя печенье на другой, скашивая глаза в листки, отставленные в третью, он перетолковывал казавшиеся сомнительными фразы до полной потери пространственной и смысловой ориентации; такая простая вещь, как проведение газа в частные дома — от баллонов не единожды горевшие до угольных шашлыков, как, впрочем, и от других житейских причин, — представлялась Федору Игнатовичу небезопасной и двусмысленной, а роковое слово «реконструкция», все-таки попавшее в речь и привязавшееся к делу, которое так и так придется обещать, заставляло кандидата болезненно морщиться и осторожно шевелить отваленной челюстью, издававшей где-то за ушами гладкие щелчки. Тонкие карандашные пометки, которыми Кругаль, как паутиной, трудолюбиво опутывал Маринины абзацы, ставили ее в тупик, пока она не догадалась их попросту стирать. Тем не менее, по словам отечески настроенного профессора, все у нее получалось хорошо. В отличие от Кругалья Шишков, окончательно утверждавший тексты, обязательно хвалил Марину на каждой оперативке; каково же было ее удивление, когда она нечаянно выяснила, что платят ей примерно вдвое меньше, чем самому безответственному человеку предвыборного штаба — юной Людочке, вечно делавшей мани-

кюр и любовавшейся своими десятью зеркальными ногтями, иногда снимая с нежного произведения налипший волосок. Впрочем, перекосы могли объясняться тем, что Марина пришла в команду последней, на какой-то остаток зарплаты. Кроме того, ей подсознательно казалось, что чем меньше она получает в настоящем, тем больше накапливает на будущее: теперь оклад в четырнадцать тысяч казался ей таким же неизбежным, как следующая после бессонной ночи экзаменационная пятёрка.

Между тем победа на выборах вовсе не была свершившимся фактом. Штаб Апофеозова, накачанный деньгами до полного вздутия бицепсов, творил чудеса. Вот теперь Апофеозов был действительно вездесущ: пять его рекламных роликов без конца крутились на всех телеканалах, ловко стасовывая кандидата с подобным ему по политическому колеру популярным московским политиком, так что избирателю действительно начинало казаться, что Апофеозов и москвич — из-за хлебулочной лысины и обаятельной улыбки вылитый Колобок — действительно похожи, будто братья-близнецы. Какую ни возьмешь газету — в любой, как сторублевая записка, крылся портрет Апофеозова; воздух, дрожавший, точно от жара, от тускло-зеленого незрелого листопада, был полон Апофеозовым в невиданной прежде концентрации. Порой Марине (больше месяца крутившей для отчима старые новости, приобретающие из-за повторений гипнотическую силу коммерческой рекламы) начинало мерещиться, будто Апофеозов, ставший формой и сутью настоящего момента, воплощением реальной реальности, противостоит оберегаемому ею бессмертному миру. Глобальным противником Апофеозова на истинных выборах (для которых выборы на участке номер восемнадцать были побочным эффектом, грубой материальной формой из кое-как отпечатанных бюллетеней и обтянутых, как гробы, дешевым красненьким ситцем избирательных урн) был, конечно, не Кругаль, а Леонид Ильич Брежнев. Продолжая (в Марининых новостях) летать за рубеж и принимать делегации — целые фестивали убежденных одеждами индусов, разноплеменных негров с открытыми шахтерскими лицами, маслянистых азиатов в военных френчах до колен, — Брежнев, несомненно, продолжал существовать и в коллективном сознании одетых еще в советские пальто избирателей восемнадцатого участка. Не давая себе отчет, они продолжали донашивать этот образ, кое-где протертый до дыр, но сделанный им по мерке и все еще соединяющий их с широким миром надежнее, чем новейшие покупные «сникерсы» и американские фильмы про Терминатора. Однако Апофеозов в своей фантастической витальности (которая была не чем иным, как несокрушимой волей есть, пить, строить похожий на людоедский замок из сказки загородный особняк, открывать в Швейцарии секретные счета) становился все большим искушением для голосующих женщин, вдруг принимавшихся наводить вторую молодость при помощи маргаринового помады и дешевой краски для волос, сквозь которую тут же начинала пробиваться десятиваттным тусклым электричеством корневая седина. Такие интенсивные экземпляры, явно уверовавшие — в комплекте с Апофеозовым — в чудодейственные свойства питательных кремов и омолаживающих сывороток, уже становились заметны на подопечных улицах, их делалось больше и больше. Марина опасалась, что их внезапная жажда жизни, выйдя из-под контроля, принесет Апофеозову решающий перевес голосов.

Того же самого опасался и Кругаль. Его артистическая душа чутко ловила неблагоприятный расклад избирательских симпатий. Сделавшись нервным и капризным, он однажды закатил своему импресарио генеральный скандал, во время которого секретарша Шишкова, испуганно приоткрывая дверь кабинета, как приоткрывают крышку кипящей кастрюли, видела в щели, как ей показалось,

летающий пиджак,— после чего Кругаль вышел в этом самом, безобразно вздернутом пиджаке, с полными горстями рваной бумаги и с глазами в непролитых слезах, словно бы в детских несчастных очочках. С этих пор посуровевший Шишков стал пропускать его, как женщину, вперед и тайно глотать из пластмассовой трубочки какие-то алые капсулы. Проблема действительно требовала решения. Не только работники штаба, подавленные неприятельским напором и апломбом, но и рядовые граждане, обитавшие между почтовым ящиком и телевизором, набитыми предвыборным добром, не могли не понимать, что мероприятия блока «Спасение» по сравнению с апофеозовскими наступательными шоу попросту нищие. Так, вопреки велению здравого смысла, проявляло себя устройство личности Шишкова: скупость заменяла профессору ту утраченную бедность, которую Шишков в глубине души почитал основой русской духовности. При этом он не мог не видеть, что Кругалья, затесавшегося в битву сил ему непонятных, а может, даже и мистических, ожидает в недалеком будущем жестокий провал.

Однако профессор же и нашел для избирательной кампании новый и абсолютно беспроигрышный ход. Ему давно не давала покоя элементарная арифметическая мысль, что необходимые для победы две тысячи с копейками голосов (половина от двадцатипятипроцентной явки плюс один бюллетень от Неизвестного Солдата) обошлись бы — по средней цене бутылки водки — втрое дешевле, чем покупка газетных площадей, выпуск листовок и аренда актовых залов, куда зазываемые избиратели являлись в количестве нескольких бомжей, похожих диким волосом и мелким ростом на спившихся домовых, и десятка-другого озверелых от скуки старух. Однако просто подогнать машины с водкой в укромные хрущобные дворы, где в любое время дня и вечера имелись отдыхающие всех возрастов, не позволял избирком, да это и не давало гарантий, что человек, сегодня получивший на руки полновесную поллитровку, завтра проголосует за Кругалья. Голоса теоретически вообще нельзя было купить, поскольку избирательный закон запрещал кандидатам оказывать услуги населению, волей которого ему предстояло идти во власть,— хотя практически, конечно, обоюдно полезные процессы таинственно шли. В иррациональных, застекленных мутноватым солнцем пространствах восемнадцатого участка то и дело появлялись молодые люди в ветровках и кепках определенных фирменных цветов, развозившие продуктовые наборы от имени благотворительного «Фонда А»; кроме того, пару раз наблюдатели засекали возле гаражей скромные автофургоны с надписью «Хлеб», откуда в рабочие плакатные руки, чуть не до локтя выброшенные из рукавов, спускались бутылки, завернутые, как в салфетки, в избирательные листовки.

Вся эта мелкая противозаконная суета и растрата денег, которые территория впитывала, как гигантская бурая губка, активно претили профессору Шишкову. Его изошренный интеллект, умевший использовать и чуждую ему симметрию как точность наоборот, выдал идею, внезапную, как выигрыш в рулетку (за которой профессор как бы пребывал постоянно и по внутреннему ощущению постоянно проигрывал, спуская интеллектуальные ресурсы, несопоставимые по величине с редко выпадающим счастьем научной находки, что составляло его, профессора, тайную творческую драму). Вместо того чтобы оказывать услуги населению, следовало их покупать и оплачивать — тогда коррумпированный избиратель — желающий, собственно, выпить — будет совершенно законно называться агитатором. Тут же профессор прибростил на рвущейся салфетке (он как раз обедал в своей пластмассовой столовке и, покончив с мокрым салатом, принимался за фирменное, несколько слипшееся блюдо), что если каждый нанятый агитатор просто приведет к избирательной урне взрослых членов своего семейства, то для абсолютно надежной

победы вполне достаточно выложить до выборов каких-то пятьдесят тысяч деревянных, самое большое — если увеличить явочный процент — восемьдесят тысяч. Премия за успешную работу — в случае избрания Кругаля — можно было после выплачивать по частям; изящество схемы заключалось в том, что премия, служа гарантией работы агитаторов, одновременно избавляла Шишкова от львиной доли инвестиционного риска.

Тут же, оставив на тарелке пельменные комья, покрытые постными хлопьями сметаны, профессор набрал на сотовом номер секретарши и назначил оперативку. Буквально через несколько часов все имевшиеся у штаба колеса, от кругалевского облизанного БМВ до худой профессорской «копейки», уже развозили поднятый по тревоге персонал. Что это была за ночь! Мелкая морось, озноб, яркая мгла фонарей, консервный подкисленный рот со вкусом бутерброда и зубного дупла, урывки тяжелой укачливой дремы, пока автомобиль, пропускаемая в стеклах редкие светящиеся пятна, выруливал на заданный объект. Снабженные банками клея и теплыми от принтера пачками объявлений, люди неохотно вылезали в темноту, ставили ноги в жидкую ртутную рябь на рассыревшем асфальте, разбредались попарно, чтобы лепить свои бумажки на подъезды и совать их в горелые и мятые почтовые ящики, возле которых из-за близости выборов было безобразно, точно возле мусорных контейнеров.

Марине, как всегда, достался самый ответственный участок: частный сектор. Было что-то невыразимо жуткое в этих ветреных задворках, где темнота буквально щупала лицо и брала за протянутую руку, чтобы завести в глубокую шуршащую ухабину. Серое пятно от фонарика, показывая все, что в него ни попадало, словно сквозь толстое днище стеклянной бутылки, только путалось под ногами, низкие ситцевые окна стояли прямо на грядках, и скудный свет не обозначал предметы, а словно снимал с них недостоверные копии. Марина и сонная Людочка, навязанная ей в напарницы, часто не понимали, на что они лепят объявления, норотившие завернуться и лизнуть намазанным клеем замерзшую руку. Безлюдье и тишина (одни собаки гавкали и брякали за горбылем, создавая ощущение ночного зоопарка) обдавали Марину нехорошим предчувствием приключений — и точно: из одних несильно клацнувших воротец внезапно вылез, пьяно тыкая перед собой синюшным ножиком, бесформенный мужик в долгополом растегнутом кожане и в какой-то дикой ушанке, словно слепленной прямо у него на голове из нескольких рукавиц. Людочка замахала руками, точно хотела, как муху, поймать виляющее лезвие, и с визгом бросилась бегом, Марина побежала тоже.

Как они неслись от удаляющихся матюгов к своей не видной за пригорками машине, запомнилось с трудом: зонтики их сталкивались и скакали в воздухе, будто легкие мячики, стопа объявлений, которую Марина прижимала уже не к груди, а где-то на боку, норовила разъехаться и сплыть. Смутно-белая «копейка», приткнувшаяся под большой, кучевых очертаний, березой, стояла закрытая и темная, точно ледяная, — стало быть, шофер и его приятельница из бухгалтерии еще не вернулись с другого конца переулка, где мигал и слезился, словно видный в перевернутый бинокль, одинокий огонек. С перемазавшейся Людочкой сделалась истерика: икая, она то дергала расшатанную дверцу, то норовила, высоко задирая пальто, усестся прямо на капот замызганного «жигуля». Марина еле уволокла напарницу на ближнюю сырую лавочку, криво черневшую на светлых березовых листьях: настелила, не жалея, объявлений, усадила, налила из полученной от профессора резервной фляжки полную крышечку коньяка. «Ненавижу его, ненавижу!» — зашептала трясущаяся Людочка, выпив, как яичко, винтовую посудинку, и Марина почему-то догадалась, что речь не о мужике с ножом и даже не о шофере, занятом со щекастенькой бухгалтершей неизвестно

чем, а о самом профессоре. Поглядывая на Людочку сбоку (глаза как звезды, под носом размазано), Марина подумала, что, пожалуй, возьмет ее к себе в секретарши. Еще она подумала безо всякого удивления, что ее на самом деле не интересуют ни Людочка, ни та, к примеру, незнакомая девица с грубо сросшимся лицом и фантастической, гораздо ниже пояса, косой, щедро, будто конская сбруя, украшенной базарными заколками: с нею Климов обнимался неделю назад на мокрой остановке, а Марина сидела над ними в трамвайном окне. Они обнимались там, внизу, нисколько не укрытые линиям, закатившимся девице за спину зонтом, и, кажется, не заботились об укрытии, точно никакой Марины не было в природе. На безымянном мужнином пальце горело стеклянной сыпью незнакомое, не обручальное, вообще не мужское кольцо, явно что-то означавшее в этих отношениях, явно жившее в каком-то из его трухлявых мусорных карманов. Сейчас Марина, делая невероятные усилия, чтобы не выпасть из принудительного энтузиазма, томилась тайным нетерпением вырваться домой: быть может, муж, семеро суток инстинктивно не казавший глаз, как раз сегодня и явился ночевать, а ей никак не покинуть мероприятие, хотя до дома, тоже попавшего в пределы территории, было буквально поддать рукой, он казался очень близким сквозь эту деревенскую чистую темноту, так что даже различалась на крыше соседней с домом девятиэтажки маленькая, будто канцелярская кнопка, спутниковая тарелка.

«Ненавижу всех, кого вижу», — уже спокойнее, но и убежденнее заявила смутная Людочка, ее обернувшееся лицо, странно выеденное глубокими темнотами, показалось Марине похожим на ухо. Наконец на пригорке послышалось шуршание пинаемых листьев: бухгалтерша спускалась впереди, запахиваясь и позевывая, шофер, косолапо разъезжаясь, с ухмылкой поспешал за ней и волок в охапке безобразно умятый газетный кочан, полный колкой массой мелких, вместе с жухлыми листьями надранных яблок. Ни клея, ни листовок у парочки не было вовсе; на трагический Людочкин рассказ о мужике с ножом они великодушно выделили каждой пострадавшей по спутанной ежовой горсти краденых плодов.

В первый день после экспедиции казалось, что жертвы были напрасны и объявления не дали никакого результата. Но уже поближе к вечеру началось столпотворение. После того как приготовленные сто «Инструкций» были разобраны, население поверило, как в Бога, что в штабе Кругаля даром раздадут наличность. В задней комнатке штаба, которой низкая лампа, освещающая только руки на обширной, глухим сукном затянутой столешнице, придавала вид картежного притона, были вскрыты дополнительные банковские упаковки; тут же заторможенная Людочка, долго ориентируя линейку и цепляясь карандашом за острый маникюр, линовала новую учетную тетрадь. Образовалось немало неожиданных проблем: так, уяснив, что видимых ограничений нет, люди потянулись в агитаторы целыми семьями, что существенно снижало эффективность плановых вложений. Марина лично попыталась отказать интеллигентной, с паническими глазами супружеской паре, позади которой к тому же скучало пухлое, затянутое в многоклапанную куртку и ее завязки чадо мужского пола, явно имеющее паспорт. Полюбовно согласились, что запишется только глава семейства, все не перестававший извиняться, пока Марина обрабатывала его обветшалый, плоский, будто мухобойка, гражданский документ. Однако, как оказалась потом, терпеливая супруга, тихо исчезнувшая из виду в двух шагах от Марининого стола, записалась сама и записала ребенка у другого регистратора — и такие случаи выявлялись ежедневно.

Странное впечатление производили женщины за сорок, явно подпавшие под чары Апофеозова, но пришедшие к его противнику за своими пятьюдеся-

тью рублями: несколько смущенные, но и генеральски представительные в розовых и кремовых шинелях базарного кашемира, они торопливо виляли ручкой в тетрадке, словно тут же замарывали собственную подпись, и сразу открепляли купюру от инструкции, вынося последнюю на отлете и высокомерно оглядывая помещение в поисках мусорного ведра. Этими инструкциями, точно бумажным снегом, были густо занесены щербатые ступени, ведущие в штаб. Эти же листки, свежие и в волдырях от крупного дождя, с размазанными, словно слизанными отпечатками подошв, заволакивало ветром в узкие колодцы полуподвальных окон, где они забивали махровые от ржавчины оконные решетки вместе с веснушчатými листьями берез, повисали волглыми гроздьями на ватной смоленной паутине.

Теперь перед штабистами ежедневно проходили представители территории, всех ее покатых улиц и мутноватых слоев, и странно было думать, что текст объявления, будто заклинание, вызвал к жизни, выманил из укрытия всю эту нестройную популяцию, что избиратель, обычно невидимый и анонимный (и тем таинственный даже для прожженных пиарщиков, косвенно вычисляющих его поведение с астрономической точностью), теперь, прежде чем проголосовать за кандидата, явился в лицах, показал себя избирательному штабу в натуральную величину. Возник, между прочим, и давешний мужик в морщинистом, до пола, кожаном пальто, на котором подсыхала замытая тряпкой бледная грязь. Обнаружив утром на своем неровном, будто полосы у зебры, заборном горбыле заманчивый листок, он никак не связал этот внезапный подарок от Деда Мороза с ночным происшествием — да и вряд ли что-нибудь помнил. Оказался он, кстати, не таким уж и страшным, разве что неухоженным и нервным; лоб его был перекошен какой-то трагической заботой, слезящиеся глазки поблескивали, будто жемчужинки в плоти моллюска, и он все время комкал и устраивал под горлом износившийся до легкой веточки мохеровый шарфик. При дневном освещении было трудно вообразить, что этот запущенный интеллигент может кого-то зарезать ножом, тем более что глуховатый голос его звучал весьма приятно, перемежаясь мягким дыхательным покашливанием. Отрекомендовавшись «известным художником», он немного побродил между столами, деликатно заглядывая в оформляемые бумаги; потом убежал на два часа и, воспользовавшись чьим-то невнятным разрешением, притащил, упаковав их в апофеозовские предвыборные газеты, несколько картин. Шедевры Марине не понравились совсем: вещи, изображенные на них, были по сравнению с реальными оригиналами неприятно влажны и бесформенны, они прилегали друг к другу с той характерной плотностью, с какой бывают уложены внутренние органы во вскрытой полости живого существа. Контраст между трудом, явно затраченным на выработку каждого квадратного дециметра произведения, и ничтожными ценами на картины был таким провокационным, что многие тут же полезли за кошельками.

Что касается Марины, то она была в числе немногих, не поддавшихся на дешевизну. С некоторых пор она с особой тщательностью вела учет своего кошелька: знала точно, сколько там лежит и в каких купюрах и сколько осталось дома, в дешевой шкатулке, отделанной похожими на гипсовые ноздри битыми ракушками, хорошенько припрятанной под седыми от ветхости старыми комбинашками. Каким-то образом точность этого учета (доставлявшего Марине тихий кайф и вместе с кайфом неуверенную боль) связывалась с тем, что Марина осталась одна. Без Климова, что-то приносящего, что-то тратившего без спроса, бывшего всегда сплошной неопределенностью и утечкой, Марина получила возможность целиком и полностью контролировать бюджет. Раньше хаотичный муж в увлеченности будущими прибылями мог, например, купить для отделки своих деревянных художеств банку страшно

дорого финского лака (две трети его, неиспользованные и плохо закрытые крышкой, после засохли в глухие окаменелые куски). При Климове Марина, чтобы хоть как-то ограждать свое, делала множество зачек: порой карманы ее старой одежды, где еще гуляла задубевшая дореформенная мелочь, бывали буквально набиты деньгами, зимнее пальто, украшенное рыхлой, полуразвалившейся лисой, иногда обогащалось, как Гобсек. Теперь же Марина, замкнувшись в собственных расходах и расчетах, собрала наличность в одно подконтрольное место; взять и потратить из этого какую-нибудь сумму сделать значительно трудней.

Может быть, Марина сэкономила деньги для будущей свободной жизни, для какой-то утешительной покупки; но скорее у нее впервые зародилось неясное сомнение, что она действительно займет замдиректорское место в покоренной телестудии. Сложно было определить, откуда тянет нехороший ветерок: приободрившийся Кругаль был приветлив, как никогда, при виде Марины добродушно шевелил лицом (приобретающим внезапное сходство с кухонной варежкой, через которую хотят половчее взяться за горячую сковородку), да и профессор Шишков, как он ни был озабочен незапланированным превышением сметы, всегда находил полторы секунды, чтобы, проходя, положить холодную неемкую ладонь на затылок своей протезе. Наверное, все-таки Марина слишком часто воображала картины будущего процветания, слишком этим жила, и, конечно, там не обходилось без Климова, без его теневого присутствия. Теперь же, когда Марина поняла (или жестко внушила себе), что никакого Климова больше не будет, воображаемое сразу потеряло правдоподобие.

Самое мучительное заключалось в том, что неверный муж не исчез совсем. Марине, занятой по горло наймом агитаторов (а надо было еще готовиться к теледебатам, на которых Апофеозов, по слухам, мог появиться с какой-то убийственной «Программой народного спасения», а Федор Игнатович Кругаль желал присутствовать непременно в смокинге), все не удавалось застучать мужа дома и отобрать у него ключи. Между тем следы его дневных появлений делались все более странны. Он, несомненно, отсыпался днем, о чем свидетельствовала кое-как заброшенная пледом мягая кровать, на которой словно не спали, а ходили по ней ногами; откинув плед, Марина не обнаруживала там следов округлого, хорошо натертого логова, какое муж, бывало, належивал себе в постели каждую ночь: там все было неопределенно, точно Климов сделался плоский. Вещи его, за которыми Марина следила исподтишка и с пристальностью охотника, то уплывали в места его таинственных ночевок, то возвращались истрепанными, потерявшими форму и вид, словно их за это время успевал поносить десяток разных, не очень опрятных мужчин. Однажды в ванной обнаружилась и постирушка: слипшееся бельишко висело на веревке грузной кучей вареной лапши, распаренный свитер грубой вязки, оплывающий понизу похожими на инфузорий мутными каплями, был еще теплый на ощупь, за тазиком пряталась насквозь промоченная, ставшая совершенно ватной пачка стирального порошка.

Просто удивительно, как муж умудрялся избегать, казалось бы, неизбежных встреч. Однажды Марине, устало поднимавшейся по лестнице подъезда, явно слышались встречные, характерные своей пригашенностью Сережины шаги, которые тут же, как только были обнаружены, зависли в невесомости. Потом, сделавшись в четыре раза легче, шаги устремились наверх: словно кто-то тихонько чиркал по опасному, готовому разразиться шипучей вспышкой спичечному коробку. Марине ничего не стоило подняться еще на шесть пролетов, загнать беглеца головой под чердачный люк, закрытый на вечный висячий замок; но, когда она долезла наконец до собственной квартиры, наверху, прямо у

нее над головой, вдруг установилась такая пустая, вакуумная тишина, что Марине показалось диким тащиться с тяжелыми сумками выше, обозревать совершенно голые площадки, самой возникать в одиночестве перед подслеповатой оптикой уже ночных, полностью задраенных квартир. А однажды Марине помешало в кустах... Впрочем, человек, метнувшийся от освещенного подъезда в прутьяную, шевельнувшую тенями темноту, мог, хотя и было что-то совсем Сережино во вскинutom, укрывающем голову локте, оказаться просто-напросто бомжом, собирающим бутылки.

Видимо, Марина, испуганная изменой мужа гораздо больше, чем могла себе позволить в предвыборной суете, стала бояться мужчин: подсознательно они ей представлялись теперь извращенными существами, что прячутся в тени и грязи, чтобы оттуда угрожать нападением или каким-то воздействием, от которого душа становится как опыт по химии, разогревающий в груди какие-то едкие вещества. Может быть, человек на газоне и живописец с курносым ножом, будучи реальными людьми, были в той же степени и порождениями Маринино-го страха: именно страх заставил их появиться из ниоткуда, безо всяких объяснений своего существования. Собственно, так уже было — давно, в общезитии. Марина помнила, как она сперва не боялась ничего и ходила во все незапертые комнаты, даже в те, где пили водку, тупо брякаясь стакашками, и тянули ее посидеть на коленях, где было неудобно, как на взрослом велосипеде. Потом она внезапно стала бояться, особенно дяди Коли Филимонова, который ходил и сидел подхватившись, будто терпел до туалета; глаза у него были красные, как божьи коровки, и у него болела похожая в бинтах на зайца правая рука. Потому, что он любил смотреть в окно, когда там уже стояла масляная ночь, Марина начала бояться темноты. После, когда принарядившаяся мать увезла ее из общезития, это прекратилось, а теперь вот снова началось. Возможно, Марине следовало обратиться к кому-то за поддержкой, но она, наученная опытом, была не из тех, кто откровенничает с людьми. Вечерами она исправно гасила прикроватную лампу, сразу же уступавшую место порошковому оконному свечению, и долго металась, ворочая обе грузные подушки. Про себя она неостановимо разговаривала с мужем, иногда улыбаясь разбитой улыбкой, если в уме застревала какая-нибудь смешная реплика. Этих мысленных разговоров уже набиралось столько, что, даже если бы девица в конской сбруе резко сошла с дистанции, все равно повседневная жизнь не дала бы Марине возможности проговорить все это в действительности; все это — эйфорическая смесь фантазий и измененных воспоминаний — было заранее пропащим и вырабатывалось с тем большей продуктивностью, чем меньше могло соотноситься с каким-либо будущим. Постепенно отрываясь от реальности, Марина видела просвечивающие, дневные сны, отделенные от яви только мутной молочной перепонкой, пропускающей звуки и основные краски. Казалось, будто муж оставляет ей эти сны посмотреть, как раньше оставлял почитать журнал или газетную статью.

Если бы Марине удалось поговорить с неверным Климовым хотя бы несколько минут, это бы перекрыло, заткнуло тот фантастический поток говорения с ним, который не прекращался даже на работе и откладывался в почерке Марины лишними сегментами, набухшей буквенной икрой, так что паспортные данные избирателей в ее тетради даже зрительно походили на посторонние мысли. Вдруг обнаружилось, что образ Климова, который Марина уже давно считала потускневшим, на самом деле ярк в ее сознании яркостью паразита, обвинявшего своими сильными побегами каждую надежду и каждое движение ума.

Ощущения, которые Марина испытывала, когда искала встречи с беглецом, считая минуты до окончания рабочего дня — проживая каждый день с ти-

кающим часовым механизмом, встроенным в мозг, — сильно напоминали те, на первом курсе, когда Марина бегала за Климовым и сидела совершенно выключенная, если он по каким-то причинам не приходил на лекции. Внешне состояния тогда и теперь были до смешного одинаковы, воспроизводились даже мелочи, вроде кислого электролитного пощипывания на взмокших ладонях или внезапного глухого нетерпения, переходящего во внутренний крик, когда обстоятельный избиратель, еще и поместив на стол Марины свою какую-нибудь пустобрюхую сумку, задерживался перед нею больше, чем на несколько минут. Однако нынешние чувства — копии прежних — были полыми внутри: сердце билось сильно, но сердце было пусто. Чувства больше не имели предмета и потому нуждались в нем сильнее, чем когда недостижимый Климов просто прогуливал пары или быстро выходил навстречу Марине из помещения, куда ей по какой-то надобности следовало войти, — и помещение становилось тупиком.

Наблюдался и еще один болезненный феномен. Неожиданно прошлая жизнь — все, что Марина считала оставленным очень далеко, отделенным многими годами от сегодняшнего дня, — внезапно оказалась здесь и теперь окружала ее гораздо плотней и настоятельней, чем реальность облетающих улиц и подвального рабочего места, тоже усиливших напор при помощи потоков автотранспорта и ежедневной, бормочущей с закрытыми ртами толпы посетителей. «Вся моя жизнь при мне», — говорила себе Марина, глядя куда-нибудь в свободное пространство (настолько узкое и с таким ограниченным небом, что вряд ли это можно было назвать свободой), и тут же чувствовала свою утрату, как если бы у нее при сохранении всего морально устаревшего имущества был незаконно отнят какой-то главный капитал. Теперь попытка накапливать деньги в побитой шкатулке, под брякающим мочалом из стеклянных бусок, перепутанных цепочек и прицепившихся комарами дешевеньких серег, выглядела приветом из прошлого. За нынешней сокровищницей вдруг проступил, ударив Марину в сердце, ее абсолютный прообраз: общажная «шкатулка» для подарков — шершавая от грубой ржавчины чайная жестянка, изнутри сохранившая мутно-золотую, как бы надышанную зеркальность стенок и дна, но не уберегшая пустую конфету, которая однажды сплюснулась и стала похожа на дохлого жука, выпустившего наружу раздавленные нижние крылья. Спрашивается: какие подарки и конфеты могла купить себе Марина на накопленные тысяча четыреста рублей, чтобы потратить деньги не зря?

Возвращение прошлого выявило между прочим, что за те пятнадцать лет, что начисто смели фундаментальную орденоносную эпоху, которую Марина автономно пыталась сохранять, Климов не изменился совсем. То, что муж неожиданно связался с другой, экзотической женщиной, из чьей головы росло слишком много грубых смоляных волос, чтобы эта небольшая луковица сохраняла человеческое строение мозга, только подчеркивало, что сам он остался прежним. Марина не только знала факт, что у Климова есть другая, но и знала буквально, что и как у них происходит: климовские любовные повадки были ей известны. Это положение, несомненно, было опасным: Марина могла представить, как велико желание Климова устранить свидетельницу, чтобы она не подглядывала за ним и его подружкой в метафизическую щель. Чувство жертвы просыпалось сразу, когда под аркой, ведущей во двор (домой Марину уже давно никто не подвозил), слышались чьи-то сырые, деревянными кубиками стучавшие шаги; Марина еле удерживалась, чтобы не броситься бегом прямо по лужам, где цепочками темнели неверные, похожие на чьи-то оставшиеся в воде ботинки, обломки кирпичей, а спасительный подъезд слезился лампочкой на том конце двора и все никак не приближался.

Но самая главная опасность, которую Марина даже не додумывала, чтобы не впасть в прострацию и продолжать работать в штабе, заключалась в том,

что Климов своим уходом грозил разрушить ее кропотливую, многолетними трудами созданную конструкцию. Чтобы сердце отчима не подвело и доработало до лучших времен, Марина была готова на все. Климов не знал, как она унижалась перед некоей Зоей Петровной, постной блондинкой с ротиком, как тушеная морковь, зав. архивом полуразвалившейся прямо в центре города киностудии. Климов представления не имел, каких усилий стоило Марине каждый раз договариваться с монтажером Костиком, существом уклончивым и хитрым, обожавшим свои цветные рубашечки, бисерные фенечки, хрупкие зеркальные очки, но державшим в совершенно свинском состоянии титанический компьютер, в чью античную белую красоту навеки въелась смуглая грязь, а клавиши напоминали коренные зубы, истертые грубым кормом до потери алфавита и триста лет нечищенные. Этот крысовидный Костик (новоявленный фанат генсека), несомненно, имел какие-то свои, виртуальные причины недолюбливать Кухарского, но всякий раз, помогая опальной Марине «лепить прикольную халтурку», капризно повышал оговоренную в долларах сумму гонорара и норовил вмонтировать в «новости» свою физиономию, выглядевшую среди благопристойных советских обличий словно морда обезьяны. Все это, безобразное и глупое, приходилось терпеть. Своим неизбежным сообщником Марина врала, будто готовит сюрпризом сволочи Кухарскому забойный спецпроект, альтернативное постдокументальное кино — что было по большому счету правдой, ибо поддельные новости оказывались выразительней, чем когда они были якобы настоящими. В материале ясно проступали спецэффекты развитого социализма, где, в отличие от голливудских аналогов, ничего не взрывали и не крушили автомобилей, а, напротив, строили грандиозные, перерастающие смысл сооружения, наглядно являвшие геометрию поднятой в индустриальный воздух катастрофы.

Чтобы добиться на своей территории относительной стабильности, Марина добровольно сделалась сердцем парализованного времени, героиней советского фильма; задним числом она почти полюбила комсомол и свою придуманную партийность — что сказало, к примеру, на ее положении в заговоре и в штабе профессора Шишкова, где Марина, несмотря на низкую зарплату, стала знаковой фигурой и совестью всего мероприятия. С чисто партийной принципиальностью Марина также не допустила, чтобы отчим узнал о смерти пьяницы-племянника, имевшего внешность покойника задолго до того, как его сожигательница, алкоголичка с лицом как содержимое желудка, зарубила беднягу классическим российским топором. Марина лично выезжала на место происшествия от криминальной хроники «Студии А»: на нее, тогда еще бесстрашную, не произвели большого впечатления ни темноватый маленький топорик с небольшой, по краю лезвия, полоской грязной кашицы, какая бывает под ногтями, ни мелкие клопные брызги крови на кухонной стенке. И все-таки она отказалась утвердить эту позорную смерть в качестве факта действительности. Для беспокойной матери, тоже не допущенной к реальным новостям, но как-то почувывшей неладное, криминальная история была переделана в отравление водкой, что тоже отчасти являлось правдой, поскольку, по сведениям из анатомички, организм племянника на момент, когда его, не стоящего на ногах, уравнило топором, был абсурден, как суп, и жить ему оставалось едва ли несколько недель. Однако теперь приходилось заботиться о поддержании псевдожизни и этого персонажа, причем покойный алкаш, до топора проявлявший себя через мелкие займы по красным пенсионным дням, оказался куда как более прожорливым паразитом, чем канонический Брежнев. Придумав племяннику благотворительный наркологический санаторий, Марина никак не могла рассчитывать с его немалыми, как оказалось на поверку, пьяными долгами, сильно истощавшими шкатулку. Почему-то ей казалось важным

полностью выплатить то, что было записано на последней странице ее же старого ежедневника, следовало избыть потертый рукописный календарик, дойти до нуля. Но предприятие затруднялось не только отсутствием свободных средств, но и тем, что записи были неполны. В прошлом алкоголик и по будням обнаруживался на кухне, мучительно трезвый, с тяжелой мордой загримированного трагика и по-женски сведенными коленками, мучительно ковырявший на блюде шоколадную мазню домашнего торта. И, конечно, мать давала ему на опохмел без ведома Марины, эти суммы нигде не фиксировались. Алкоголика, таким образом, никак не получалось обнулить, и, видимо, мать, доставая из почтового ящика очередной, отправленный Мариной перевод, все-таки спрашивала себя, отчего остепенившийся родственник не кажет глаз и не приходит даже на праздники, бывшие для него всегда святыми датами восстановления в правах и единения с людьми. Должно быть, втайне мать подозревала, что резкая Марина обидела родного человека, что тоже было правдой, потому что обида мертвых на живых всегда пропитывает ночь и проступает на обоях, к тому же Марина спрятала труп.

Тем не менее внутри домашнего кино, в пределах устойчивой, как табуретка, семьи из четырех человек все развивалось по простым законам советского благополучия. Теперь же Марине, выгнав Климова, предстояло взять на себя кормление еще одного фантома, собственно говоря, уже давно обитавшего в квартире как уклончивое привидение, почти не питавшееся человеческой пищей и сидевшее в кресле с газетой как олицетворение мужа вообще. Собственно, Климов почти не заходил туда, где лежал и следил глазами перекошенный больной; с комнатой родителей, оформленной под красный уголок, Климова связывало всего лишь содержимое платяного шкафа, одного на все семейство, и в последнее время Нина Александровна сама выносила ему его полураздетую вешалку, на которой болтался подобный мечу на перевязи единственный климовский шелковый галстук.

Прикидывая, как ей дальше жить, Марина говорила себе, что эффект присутствия утраченного мужа будет ею достигнут всего-навсего уходом за его оставшейся одеждой. Вряд ли Климов, покидая дом, разграбит все, что-то непременно должно сохраниться — хотя бы старые вещи из давней счастливой, еще студенческой поры, купленные на огромной, вроде кругового крестного хода, загородной барахолке, где Марина и Климов всегда крепко держались за руки и имели, на случай если их растянет в разные стороны, условленное место встречи: очень толстую и белую, точно зубным порошком натертую березу. Получалось, что Марина, отыскав и обиходив то, что муж не захочет забрать, буквально вернет его и себя в самое лучшее, самое доброе прошлое. Вообще-то ей казалось, что она имеет равные с мужем собственные права на его пожухлое имущество, и не только потому, что платились за него родительские деньги, а потом ее гонорары: просто Климов, уходя, не имеет морального права создавать иллюзию, будто его, предателя, не было вообще.

Так постепенно, пока еще в одном сознании Марины, намечалась новая, строго симметричная семейная гармония: в ней устоявшееся отсутствие Климова соответствовало отсутствию Алексея Афанасьевича, и двое неполных мужей, тихо занимая соседние комнаты, предоставляли активным женщинам становиться все более одинаковыми, с той исчезающей разницей в возрасте, что, помноженная на родство, все меньше угадывается под рисунком одинаковых морщин, похожих волнистой округлостью на годовые древесные кольца. Самоуверенная Марина полагала, что ей не составит труда перенять от матери ту еженедельную дотошность, с какой та не менее внимательно, чем пролежни на теле отчима, обрабатывает полости и складки серого костюма, что благодаря ее

стараниям так посвежел за последние четырнадцать лет. Вероятно, со временем и климовский свадебный костюм, задвинутый в угол шкафа тяжким прессом барахла, приобретет холеную дородность того габардина, что, красуясь орденскими планками и пустыми рукавами ветерана войны, иногда занимает вместо хозяина узкий семейный балкон. Надо полагать, что мертвенное сходство всех мужских вещей — неносимой одежды, похожей на керамику неходящей обуви — когда-нибудь составит род идиллии, недостижимой в пределах простых человеческих действий; наверное, Марина, знающая уже, что содержание призраков требует денег, сможет, рассчитавшись наконец с долгами алкоголика, прикупать для Климова что-нибудь модное, потому что мода, как искаженный перевод реального времени на глухой и глупый язык предметов, может существовать и при ее квартирном застое, под сенью генерального секретаря.

Все это, впрочем, была деловитая лирика сумасшедшей. В глубине души Марина понимала, что обстоятельства завели ее, пожалуй, слишком далеко. Если до сих пор ей удавалось строить и ремонтировать поддельную реальность без особого ущерба для реальности собственного «я», то новый фантом — упущенный муж — угрожал все это изменить. Зачем-то она купила себе такое, как у Климова, на сахарный комок похожее кольцо, — и в то же время мучительно не такое, режущее глаз неуловимой каверзой своего строения, каким-то уродливым избытком, стирающее из памяти ненайденный оригинал. Отставляя подальше чуть дрожащую руку, безобразно украшенную великоватым приобретением, Марина понимала, что тратить себя на поддержание жизни призрачного Климова придется уже до конца. «Какое стильное колечко», — заметила Людочка, беря Марину за руку с уверенностью гадалки, но не заглядывая в ладонь. Возвращаясь в действительность и в штаб, где наступал обеденный перерыв, Марина решила, что, во-первых, все-таки выпишет себе и матери по законной пятидесятирублевке, а во-вторых, позвонит домой, и вовсе не затем, чтобы, укрывшись за анонимностью трели, быть принятой за азиатку с косою и выманить Климова из его дневного сна. Ей в самом деле следовало выяснить, явилась ли Клубба, всего-то-навсего справиться по хозяйству, и, когда она прошла от заоравших посетителей в заднюю комнату штаба, там на плитке булькала разваренная до лохмотьев мутная картошка. Людочка, переступая длинными ногами, резала проседающий батон на изогнутые левые ломти и покрывала их большими, с заусеницами, колбасными порциями, — в общем, жизнь продолжалась как ни в чем не бывало, хотя из трубки до Марины доносились только длинные безличные гудки.

Запыхавшейся Нине Александровне, когда она, приволакивая сумку, поднималась по лестнице, явственно послышалось, будто в квартире тоненько, еле пробиваясь сквозь тугое помрачение у нее в голове, звонит телефон. Когда же она, провозившись с замками, по-собачьи грызущими ключи, протиснулась в душный коридор, аппарат уже молчал. Над ним, глядя на Нину Александровну горячими со сна зеркальными глазами, топтался испуганный зять. Должно быть, Сережа, как всегда, отсыпался после ночного дежурства, чей-то звонок его разбудил, но Нине Александровне почему-то почудилось, что зять не опоздал к телефону, чинно, как на картинке, белеющему на гладкой салфетке, а так и стоял над ним, таращась, словно стараясь протянутой рукой понизить фонтанирующий звон, пропустить между пальцев напористый звук, но ни в коем случае не дотронуться до трубки. Впрочем, это были всего лишь фантазии, сразу вылетевшие у Нины Александровны из головы, когда она заметила, что зять Сережа опять похудел: казалось, будто тапки у него надеты не на ноги, а на руки, так стали тонки безволосые лодыжки, а провалившийся живот висел на ребрах, будто

пустой мешок. Неудивительно — ведь теперь ему приходилось дежурить чуть не каждую ночь. Нина Александровна предполагала, что у зятя заболел один из сменщиков, и боялась, что за дополнительную работу ему не заплатят, из-за чего Марина, ставшая в последнее время какой-то слишком красивой, с губами как яркая язва, снова будет его шпынять.

Сказав Сереже, что сейчас разогреет борщ, Нина Александровна прошла на кухню, разложила продукты в старом холодильнике, как всегда, стреканувшем ее по пальцам электричеством. Потом она из полной суповой кастрюли, где ломкий круг оранжевого жира был с прозрачной слезой, щедро наворотила густого розового месива в кастрюльку поменьше, поставила на газ, и холодное желе стало тонко закипать по краям. Борщ получился хорош: через десять минут, когда Сережа сутуло примостился на табуретке, перед ним стояла полная тарелка яркого горячего варева, сдобренная целой оладьей разнеженной сметаны, и на тарелочке отдельно лежали, на выбор аппетита, толстенькие бутерброды. Глядя на хорошую, мечтательную улыбку, которая постепенно, по мере того как ввалившиеся щеки теплели от еды, разгоралась на молодом Сережином лице, Нина Александровна чувствовала, что и у нее что-то отпускает, размягчается там, где у человека в душе все должно быть твердо. Конечно, в последнее время она стала чересчур доверчива к хорошему: жизнь делалась все тяжелей, а Нина Александровна все податливее отзывалась на ее случайные и слабые улыбки, может, даже означавшие совсем не то, что виделось ей со стороны. Она и сама догадывалась, как легко ее купить всего лишь видом младенца в коляске или, к примеру, сценкой дружеского разговора, но соглашалась ценить себя все более дешево, потому что ей уже хватало даже крошек благодати, которые размокали в ее душевной влаге в какую-то теплую кашку. Вот и сейчас, поглядывая на зятя, все охотней черпавшего из тарелки мягкую забеленную гущу, Нина Александровна верила, что он, быть может, отыскал хорошую работу и скоро семье уже не придется тянуться в нитку, дожидаясь пенсионного числа.

Сама Нина Александровна вовсе не хотела есть: кислая булка из уличного кафе тянула желудок комом тяжелого теста. Алексей Афанасьевич обычно спал об эту пору дня — вернее, забывался тем, что можно было в его неизменном существовании считать человеческим сном,— и негромко храпел, поблескивая правым приоткрытым глазом, в то время как мозг его горел подобно молочной лампе, так что ясно рисовался разбрызганный синяк инсульта, делавший Алексея Афанасьевича похожим на неведомого ему Михаила Горбачева. Нина Александровна обычно проводила это время на кухне, чтобы не тревожить парализованного своим ходячим грузным присутствием, но сейчас, в состоянии размягченной душевности, ей хотелось его покормить. Решив сначала заглянуть, она слегка приоткрыла комнатную дверь. Только тут до нее дошло, что храпа не слышно. В растерянности остановившись на пороге, Нина Александровна сразу увидела, но не сразу поняла, что на кровати, горевшей, будто фарями, большими золочеными шарами, творится что-то необычное. Постель, которую Нина Александровна, уходя, оставила в гладком чертежном порядке, с аккуратным, будто ручка в нагрудном кармане, парализованным внутри, теперь измялась и стеснилась в ногах у больного, одеяло висело углом. Левая рука у Алексея Афанасьевича лежала совершенно отдельно и казалась почти такой же большой, как и целое тело, в странном извороте которого было что-то безрукое, рыбе. Но более всего Нину Александровну поразила легкая белая веревочка, крепившаяся каким-то выплетенным в воздухе вензелем к решетчатой спинке кровати. На другом конце веревочка заканчивалась петлей, криво лежавшей на лице парализованного: Алексей Афанасьевич, измененный и отмеченный этим словно бы небрежной рукою нарисованным кружком, дико выгля-

дывал из него, и правый выпученный глаз его моргал, в то время как другой, полуприкрытый, слегка подергивался, словно жухлый древесный листок, по которому шелкают дождевые капли.

Нина Александровна, простояв с минуту и окончательно уткнувшись мыслью в тупик, поняла, что просто не может это осознать. Веребочка, пропущенная вокруг решетки и сама вокруг себя пустыми слабенькими петлями, представляла собой словно бы не готовую удавку, а развешенную в воздухе наглядную схему, как надо вязать ее замысловатые узлы. Осторожно зацепив ее двумя опасливыми пальцами, Нина Александровна сбросила петлю с лица больного, и в ответ парализованный издал горловой негодующий звук. Что-то успокоительно бормоча, Нина Александровна попыталась снять с кровати смертельную снасть: узел на петле соскользнул легко, как бусина, и распался в ладони, зато развесистая заготовка на кроватиной решетке от несильного рывка затянулась так, что Нине Александровне пришлось минут пятнадцать пережевывать ножицами твердую шелковую кочерыжку, освобождая из нее поцарапанный прут. Все это время Алексей Афанасьевич, лежа в остывшем пятне ядовитой старческой мочи, дышал ровнее и сильнее обычного, и Нина Александровна ощущала, как мозг его, подобно камню, брошенному в воду, испускает концентрические темные круги.

Вот, значит, как, сказала она себе, опускаясь в кресло. Алексей Афанасьевич попытался повеситься, и это было невероятно. Это было не просто покушение на остаток его парализованных дней. Тот особенный способ, каким Алексей Афанасьевич жил, просто присоединяя каждую новую минуту к полностью сохранным прожитым годам и ни на миг не отвлекаясь от строительства растущего объема своего существования, означал одно: как только он умрет, вся его постройка исчезнет целиком, будто ее и не было вообще. Тут растерянная Нина Александровна почувствовала, что пытается мысленно увидеть вещи, которые в принципе не может охватить своим обыкновенным маленьким умом: ей почудилось, будто на голову ее надели тугую шерстяную шапку. Смутно она ощущала, что жизнь ее седого мужа, на посторонний взгляд совершенно неприметная и пошедшая, не считая героической войны, на мелкие архивные дела, была в действительности подвигом невидимой работы, что задача этой жизни была на самом деле колоссальна и, как все колоссальное, бессмысленна. Всякая пушинка и былинка бытия, не считая более крупных и ценных вещей, шла у Алексея Афанасьевича в дело, все становилось у него строительным материалом для его гнезда или муравейника, создававшегося не по замыслу разума, но скорее инстинктивно. Было абсолютно ясно, что столь целокупная, ничего и никогда не обронившая жизнь может вся располагаться либо по ту, либо по эту сторону смертной черты; стало быть, Алексей Афанасьевич, покусившийся прервать свое строительство до его естественного завершения, действительно готовился уничтожить не только свое уютное будущее с протертыми бархатными супчиками, пуховыми кашками, бодрыми программами фальшивых новостей. Он единым махом собирался уничтожить все.

Это и в самом деле было недоступно пониманию, чудовищно, несправедливо, это обесценивало прожитую жизнь. Руки Нины Александровны, выложенные на колени, все никак не могли успокоиться и прыгали, точно выброшенные на берег судорожные рыбины. Если бы ветерану удалось просунуть голову в маловатую петельку — тогда бы кануло в небытие и добросовестное замужество Нины Александровны, оставив ее, ничью вдову и ничью жену, посреди чужой разрозненной обстановки. Тогда исчезла бы со света и ее предшественница — первая супруга Алексея Афанасьевича, крупная молодая женщина с медальонным овалом большого лица, с темными, низко закрывающими уши волосами,

отливающими гладью граммофонной пластинки на том дневном печальном свете, что пропитывает старые, маленькие ее фотокарточки, хранящиеся в тяжелой, как энциклопедия, протертой до серой материи девичьей сумке. Невозможно было себе вообразить, что за пустоты могли возникнуть с таким уходом Алексея Афанасьевича. О пустотах давал представление свет тех угасших фотокарточек, что сохранили парковую позу женщины на фоне острых листьев, как бы в звездчатой глубине древесного калейдоскопа; о пустоте говорил и свет сегодняшнего, с горем прожитого дня — солнечный свет, очень похожий на тот, фотографический, и странно дающий представление об астрономической удаленности своего источника, о том, насколько издалека пронизаны и обрисованы им высокие деревья в лихорадке листопада, грубый сахар оконного тюля, вот эти лекарственные бутылочки. Значит, муж собирался оставить Нину Александровну на произвол судьбы. Конечно, он не знал, что его богатая пенсия — основной для семьи источник существования; теперь сказать ему об этом прямо было невозможно. У Нины Александровны не было слов, чтобы вот так, с бухты-барухты, сообщить ему о переменах, которые и ей самой казались неправдоподобными. Она бы просто не знала, с чего начать, потому что сама не понимала, как и почему все это началось в действительности; если смотреть на нынешний капитализм из той далекой точки, где время разошлось на два рукава, то окружающее выглядело, будто балаган или страшный сон убежденного коммуниста, который и сам был фигурой придуманной: единственной основой для существования такой фигуры, хотя бы просто в умах, была победа в Великой Отечественной войне.

Получалось, что Алексей Афанасьевич всегда был творцом и центром советской действительности, от которой умудрялся держаться подальше; и ныне эта действительность, сжавшись до размеров жилой стандартной комнаты, сохраняла устойчивость, поскольку столп ее не исчез, наоборот — оказался в ловушке вместе со своими, глухо рдевшими в коробках, орденами (Красное Знамя, Отечественная война I степени, Слава II и III степеней, четыре Красные Звезды), имевшими, в отличие от бестолковых наград Генерального секретаря, внутреннюю логику и событийный смысл. Однако теперь ветеран, превратившийся в тело, в горизонтальное содержимое высокой трофейной кровати, вдруг объявил войну собственному бессмертию. Впервые Нина Александровна поразилась тому, что Алексей Афанасьевич аж из самой вражеской Германии припер, приволок на себе эту золоченую койку — десятки килограммов нежного металла, отдельно пышная, с готическими ячеями, панцирная сетка, отдельно спинки, похожие хроматической стройностью на музыкальные инструменты, — зачем, для чего? Какую мечту удерживал он в сотрясенном войной яростном уме, когда, уже хромой и каторжно прикованный к своему трофею, остервенево преодолевал полуразбитые вокзалы, взваливал свое добро на пыльные фанерные попутки? Тащил ли он через пол-Европы свой будущий царственный отдых от войны или все-таки имел в виду какую-то женщину и продолжение собственного рода? Или уже тогда, томясь в каком-нибудь неспешном, будто очередь, мирном товарняке, сидя у ног своей разобранной кровати, будто у подножия собственного будущего, Алексей Афанасьевич догадывался, что эта германская красота, с которой он не может расстаться из-за овладевшего им бессмысленного упрямства, станет для него достойной виселицей, что эта неотвязная вещь есть на самом деле его неизбежная смерть, все-таки обретенная на войне? Он чувствовал, должно быть, что смерть надо во что бы то ни стало доставить домой — через все развороченное пространство, покрытое архитектурой разрушений, — доволочь и наконец-то лечь в нее, в кровать и в смерть, под защитой своих тыловых, надежно сомкнутых стен. Собственно, думала

Нина Александровна, каждый человек надеется умереть в своей постели, что ж тут удивительного. Только Алексей Афанасьевич предпочел найти и выбрать сам то, что станет ему последним местом на земле и последним видом в глазах. Выбор Алексея Афанасьевича был настолько определенным, волевым, что он не пожалел последних, не дочерпанных войной, не довытянутых госпиталем сил, чтобы без помощи Бога, только при содействии грубого, толкавшего в спину везения (мелкой сдачи с того, что было им уплачено за три десятка побед над вертким и сытым врагом) притащить облюбованное чудовище к себе на Урал и больше никогда с ним не расставаться.

Теперь всплакнувшая, промочившая до нитки скользкий носовой платочек, Нина Александровна хотела бы получить от мужа хотя бы слабый знак раскаяния и вины: ведь то, что произошло, было хуже и обидней, чем если бы она застала Алексея Афанасьевича с любовницей — именно в супружеской кровати, чью высоту и жаркий звон, подобный звону полной кузнечиков луговой травы, Нина Александровна не успела забыть на своей брезентовой раскладушке. Однако парализованный, лежа по-прежнему в мокром и сморщенном пятне (на котором он, по-видимому, забуксовал, неизвестным образом сдавая вниз вместе со всей перекобоченной постелью), был теперь погружен в себя. Вытаскивая из-под мужа длинную сырую простыню и рыжую клеенку, размякшую и гнучую, будто горчичник, Нина Александровна чувствовала, что тело, переполненное утомлением, стало гораздо тяжелей и перекидывается само через себя без прежней обезьяньей ловкости, без навыка поддаваться, обретенного безжизненными членами за годы болезни. Поднимая с пола осевшее одеяло (слыша в прихожей свистящий шорох куртки и осторожную возню — должно быть, зять Сережа собирался уходить), Нина Александровна неожиданно увидела в углу пододеяльника полупустое легкое вздутие. Сунув руку по локоть в разверзшийся бесформенный мешок, она извлекла на свет перепутанный гадюшник из жухлых поясков от халатов и летних платьев, давным-давно отправленных на антресоли, из каких-то тесемок и синюшных, вытянутых, будто жилы, бельевых резинок; самым крупным экземпляром оказался общипанный шелковый галстук горохового золота, выделявшийся в клубке, будто кобра среди тонких червяков. В ужасе Нина Александровна попыталась завязать все это в разлезающий узел, наматывая на него висящие концы (в прихожей все продолжалось тесное шарканье, одежда с вешалки, словно в обморок, со вздохом и мягким бряканьем упала на пол). Вдруг — или это только показалось, так мимолетно было щекотное прикосновение — левая рука парализованного сама погладила нагнувшуюся Нину Александровну где-то за ухом, нечаянно задев колючее зерно сережки.

Сразу мысли Нины Александровны приняли иной оборот. Как же он, должно быть, устал за четырнадцать лет от своего измучившего спину лежачего веса, от неудобства тяжелых, как вериги, развинченных костей, от полумертвой работы желудка, в котором пища словно превращалась в землю и вяло проталкивалась по извилинам кишечника, а в груди при каждом тесном вдохе вставало поперек какое-то весло. Все это Нина Александровна знала как бы по себе, все это ей сообщалось через бессловесную связь, что возникла между ней и мужем в тот момент, когда Алексей Афанасьевич упал на балконе на зароптавшие банки и мозг его вспыхнул. Однако эта связь не означала в смысле отношений ровно ничего. Даже если и было между Ниной Александровной и мужем подобие любви — разве могла она теперь претендовать, чтобы Алексей Афанасьевич терпел и кормил ее своей изнывшей плотью, своей ветеранской пенсией, которую государство и так выплачивает ему уже едва ли не четверть века — и не может бесконечно выплачивать бессмертному? Алексей Афанасьевич имел законное право разом прекратить свои мучения и предоставить Нине

Александровне самой добывать себе на пропитание — ведь это делают сегодня все одинокие старухи, на которых невозможно смотреть, когда они, одетые в то, что уже не стоит ни рубля, продают на улице с газеток забеленные мутью опухшие соленья, соборенные фонариками турецкие трусики. Нина Александровна была согласна влиться в эти инвалидные торговые ряды, только не знала как; все-таки она была избалована, муж никогда не оставлял ее без денег. Потрагивая себя за ухом, она пыталась вспомнить ощущение, но, без толку мусоля песочек волос, только размазывала неясное тепло, превращая его в ядовитую красноту. Тогда она (неисправимо верящая в хорошее) склонилась над уже укрытым, запеленутым с руками Алексеем Афанасьевичем, надеясь поговорить с ним на языке плывущих электрических фигур, которых все-таки боялась по смутному воспоминанию о статье про шаровые молнии из журнала «Наука и жизнь». Однако мозг под черепом, напоминающим тонко склеенный археологический сосуд, был на этот раз совершенно зеркален, так что Нине Александровне почудилось, будто она, глядяваясь в Алексея Афанасьевича, видит на взбитой подушке собственное лицо.

Жизнь грубо ворвалась: комнатная дверь распахнулась как бы от удара плашмя по всей ее высоте, и Нина Александровна вздрогнула. Должно быть, зятю Сереже что-то понадобилось в платяном шкафу — но это оказался не зять, это была Марина, в землистом перекрученном костюме, в дырявых тапочках на черные колготки. «Мама, деньги принесли?» — нетерпеливо спросила она, бросая свой обычный быстрый взгляд на парализованного и сразу же за ним другой, более внимательный, словно надавивший Алексею Афанасьевичу на переносицу — на морщинистый корень стариковского лица, на котором сегодня лежала подозрительная, до странности ровная тень. «Принесли, принесли, я уже сходила на базар», — торопливо и заискивающе проговорила Нина Александровна, соображая, что совсем не помнит, сколько стоила каждая покупка, и что опять придется отчитываться в финансах, отвечая перед дочерью за продуктовые цены, снова тихонечко вздувшиеся. Нине Александровне было обидно, что Марина будто бы не верит ей и в глубине души считает, что мать покупает неправильно — набирает, что ли, для своего удовольствия лотерейных билетов, чтобы выиграть на них консервы или кусок колбасы. «Это что у тебя такое?» — вдруг спросила Марина, указывая глазами на безобразный пук тряпичной травы, который Нина Александровна все еще уминала в сыром кулаке. «Так, подметала, собрала на полу», — ненатуральным голосом ответила Нина Александровна, убирая руку за спину, где тут же напомнила о себе треугольная боль под левой лопаткой. «Выбрось, ради Бога, почему здесь никогда ничего не выбрасывают?» — болезненно сморщившись, медленно вытягивая из петель охлестывающий ее двузубый ремень, Марина повернулась уходить, и только тут, случайно, Нина Александровна увидела, что стекло на брежневском портрете, отливающее сталью, треснуло с угла.

Объяснение не затянулось: Марина была рассеянна и на что-то сердита, деньги будто склеивались в ее неловких считающих пальцах. Ей почему-то было трудно есть, каждый раз она словно натыкалась на ложку, остывший борщ в ее тарелке совсем заболотился. То и дело, ни слова не говоря, Марина выходила в коридор, и тогда тревожной Нине Александровне, погруженной по локоть в бормочущую раковину с жирной посудой, начинало казаться, будто дочь отправилась к парализованному с какой-то дополнительной проверкой. Она не могла себе вообразить, что предпримет возмущенная Марина, если только узнает о попытке Алексея Афанасьевича больше не получать каждый месяц по тысяче триста рублей. Больше всего Нина Александровна боялась, что Марина

станет отчима бить: кто или что сумеет ей в этом помешать? Однако шагов, устремлявшихся в дальнюю комнату, не было слышно; осторожно выглянув из кухни, Нина Александровна увидела в разбавленном полумраке, что дочь нигде не идет, а стоит замерев, лицом в самый темный угол прихожей, и слушает звуки подъезда, тупые ноты чьих-то восходящих ботинок, все никак не могущих добраться до пустой площадки их шестого этажа.

Поздно вечером, накормив Алексея Афанасьевича бледной паровой котлеткой и с особым тщанием протерев его тело мыльной губкой, шипевшей в мокрой седине, Нина Александровна уложила мужа не на обычное место, а подальше от края, оставив кромку одеяла свободной. Возвращаясь из душа, вся горячая в тесном, задавившем груди халате, Нина Александровна заметила, что под дверью у дочери все еще желтеет тусклая полоска — слабый, неровный пропил темноты, — а из комнаты раздается похожее на птичий щебет мелкое хихиканье. Решив, что дочь читает на ночь что-нибудь смешное, Нина Александровна сама улыбнулась и взбила повыше жаркую подмокшую прическу. Тело Алексея Афанасьевича лежало так, как она его оставила; на лбу темнел кроссвордом крупный, в клетку, тюлевый узор. Осторожно подсев на высокую грядку кровати, Нина Александровна подивилась ее полузабытой упругости, добротности пышного панциря. Стараясь не потревожить сон Алексея Афанасьевича — хотя это был не сон в обычном человеческом понимании слова, — она неловко, держась за спинку кровати, чтобы не завалиться, устроилась на боку. Клеенка хрустела под холодной простыней, придавая постели отчужденность врачебной кушетки; тело мужа тоже было отчужденное и немного вязкое, сладковато пахнущее шампунем. В этой ненагретой плоти было мало, очень мало жизни, одно лишь сердце под кожей сильно прыгало вверх, и Нине Александровне показалось, будто оно уже не расталкивает по тканям питательные вещества, но само питается стариковской слежавшейся органикой, высасывая через кровоток полупустые мышцы, похожие на дряблую проросшую картошку.

Нине Александровне было грустно и хорошо, и очень жалко Алексея Афанасьевича, и никак не согреться. Повернувшись навзничь, не доставая ногами до дальней спинки кровати, где, словно в сообщающихся сосудах, поднимался и опускался слабый серебряный свет, она поплыла на металлическом облаке в какое-то смутное, нежное прошлое, в тридцатитрехлетней давности октябрьский снегопад, густо заносивший фонари, точно белый хлеб крошили и крошили в молоко, — и заветные два билета на последний сеанс, предъявляемые контролерше, оказывались мокрыми. Ей было двадцать шесть, ему всего девятнадцать: по прошествии жизни эта разница в годах представлялась ничтожной. Удивительно, но Нина Александровна уже почти не помнила его лица, только неправильное пятно, однако это пятно обжигало эфирным холодком, теперь скорей приятным, нежели нестерпимым. Весь он был некрасивый, нескладный, волосы его — рыжеватая жесткая шапка — напоминали на ощупь волосы куклы. Всего четыре раза у него на квартире — на семнадцатом этаже, где серый снег, порхающий за окнами, был темнее неба и далекого, будто папиросной бумагой покрытого двора, где старая коричневая мебель казалась чересчур тяжелой для такой высоты, где из развалины платяного шкафа остро тянуло шерстяной затхлостью и средством от моли... У него на белых, очень тонких ребрах темнело много родинок, напоминавших зимние сморщенные ягоды на волнистом снегу; костлявые ноги его, которыми он запутывался в складках простыни, были сплошь покрыты нежным рыжеватым пухом. Оба они оказались друг у друга первыми, и то, что у них пока выходило, было тесным, болезненным, жестким. Торопливо, под гнусавый бой проснувшихся в соседней комнате часов (его родители приходили в половине седьмого), он сдирал с дивана мятую постель; рас-

пахнув для проветривания тугую форточку, за которой прыгали, будто их поспешно склевывали, манные точки, он извлекал из иностранных лаковых конвертов сторублевые «диски» немислимой атласной черноты и, держа их, чистые, в рамке ладоней, помещал на проигрыватель, затем спускал на тронувшуюся, сентиментально увлажнившуюся гладь послушную иглу. Он был хвастливый, добрый и затравленный; после любви учил ее курить, зажигая и передавая прямо в губы млеющую сигаретку; на улице всегда снимал с нее колючую деревенскую варежку, чтобы держать за жаркую руку; давал послушать на общажном, похожем на электроплитку, дешевом проигрывателе «попиленные пласты», звучавшие почти как настоящие, но вдруг пускавшие под зацепившейся иглоу звуковую стрелку, словно на поехавшем чулке.

Как ни удивительно, Нина Александровна помнила все, кроме его ускользающего облика. Закрыв глаза, она буквально видела его родителей: пожилые, с одинаковыми коричневыми глазами, похожими на четыре двухкопеечные монетки, они называли друг друга и общих знакомых уменьшительными именами, точно все они были детьми; у отца был непропорционально крупный, почти слоновий череп, плотно обложенный курчавой сединой, а у матери — усики, жесткие, будто растительные колючки, и на шее у нее висело много кожи и желтого, как кукуруза, янтаря. Оба они были знаменитые в городе врачи-гинекологи; эта их известность и такая специальность, которая словно не оставляла в отношениях между «девушкой» и младшим сыном никакого секрета, вгоняли «девушку» в горячую краску. В своем Североуральске, где она заканчивала техникум, прежде чем приехать поступать в университет, она понятия не имела, что есть такие люди — евреи, которые вдруг снимаются с места и уезжают в эмиграцию, словно умирая здесь, на родине, и сами по себе справля поминки среди беспорядка и опорожненной мебели, сдвинутой с места, держащей в замочных скважинах на манер повисших папирос уже не нужные ключи. Ей, конечно, не следовало приходиться, она была совсем чужая за многосемейным овальным столом, где кропотливо ели с тусклой, как прокуренные зубы, треснутой посуды, где взрослые были еще одеты во все советское, неуклюжее, словно подбитое картоном, а дети уже пестрели заграничными джинсовыми костюмчиками, нарядными свитерками, — и он, ошалелый, подвыпивший, еле вылезший из тесноты беседующих родственников, заторопился ее провожать.

После от него была одна открытка, брошенная в Москве, и больше ничего. Нина Александровна с тех пор не любила евреев, всегда высказывалась в их адрес с подозрением и неприязнью, но так и не научилась их распознавать среди хороших людей, с которыми ее сводила продолжавшаяся жизнь. Маринка родилась в июле, в самую жару, когда травяные и древесные листья выросли большие и дырявые, словно прожженные сигаретами, а желтые начинки кувшинок на пруду у районной больнички сделались сытными, будто вареный яичный желток. Нянча елозящий ситцевый сверток, Нина Александровна пыталась представить иной, экзотический зной, с пальмами из клуба кинопутешествий, с песками пустыни, растворяющимися в неверном мареве, будто сахар в стакане кипятку, и его на каменном городском солнышке, с книгой под мышкой. Воображать его в связи с собой на какое-то время вошло у Нины Александровны в привычку, ей остро требовалось ощущать его живым, но синхронная связь становилась все фантастичней, образ его изнашивался от употребления, и постепенно Нина Александровна стала путать воображение с собственными снами, где он предстал как гипсовый пионер, и были колоннады и трехэтажный, горевший на солнце, точно гигантская люстра, советский фонтан, и пыль на асфальте была горячеей и мягкой, будто мокрый пепел. Вот здесь, на супружеской кровати, она еще досматривала какие-то последние обрывки, остатки отснято-

го душой материала: муть, снег, он приехал из Израиля глубоким, морщинистым старцем, сидит на скамейке в какой-то мертвенной аллее, и следы его, ведущие к скамейке, почему-то круглые, как блюда с молоком.

Первоначально у Маринки в младенческих жиденьких прядках сквозила его рыжина, и было что-то от него в строении львиного носика, так что Нине Александровне даже чудилось, будто у нее родился мальчик. Но постепенно это все изгладилось, сошло на нет, и так же постепенно выпало из памяти его лицо, и даже обида, горчайшая обида на такую жизнь, уступила обидам попроще, поплотше: на комендантшу, выдававшую «мамочке» самые рваные, до серой марли вытертые простыни, на собственных родителей, заболевавших, как только Нина Александровна просила взять Маринку на несколько дней, и превратившихся с годами в одинаковых, с лицами, будто сухие каменные пряники, деревенских кулаков. Вот на Алексея Афанасьевича не было обид: в сущности, он никогда не оставлял ее одну, ни разу в Международный женский день не оставил без цветов: подобно тому как у него было 9 Мая, так у Нины Александровны было 8 Марта, соблюдавшееся неукоснительно. Пусть это были недорогие стебельки, булавки в пустоватом газетном кульке: все-таки Нина Александровна оказывалась выделена из множества женщин, только на работе получавших по мелкому тюльпанчику из общественных средств. Потому, что Алексей Афанасьевич был человек, к которому Нина Александровна могла испытывать благодарность, ничего про него не выдумывая, муж внезапно представился ей настолько ценным и неповторимым, что ее глаза увлажнились и стали в полумраке будто две глубокие чернильницы. Ласково, как только могла, Нина Александровна погладила мужа по холодному плечу (ей, как это часто бывало и прежде, померещилось, будто под пальцами прошел несуществующий шнурок как бы от медальона или креста), тихонько слезла ногами в сырые после душа холодные тапки, развернула, стараясь ничего не задеть, шатко вставшую на место раскладушку. Наутро, проснувшись в поту на голом брезенте рядом со сбитой простыней, Нина Александровна сказала себе, что как-нибудь справится, и что если ей сегодня требуется больше сил, чем десять или двадцать лет назад, то это теперь у всех, такие, значит, наступили времена, и надо, несмотря на странные рыбки в стеснившейся груди, вставать и готовить завтрак, и что она не позволит никому даже пальцем тронуть Алексея Афанасьевича, вытянутого у самой стенки — беспомощного, с придавленными руками, но не ставшего за годы неподвижности ни животным, ни сумасшедшим.

Теперь Нина Александровна очень внимательно следила за тем, что происходит вокруг. Поскольку тайну мужа следовало оберегать абсолютно от всех, она внимательно слушала звучащие по квартире шаги и не позволяла им приблизиться к заповедному «красному уголку», не приняв каких-нибудь поспешных мер и не упаковав Алексея Афанасьевича в одеяло до самого подборodka. Теперь никто не мог застать ее врасплох: Нина Александровна знала наверняка, кто и где находится в квартире в каждый конкретный момент, и утром первым делом выясняла присутствие людей, подавая голос под разбухшими дверьми надолго занятой ванной, даже снаружи мокрыми от испарений шумящей воды, из-за которой раздавался тоже мокрый, словно простуженный крик кого-нибудь из детей. Рискуя нарваться на раздражение, она заглядывала к ним в непроветренную спальню, всегда обнаруживая в духоте кого-нибудь одного, и получала иногда от дочери совершенно пустой немигающий взгляд, словно державший все предметы на весу.

Несмотря на пристальность слезки, Нина Александровна ощущала себя отрезанной от молодого семейства. Она даже не могла как следует бороться с их

неряшеством. Ничего не ведающие лица дочери и зятя порой казались ей незнакомыми, словно ушедшими в тень. Почему-то только раз, ненастным поздним вечером, ей удалось увидеть их вдвоем. Зять, похоже, уезжал в командировку, рядом с ним на полу прихожей стояла кое-как набитая — словно все, что должно быть уложено вдоль, лежало там поперек — спортивная сумка, и Сережа, растягивая, будто львиные пасти, свои шнурованные грязные ботинки, поглядывал весело, из чего Нина Александровна заключила, что у зятя теперь и правда новая работа, потому что сторожа автостоянок в командировки не ездят. Маринка, только что пришедшая с работы, провожала мужа, спрятав руки за спину и прислонившись к стенке: неподвижное лицо ее временами трепетало, будто бабочка, наколотая на булавку для энтомологической коллекции, и выглядела дочь не лучшим образом, глаза ее буквально заплыли водой, так что Нина Александровна едва не заикнулась прямо при зяте о походе к врачу. Однако выражение в глазах Маринки было таково, что Нина Александровна, едва не потеряв замешкавшуюся тапку, поспешила убраться к себе и не слушать их разговоров, которых, впрочем, не было: было только какое-то стеснение пространства прихожей, некий общий перекосяк, в котором шумно поехала по полу спортивная сумка, а потом Маринка жестко, до упора завертела замки. С тех пор Нину Александровну не оставляло чувство, будто они с Маринкой ревниво оберегают каждая свою территорию и обе не прочь, несмотря на затраты, врезать замки и в двери собственных комнат, чтобы, уходя из дома, не страдать от незащитности оставленных тылов.

Теперь настороженная Нина Александровна испытывала странную потребность оповещать о своем появлении, и ей казалось мало собственного возгласа или туповатого стука опухшими костяшками (маленькая Маринка, когда возвращалась с прогулки, не стучала и не звонила, а с маху шлепала по двери перепачканной ладонью); Нине Александровне хотелось, прежде чем войти, что-нибудь бросить впереди себя — в этом чувствовался смутный отзыв какой-то народной сказки, в которой персонаж бросает на тропинку разные предметы, чтобы верные друзья по этому пунктиру могли его найти. Здесь все было как бы наоборот: возникало желание не пометить прошлое, но при помощи броска исследовать будущее. Впервые в жизни Нина Александровна чувствовала потребность запустить в неведомый завтрашний день какой-нибудь зонд, прозрачное щупальце ума, которое сообщило бы ей, не произошло ли там, впереди, именно то, чего она боялась и чего, как видно, продолжал хотеть Алексей Афанасьевич, сопротивлявшийся упаковке в конверт. Не любившая что-нибудь терять, ощущавшая из-за канувшей заколки или закатившейся монетки неприятный беспорядок, дырку в обихоженном пространстве (оттого собиравшая вокруг себя много мелкого барахла), Нина Александровна стала теперь благосклонней относиться к своеволию вещей. Теперь исчезнувший предмет, который потом — она это знала — непременно отыщется, представлялся ей укатившимся вперед и пребывающим в прозрачной коробке завтрашней квартиры (наблюдатель, если бы таковой нашелся, поразился бы сходству между дневными снами Марины и возникавшими в уме у Нины Александровны стеклянистыми чертежами будущих дней — сходству, лучше выражающему родственность, нежели приблизительное подобие физиономических черт).

Но, похоже, застойное время, законсервированное в «красном уголке», не давало хода вперед и все возвращало на свои места; теперь оно сделалось даже сильнее — по ночам заклеенное на зиму окно потрескивало и попискивало, словно выдерживало напор какой-то растущей массы, словно парализованное бессмертие напрягало невидимый мускул. Нина Александровна, спавшая с недавних пор необычайно чутко, как бы лежавшая всю ночь у себя под боком, суеверно слушала

этот треск и тихое посасывание в щелях; Брежнев, странно повеселевший из-за толстой трещины в стекле, подмигивал и менялся с теми игривыми эффектами, какими заманивают взгляд рекламные щиты, содержащие, словно карточная колода, сразу несколько картинок с товарами и их улыбочивыми представителями. Пребывая в постоянном напряжении чувств, Нина Александровна догадывалась, что видимое ею на существенную долю состоит из ее воображения. Прежде она вряд ли стала бы расстраиваться, найдя в прихожей, за мозолистыми дочкиными босоножками, которые следовало убрать на зиму в коробку, недавно потерянный тюбик дешевой помады. Теперь, поднимая с пола раздавленные останки, похожие на разгрызенную куриную косточку, Нина Александровна холодела при мысли, что за удар уничтожил маленький зонд, явно раздавленный каблуком не кого-то из домохозяев, но явившейся в дом нехорошей судьбы.

Чувствуя себя закупоренной в автономном мирке, который теперь приходилось еще внимательнее оберегать от чужих, она порой испытывала неодолимое желание вырваться, повидать людей — сходить хотя бы к племяннику, все пересылавшему деньги с равнодушием автомата. Нина Александровна не помнила и половины наделанных племянником долгов, а переводы шли и шли — в точности теми же некруглыми стеснительными суммами, какими племянник одалживался «без сдачи на бутылку», и в этом как раз и было что-то механическое, словно деньги за племянника возвращал совершенно другой человек. Нина Александровна хотела бы понять, куда девалась та душевность, с какой племянник, хлебая противный для него, из горячей воды состоящий чаек, рассказывал о новой жене, хорошей и сильно пострадавшей женщине, которую нашел прямо у себя в подъезде в одной ночной рубашке и в добротном, с медалью, мужском пиджаке, — а той, конечно, рассказывал о Нине Александровне и так снова колочей пчелкой между разными людьми, переноса цветную теплую пыльцу. Пытаясь разгадать загадку, Нина Александровна думала, что племянник, быть может, сделался «новым русским». Зная очень мало об этой странной разновидности словно бы искусственных людей, зашивавших в лица золотые нити и буквально включавших деньги в собственный обмен веществ, приспособившая их к своей биологии через винный погреб и дорогой ресторан, Нина Александровна представляла сообщество «новых русских» как единственное место, куда человек уходит и делается недоступен, взаимодействуя с миром исключительно посредством поглощаемых и выделяемых сумм. В этом случае делались понятны точные цифры переводов, в которых, по-видимому, соблюдалась и обратная последовательность возврата набранных долгов: точность цифры содержала сообщение и была важна не в меньшей степени, чем правильно указанный адрес получателя. Все-таки Нине Александровне казалось, что и в «новом русском» может сохраниться что-то человеческое: она не раз представляла себе, как на улице перед нею остановится, идеально вписываясь в отражаемый пейзаж, одна из длинных лаковых машин, и из дверцы с похожим на телевизор затемненным стеклом вылезет улыбающийся племянник, и малиновый пиджак с золотым пугом будет ему все-таки несколько велик.

Еще ревнивей, чем за Мариной и Сережей, Нина Александровна наблюдала теперь за Алексеем Афанасьевичем, явно ей уже не доверявшим, но изредка, когда она возилась с чем-нибудь поодаль, глядевшим так, словно звал жену подойти поближе. Врачиха Евгения Марковна (сама внезапно сдавшая, с какой-то незнакомой неряшливостью в пучочке желтоватой седины) отметила улучшение двигательных функций и казалась при этом очень удивленной. Подрагивая сухонькой головкой, зачерствевшей с висков, заправляя в дырявое ухо вываливающийся наконечник фонендоскопа, врачиха долго слушала больного, потом

просила шевелить рукой — и рука Алексея Афанасьевича подпрыгивала неожиданно легко, отчего становилась окончательно похожа на механический протез. Собственно говоря, для удивления не было причин: тонкая субстанция бессмертия, из-за которой выпадало в осадок так много ровнейшей, светлого оттенка, только этой комнате свойственной пыли, сделалась явственно сильнее. Казалось, если этой пылью — побочным продуктом, содержавшим разве что малый процент основного вещества, — посыпать тараканов, шелухой валявшихся в химически обработанной кухне, то они немедленно забегают, будто капли воды по раскаленной сковородке.

Алексей Афанасьевич, спавший теперь гораздо меньше прежнего, не расставался с надувным китайским пауком: тот сигал у него со свистом, с каким-то похабным чмоканьем, трепеща в полете матерчатými лапками, и буквально бросался на Нину Александровну из складок одеяла, иногда задевая ее склоненное лицо своей фальшивой бахромой. Паук сделался как второе сердце Алексея Афанасьевича, соединенное с ним помимо шланга какой-то таинственной связью; конвульсии его не прекращались, даже когда игрушка соскакивала с койки и болталась между небом и землей, фукая на пыль. Не видя питомца (вообще редко наблюдая со своей подушки подскоки расплывчатого тельца), Алексей Афанасьевич продолжал работать вспухающей лапой, которую резиновая груша, выжимаемая до дна, снова и снова наполняла приятной круглотой, но иногда заедал плохо натянутый пальцевый механизм.

Изредка Нине Александровне удавалось кое-что подсмотреть. Алексея Афанасьевича было необычайно трудно обмануть: вероятно, парализованный улавливал несложные колечки, испускаемые ее сознанием, гораздо лучше, чем она, — его электрические ребусы. Алексей Афанасьевич, казалось, прекрасно различал, задремала Нина Александровна или только притворяется, сидя в кресле над дырой недовязанной варежки, — вне сектора его нечеткого обзора, но явственно присутствуя, затаив дыхание, тогда как во сне ей свойственно сопеть. Очень редко, за счет гипнотической длительности притворства (шерстяная нитка тлела в сырой ладони), у Нины Александровны получалось как бы поплыть: тогда ее полузакрытые, словно прозрачным маслом смазанные глаза видели то, во что едва ли можно было поверить умом. Собственно, она уже и не пыталась догадаться, как в постель к Алексею Афанасьевичу попадают разные веревки и тесемки, порой неизвестного происхождения, и просто наблюдала то, что удавалось наблюдать. Сперва ветеран, приподняв плечо и сделавшись асимметричным, как во времена размашистого хождения с тростью, медленно выкладывал на своем запакованном теле очертания силков; потом, в результате долго приготавливаемого виляющего рывка, как если бы Алексей Афанасьевич сделал свой характерный, только очень-очень маленький шажок, на одеяле образовывалась складка, и над ней при удаче приподнимался обод главной петли с божественным просветом, куда все с тем же медленным упорством устремлялся кончик веревки. Веревка лезла из руки парализованного с нарушением законов физики и, казалось, обладала упругостью кобры, выманиваемой в воздух дудкой факира; попытки попасть веревкой в провисающий просвет напоминали Нине Александровне призрачную процедуру вдевания нитки в иглу. И веревка, и петля словно расплывались в дрожащем воздухе от невероятного напряжения, от которого на виске ветерана блестела промоина пота; наконец рука больного падала на постель и какое-то время лежала точно отрубленная. Потом Алексей Афанасьевич снова начинал готовиться к рывку: с ним происходило нечто почти неуловимое, он принимался тужиться и, седой всклокоченный мужик, чем-то напоминал рожающую женщину, издавая иногда негромкий сдавленный стон.

Стараясь ничем не выдать себя, Нина Александровна с волнением наблюдала безнадежную борьбу. Материальный мир парализованного, лишенный всякой филигранности, упрощенный до больших схематических вещей, единственно доступных для его манипуляций, представлялся ей подобным азбуке на детских кубиках или верхней строке в таблице окулиста, — но максимальный шрифт, каким писалась эта судьба, вызывал почтение и суеверный страх. Нине Александровне иногда казалось, что ее Алексей Афанасьевич — много взявший на себя самозванец, подпольный Генеральный секретарь ЦК КПСС. Борьба ветерана с материей, где до сих пор побежденными были зайчики да пупсы, приобретала теперь совершенно новое качество. Нина Александровна не представляла себе, как парализованный, неспособный донести и ложку каши до растянутаго рта, сможет добыть из окружающего мира собственную смерть. При том, что даже для здорового человека существует много такого, что трудно сделать для себя без посторонней помощи — скажем, стрижку или массаж при остеохондрозе, — то что уж говорить о самоубийстве! Нина Александровна знала из собственного опыта, что этот вид самообслуживания требует от человека ловкости, и силы, и сноровки, как от охотника на дикого зверя. Да что там — больше, гораздо больше: быть в одном-единственном теле и охотником, и животным, сражаться с собой при помощи кухонного ножа — это Нина Александровна помнила хорошо и помнила, как новый ножик, наточенный добела и до черной слюны на бруске, упирался в ребра тупо, будто палец, и даже когда она разделась до бюстгалтера, думая, будто ей мешает скользкая блузка, у нее все равно ничего не вышло. Надо было сделать какое-то особое движение, вроде того изворота, с каким она умела втискиваться в переполненный автобус, и одновременно руками как бы вскрыть консервную банку. Но это оказалось слишком сложно, этому, быть может, следовало учиться. А как? Нина Александровна знала как никто (может быть, даже лучше, чем ее героический муж), что легче убить кого угодно, нежели себя: самоубийство — работа левой рукой, и если ты не левша от рождения, то все у тебя получается плохо, шиворот-навыворот. Правда, у Алексея Афанасьевича двигается именно левая, ну так что с того? Ведь сам он буквально распластан на земле — именно на земле, хотя между телом ветерана и почвой имеются пять этажей и подвал; поскольку размеры его подраспльившегося тела потеряли физический смысл, можно представить, будто он Гулливер в стране лилипутов, привязанный к земле сотнями тоненьких нитей, по которым снует, проверяя прочность снасти, толстый резиновый паук.

Теперь, глядя на Алексея Афанасьевича сквозь резкие диоптрии своего дремотного транса, Нина Александровна до конца понимала, что искусственная смерть — убийство и самоубийство — заключается в вещах. Ничего нельзя поделать с собой без орудия труда. Практически каждой вещью можно убить человека, после чего она остается здесь, по-прежнему невинная и ничего в себе не потерявшая. Между тем повседневные предметы, имевшиеся в комнате (еще и оглушенные бесстрастной философской пылью), содержали в себе очень мало смерти: у них были слишком плавные формы, слишком деревянные углы, их безопасная тупость могла кого угодно привести в отчаяние. Когда-то Нина Александровна мечтала о вещах специальных, дорогих, недоступных обычным гражданам, например, о пистолете или ружье, в которых смерть заключена, будто вода в водопроводном кране: только нажми — и брызнет. Веревку она, сказать по правде, тоже попробовала — и это было последнее, что у нее не получилось. Может быть, потому, что она, беременная на четвертом месяце, была до крайности чувствительна и раздражалась не столько на запахи (сама зима, вся в талых язвах и леденеющих лысынах, казалось, пахла моргом), сколько на малейший беспорядок. Каждую соринку она была готова подбирать и нести на общую

кухню, в пропитанное гнилыми газетными соками мусорное ведро; без конца перекладывала свое немногочисленное имущество, добываясь от всего равнения и параллельности, а от халата и кофты, лежавших на кровати, — ровности колбасы. Стоя уже на табуретке, с холодной и липкой от мыла петлей под самым подбородком, она увидела внизу свою абсолютно прибранную комнату, похожую на макет (библиотечные книги, ручки, записка родителям были словно нарисованы на столе), но далеко на полу белели какие-то рваные нитки, до которых в этой жизни было уже не дотянуться. Ноги ее дрожали очень мелко, табуретка дрожала крупней, рот, как рана, без конца наполнялся слюной; через некоторое время она, зажмурившись, вылезла из петли, зацепившейся сзади за волосы, утыканные шпильками, и, кое-как поместившись коленями на шатком квадрате табуретки, ступила на пол с ощущением, будто сошла с карусели. Потом она вымыла полы с дефицитным, пухшим в горячей воде стиральным порошком: с той горячей зарезанной уборки началась ее новая жизнь, которая так и продолжалась без перерыва до сегодняшнего дня.

Парализованному Алексею Афанасьевичу было много труднее, чем Нине Александровне в те невероятно одинокие месяцы, когда ей никто не помогал и никто на свете не согласился бы направить потверже ее шатающийся нож, как учительница сжимает и направляет неуверенную ручку в комариной щелотке первоклассника. В сущности, ветеран пытался сделать невозможное. Он уже был неудавшимся изделием смерти, бракованной заготовкой, от которой смерть отступила, не справившись с непрерывностью жизни в его озаренном сознании. Однако ветеран не смирился и теперь собирался сделать смерть собственноручно — всего лишь повторить на зеркальный выворот то, что с легкостью делал для других. Но ему, сапожнику без сапог, из всех человеческих ресурсов оставалось лишь угрюмое тюремное терпение, помноженное на бесконечные годы приговора, — способность двигаться к цели по миллиметру и вытаскивать всякое движение, словно хитрую деталь самодельного механизма. Казалось, будто смерть лежит в его кровати, как законная жена, и парализованный по миллиметру, через какую-то мысленную лупу, изучает это существо и переносит его в свое сознание, по-прежнему обладающее силой магнитной ловушки. Может быть, неуспешность попыток (Нина Александровна понятия не имела, сколько их было и когда все это началось) объяснялась именно тем, что ветеран еще не сложил из частных целого, не осознал свою смерть в полном ее объеме. Однако страшная хватка его ума не оставляла сомнений в конечном исходе борьбы.

Нина Александровна не знала, случится ли это послезавтра, через месяц, через десять лет. Будущее при попытке в него взглянуть казалось невозможным, попросту не существующим: даже та зима, что уже давала себя почувствовать по утрам оловянными оттенками асфальта, пустотой лужи перед подъездом, похожей на разбитый унитаз, представлялась Нине Александровне такой же неправдоподобной, какой она могла бы представляться папуасу, ни разу в жизни не видевшему снега. Нине Александровне никак не удавалось нащупать, где же там, впереди, пролегает граница, за которой обрывается реальность: будущее, всегда занимающее для своей вообразимости картинку из прошлого, на каком-то участке переставало с этим прошлым общаться. Там имелся какой-то разрыв или дефект, как бывают дефекты в стекле — влажные иглы, словно ищущие вены у проколотого пейзажа; но, как Нина Александровна ни напрягала и ни портила внутреннее зрение, она не чувствовала, сколько ей осталось до призрачной черты.

Выбираясь в магазины и на базар, она говорила себе, что вот это — глухой вращательный шум переполненных улиц, маленькие глиняные китайцы, сидящие кружком на корточках возле горы челночного багажа, зеркальные стекла

в окнах осевших особняков, странные, как бывают странны на старческих лицах солнцезащитные очки, — что вот это и есть реальность, а никакое не сновидение, что предметы здесь не означают ничего, кроме самих себя, и не предсказывают судьбу. Вот это, говорила она себе, только и останется тогда, когда Алексея Афанасьевича уже не будет на свете. Среди новых, абстрактных человеческих пород — особенно часто попадались одутловатые красавицы в узких черных пальто, с губами, будто шоколадные конфеты ассорти, и деловитые юноши в кожаных куртках, из-под которых торчали края пиджаков, — где-то затерялись люди родные и близкие, всего-то несколько человек, и теперь Нине Александровне хотелось убедиться в реальности их существования. Однажды ей померещилось, будто в косоплечем мужичонке, деловито вывалившемся с переднего сиденья тут же отъехавших, по стекла грязных «Жигулей», она признала племянника, его малиновое ухо, оттопыренное кепкой, его забрызганные штаны. Однако человек, закурив из пригоршни, повернул к заулыбавшейся Нине Александровне отталкивающее чужое рябоватое лицо и преспокойно двинулся навстречу. Все-таки реальность сохраняла кое-где островки доброты. Однажды возле бетонного забора, за которым стрекотало и бухало строительство метро, Нина Александровна видела, как приличный мужчина, со спины похожий на зятя Сережу, бережно поддерживает под локоть нескладную спутницу в цветастом, с блестками платке и в длинном пальто, из-под которого виднелись осторожно ступавшие ноги, напоминающие утиные лапки; кварталом дальше ребенок в красном комбинезончике гонялся за пухлыми голубями, которые ленились взлетать и только бегали, прираспуская крылья и хвосты, а ребенка ответственно пас долговязый и плоский военный, похожий в шинели на костяшку домино. Умиляясь, Нина Александровна вместе с тем не могла избавиться от чувства, что это видит только она и больше ни одна душа. Странный солнечный свет, резкий свет последней осенней ясности перед мокрым снегопадом, точно топором рубивший то оголенное, каркасное, дощатое, что оставалось на зиму от пышности лета, приходил настолько издалека, в таких громадных тысячах километров располагался его источник, что реальность, идущая на слом, казалась ничтожной, освещаемой оттуда из какого-то жалостного интереса. Человек же на улице, которому солнцем скашивало скулу, был и вовсе незряч, мнение его не играло роли, голова его кружилась от присутствия бездны, а может, от присутствия смерти в каждой штучке вещества, от повышенного фона ее накануне зимы; только этот фон, как ни странно, давал усталой Нине Александровне возможность на короткое время ощутить себя одной из многих под этим открытым небом, уже совершенно твердым от холода, так что даже в маленьком солнце, пускавшем вкруг себя ледяные иглы, было что-то кристаллическое.

День выборов настал и выдался словно на заказ: чудесное, зимнее, золотое воскресенье, долгое тихое утро, румянец во всю торцевую щеку спящей многоэтажки; окна панельных домов, такие безликие, что казалось почти невозможным представить смотрящее из них человеческое лицо, были нежно подкрашены перламутровой белизной. Пышная снеговая слюда доверху засыпала неудачный карликовый рельеф, который разные виды осеннего снега слепили из валившегося на земле некрасивого материала; снег в позе кошки лежал на карнизе высоченного и голого школьного окна, выходившего на спортплощадку, где пустое баскетбольное кольцо было затянато морозным небом, точно выпуклой радужной пленкой, из которой можно выдувать меланхолические гроздьи мыльных пузырей.

Школа, где располагался вверенный Марине как наблюдателю избирательный пункт, сияла на солнце и снегу, как яркий чистенький чертеж, и примерно с

десяти утра наполнилась гулом голосов. В актовом зале попечением «Фонда А» был оборудован буфет с четырех самоварах, где четыре красивые буфетчицы в сарафанах и кокошниках бойко торговали фантастически дешевой печеной снэдью, сдобным тестом в слипшихся мешочках, морожеными пельменями, похожими на синяки. В вестибюле всех, пришедших голосовать, встречали вывешенные в ряд по алфавиту портреты кандидатов — двух основных и трех дополнительных; эти ложные мишени, отстреленные в воздух штабом Апофеозова, были настолько невзрачны, насколько только позволяла хорошая цветная печать, и с отсутствующим видом глядели мимо избирателя. Зато Федор Игнатович Кругаль, взявшийся под конец кампании отчаянно молодиться, настоял, чтобы на листовку пошла его фотография десятилетней давности, некогда висевшая в плюшевом фойе областного драмтеатра, и кое-кто, должно быть, смутно узнавал эти выигрышные три четверти оборота, виноградную кисть итальянских кудрей, положенную, как на более крупный фрукт, на выпуклый лоб артиста такого-то, исполнителя главных ролей во втором составе театральной труппы. Из всех кандидатов один Апофеозов присутствовал здесь и сейчас: радость на его физиономии неопровержимо свидетельствовала, что из камеры фотоаппарата только что вылетела птичка.

Наблюдатели от апофеозовского штаба — похожий на хорошо воспитанного Гитлера корректный господин, у которого все сваливалось с правого плеча великоватый пиджачок, и узкая брнетка в персиковой блузке, с красными пятнами на ключицах, выпиравших из выреза, будто дужки очков — держались настолько согласно и даже любовно, будто стали на это воскресенье мужем и женой. Они уверенно разгуливали между избирателями, точно продавцы в дорогом магазине, и с готовностью приходили на помощь растерянным старушкам, все боявшимся испортить выданную им большую белую бумагу, где фамилии кандидатов стояли твердо и по порядку, а пустые квадраты напротив фамилий разъезжались и путались; иные робкие избиратели, видя столь авторитетную любезность консультантов, сами подступали к ним с вопросами и даже стояли в очереди, их круглые драповые спины, постепенно обтаивая, словно покрывались потом от усердия вслушаться в обстоятельно-приятные голоса. Марина знала, что имеет право и обязанность это прекратить, однако душа ее, точно налитая свинцом, оставалась такой неподвижной, что казалось невозможным пошевелиться. Тесная школьная парта (для апофеозовцев организаторы голосования поставили президиумный стол, на котором серел сухогорлый классический графин) больно давила на колени и чем-то напоминала средневековые колодки, в которых преступника выставляли на площадь для удовольствия толпы; Марине стоило невероятного усилия воли выбраться из этого орудия пытки и пройти в туалет. Она бы тоже могла прогуляться, поговорить с людьми, но избиратели, валом валившие мимо (явка, как отмечали все, была необычайно высокой), представлялись ей неразличимой массой со множеством человеческих рук, что-то тащивших, что-то друг другу передававших, снимавших манерно, словно срывая цветочки, тесные перчатки, выдиравших из кармана, точно страницу из книги, необычайно грязный носовой платок. В однородной толпе Марина не различала своих агитаторов и узнавала их только тогда, когда они, продемонстрировав знакомую ухватку извлечения из тесной одежды плоского предмета, предъявляли паспорт; в этот момент Марина видела точно со стороны штабной промозглый подвал и привалившуюся к стене, волочившуюся по стенам медленную очередь. Должно быть, агитаторы тоже узнавали в сонной женщине за партой ту, что выдавала им в подвале авансовые деньги; взгляды их, бросаемые от регистрационных столиков, были помнящими взглядами предателей. Немного утешало то, что практически все завербованные являлись во главе решительно настроенной

кучки приглашенных: получив бюллетени, эти разновозрастные сообщества вместе набивались в зашторенные, будто примерочные универмага, тесные кабинки и занимали их удивительно надолго, вызывая беспокойство продавцов-консультантов как бы за целостность товара, после чего глава делегации, несколько растерзанный, весьма растрепанный, как если бы действительно раздевался в кабинке до трусов, выводил своих к избирательной урне.

Напарницей Марины оказалась, конечно, Людочка, явившаяся на участок в узкой, едва не лопавшейся мини-юбке, в которой было тесно ее тяжелым, бархатистой лайкрой обтянутым ногам. Ей, похоже, активно не понравилась апофеозовская брюнетка, оттого она то и дело перебрасывала ногу на ногу, устроившись на легкой табуреточке с тем очевидным умыслом, чтобы временному мужу брюнетки были видны теснины и темноты, едва прикрытые косо натянутой тканью, и бросала поверх раскрытой пудреницы мерцающие взгляды, от которых усики неприятеля баннным листом трепетали над верхней губой. Тем не менее противник не поддавался на провокации и, надменно блистая высоким лбом с узорами натурального дерева, демонстративно брал под руку свою штабную половину, за что бывал поощряем дозированной улыбкой, на которую Людочка отвечала глумливой гримасой. Это было, конечно, безобразие, на Людочку косились зарегистрировавшие избирателей здешние учительницы, но сама Марина была в таком состоянии, что не смогла бы нанести противнику даже такой неприличный урон.

Вокруг нее держалась странная неживая пустота. Ей не то чтобы не было больно, но болела какая-то вата, плотным компрессом лежавшая на сердце. С тех пор, как Климов, застигнутый в супружеской постели в обнимку с расстегнутой подушкой, весь в перьях, будто хорь в курятнике, был наконец-то выкинут вон, у Марины словно не стало нормальных человеческих чувств. Каждое утро она просыпалась с воспоминанием, как он проснулся тогда, даже не взглянув на то, что его разбудило (на стул, нагруженный его одеждой и от толчка Марины мягко повалившийся набок); его глаза, сразу раскрывшиеся вверх, будто видели на люстре белоснежного ангела. Марина, у которой сердце колотилось, как при первом объяснении в любви, ожидала от него оправданий, ссылок на фантастические обстоятельства, которые она и сама могла бы за него вообразить, — но Климов даже не попытался что-нибудь сказать и бесстыдно ходил перед Мариной в одних облипающих плавках, которые поправлял, засовывая палец под боковую резинку и дрыгая ногой, а Марина смущалась даже переодеться в халат и торчала перед ним в костюме, черная и жесткая, как муха. Этот посвистывающий Климов был совершенно чужой и даже другого цвета — тело его, всегда белевшее на солнце, будто стоваттная молочная лампа, а после облезавшее липкой кожицей на манер молодой картошки до той же беззащитной белизны, теперь темнело грубым загаром, что лежал багровыми и бурными заплатами на его раздавленных плечах. В новом его облике, кривоногом и цепком, включавшем лакированную лысую башку с тремя одинаковыми скобами бровей и усов, проступало что-то совершенно азиатское, точно та некрасивая женщина заставила его переменить национальность. Климов ни слова не возразил на требование освободить не принадлежащее ему ветеранское жилье; вещи, подаваемые Мариной, он с веселым безразличием упикивал в спортивную сумку, и через небольшое время выяснилось, что все его брюки и джинсы забиты на самое дно комковатой укладки, и пришлось, чтобы Климову было в чем уйти из дому, опять выворачивать на кровать все это вялое, несвежее тряпье.

После ухода Климова все оказалось в точности таким, как предвиделось заранее, и в то же время каким-то ненастоящим, словно Марина обживала придуманную среду, кем-то когда-то описанную в словах. Если она куда-то шла, то у

нее создавалось впечатление, будто она идет рассказанным маршрутом, опознает рассказанные здания и переулки, довольно зыбко отвечающие сообщенным приметам, и порой несовпадения множились так, что Марина теряла направление и могла бы заблудиться, если бы не странная немногочисленность вещей. Мир вокруг нее оказался удивительно пуст; это соответствовало разорению поздней осени, когда на голых улицах кажется, будто что-то убрано или снесено, а что — непонятно. Нет, Марине не было по-настоящему плохо, она могла улыбаться и шутить как ни в чем не бывало, хотя улыбка выдавала ее сильнее, чем обычное ровное спокойствие, ровный голос, полуприкрытые глаза. В общем, она не особо страдала, даже голова, что раскалывалась весь последний месяц от предвыборных забот, перестала болеть. К Марине даже вернулся аппетит, во всяком случае, за штабным обеденным столом она съедала столько же, сколько другие, только вся еда почему-то сделалась безвкусной и плотной. Временами ей казалось, что она может быть совсем не так разборчива в пище, как обычные люди, и если уж надо чем-то тяжелить желудок, то почему бы ей не погрызть, к примеру, мокрую жилистую ветку или не откусить от раскрошенного угла надтреснутой до вафель коричневой трущобы, всеми кандидатами обещанной под снос. От подобных сумасшедших мыслей Марине становилось весело, она ощущала себя зубастой хищницей из голливудского фильма; в такие минуты неглупая Людочка, с некоторых пор ревниво наблюдавшая за всем возможным будущим начальством, взглядом призывала сослуживцев обратить внимание на Марину Борисовну и, словно набирая длинный телефонный номер, крутила пальцем у виска.

На самом деле истинным хищником, буквально выроставшим, как Годзилла, над примитивным урбанистическим пейзажем участка номер восемнадцать, был Апофеозов Валерий Петрович: в одно сравнительно прекрасное, желтое от солнца воскресенье бригада турок, не говоривших по-русски, раскатала его многометровый портрет на торце двенадцатизатжки, бывшей не лучше других, но стоявшей на горе и видной в тот момент едва ли не из каждой точки сверкающей, как рубль, чеканной территории. Развернувшись поверх устаревших мозаичных фигур, у которых руки, поднимавшие спутник, были будто ноги в коричневых, черных и телесных колготках, яркий до жути портрет народного лидера слегка пузырился, временами на нем натягивались складки, из-за чего казалось, будто лидер пережевывает откушенный от ближайшей стены проржавелый балкон и вот-вот шагнет вперед, двигаясь по пояс в дымящихся развалинах, словно купальщик в волнах. В то же время зрителя не оставляло отчетливое ощущение, будто все, что здесь имеется, стоит благодаря ему. Территория, подвергнутая столь пристальной и любовной обработке, словно обретала самосознание и даже подобие суверенитета. Здешние жители, не имевшие абсолютно никакой возможности уклониться от предвыборной печатной продукции, знали, как знает всякий гражданин форму своего государства, очертания избирательного участка, который напоминал на схемах женскую ладонь с коротенькими сомкнутыми пальцами, причем наглядно читаемая линия жизни, роль которой выполняла мертвенькая речка, оказывалась настолько длинной, что сама по себе внушала бесосновательный, но тем более заразительный оптимизм.

Эпидемия оптимизма, спровоцированная жизнеутверждающей персоной Апофеозова, принимала на территории формы поистине фантастические. Некоторые обыватели, чьи лица от многолетней бедности сделались пустошекими и серыми, как та дешевая потрошенная рыба, которую они покупали морожеными плитами с оптовых прилавков, вдруг поддались иллюзии, что в их жизни тоже возможны машина и банковский счет. Под воздействием странных радужных

флюидов безработный Игорь П., еще приличный мужчина в треснутых очках и чистой одежде, напоминающей от старости больничную пижаму, однажды среди бела дня явился в супермаркет, где, беспорядочно набрав в тележку целую гору валившихся на пол продуктов, подъехал с этим возом к кассе и, вместо того чтобы платить, потребовал наличные. На интеллигентном лице нападавшего блуждала мечтательная улыбка, в руках его ходило ходуном какое-то топорное изделие, напомнившее кассирше бабушкину ручную мясорубку, но оказавшееся впоследствии шестиствольным ружьем афганского производства. Подскочившие секьюрити без проблем изъяли тяжелую, много лет не стрелявшую вещь из синеватых рук бывшего ст. научного сотрудника, сразу опустившихся с облегчением. И это был не единственный случай оптимистического криминала, некоторые даже пытались обогатиться, показывая жертве завернутую в газету куриную кость.

Помимо духа скорой наживы, наложившего на золотую осень отпечаток странной буквальности и придавшего листопаду параноидальный блеск свершаемой мечты, на территории ощущался и более сложный эмоциональный феномен, который можно было определить как внезапную веру граждан в бессмертие. Состояние здесь и сейчас приобрело невероятную остроту; казалось, будто мгновения теперь останавливаются по первому требованию, буквально по взмаху руки, и уж раз ты жив сию минуту, то совсем необязательно когда-нибудь менять это удовлетворительное положение вещей. Жителям просто хотелось, чтобы кто-то озвучил их состояние, авторитетно подтвердил им то, что они думают каждый сам по себе. Вряд ли установив деловые контакты со штабом Апофеозова, скорее ощутив в атмосфере зовущую пустоту, которую можно и нужно заполнить собой, на восемнадцатый участок прибыл доктор нетрадиционной медицины, автор целого веера радужных брошюрок и почетный член необычайно длинно называющихся академий, носивший очень подходящую для территории фамилию Кузнецов. Первоначально публика по расклеенным всюду салатным афишам приняла господина Кузнецова за еще одного кандидата, но очень скоро разобралась и валом повалила в снятый для сеансов кинотеатр «Прогресс», четвертый год стоявший в многоярусных лесах, что придавали зданию подобие китайской пагоды — причем, как предполагали многие обитатели территории, внутри лесов кинотеатр уже отсутствовал. И все-таки он оказался на месте: входить в него следовало по дощатому крытому лазу, заляпанному окаменелыми ремонтными кляксами, начинавшемуся далеко от бывших дверей и под неровной тяжестью множества шагов колебавшемуся так, что между хлипкими досками настила выдавливалась, будто начинка из сладкого пирога, застойная вода. Миновав сырую область загустевших вод, человек попадал в тот самый вестибюль, где когда-то ел мороженое перед сеансом фильма «Ирония судьбы»: здесь, в полумраке (очень грязные окна светились, будто пустые кадры старой киноплёнки), еще стояли, словно тени, каждая будто между двумя подернутыми временем зеркалами, серые колонны, и человек, подойдя к одной и не увидав у ближайшей своего отражения, внезапно чувствовал всю пустоту этой архитектурной пещеры, даже если развалина была полна народу, покупавшего тридцатирублевые билеты возле бывшей буфетной стойки. Стойка, помимо помощника д-ра Кузнецова, от которого были видны только очень белые бегающие руки и низко склоненные зальсины, была украшена чудовищем — случайно уцелевшим сооружением для продажи натуральных соков, прозрачно серевшим тремя стеклянными цилиндрами, из которых один был чернее прочих и цветом напоминал перегоревшую лампочку.

В зрительном зале все было в точности так, как во времена советского кино. Ряды деревянных стульев, похожие в закрытом виде на ряды деревянных портфелей, были, правда, полностью перепутаны — за пятым рядом следовал

восьмой, пятнадцатый потерялся вообще,— зато зеленые плюшевые портьеры совсем по-прежнему звякали железными кольцами, и на месте был небольшой пожелтый экран, словно собравший пыль ото всех, что когда-то мерцали над головами зрителей, фильмовых лучей, в которых, будто космонавты в корабле, летящем со скоростью света, были некогда заключены популярные артисты — объекты несправедливой зависти кандидата Кругалы. Доктор Кузнецов всегда опаздывал на десять — пятнадцать минут, заставляя рассеявшийся зал долго глядеть на приготовленный для мэтра журнальный столик и приставленный к нему не по росту высокий козлоногий стул, вместе напоминавшие, из-за своей просматриваемости насквозь и некоторой условности композиции, оборудование иллюзиониста. Наконец, когда наиболее нервным начинало казаться, что Кузнецов давно присутствует в зале и вот-вот образуется из хитро устроенной, якобы пустой конструкции, ожидаемый маэстро байковым домашним шагом выходил из-за кулисы. Дунув и плюнув в шипящий, словно раскаленный, микрофон, профессор глуховатым голосом сообщал присутствующим, что человеческий организм рассчитан на жизнь не меньше ста пятидесяти лет и что дальнейшие слова его оздоровительной лекции не только помогут каждому ступить на путь к долголетию, но и особым звуковым и знаковым составом произведут омолаживающее переливание энергии, подобно тому как в ординарных клиниках его непросвещенные коллеги делают рутинное переливание крови. Постепенно деревянный скрип разогретого зала из рассогласованного делался дружным, словно скрежетали галерные весла или раскачивались, тяжело беря высоту, парковые качели; принаряженные женщины, из которых каждая четвертая тоже была Кузнецова, волнами ходили справа налево и слева направо, нечувствительно потираясь друг о друга мягкими плечами, и смотрели на мэтра многими парами глубоко в темноту посаженных глаз; то и дело в колыхании рядов по-лемуры сверкали очки.

Профессор, так замечательно умевший согласовывать пациентов и вместившую их тела деревянно-решетчатую среду, был необыкновенно убедителен и собственным обликом: крупное его лицо состояло из гладких, словно отшлифованных частей безо всяких морщин, между этими обширными пятнами молодости залегали извилистые, тоже как бы сточенные темноты, где, подобно почве в трещинах шлифуемого камня, сохранялся возраст профессора; из-за причудливости этих темных залеганий его лицо издали напоминало яшму. Еще убедительнее было появление на сцене ассистентки Кузнецова, которой, по свидетельству маэстро, недавно сравнялось шестьдесят. Юная ленивая блондинка, высоченная, как башня, с торчащими из слабых прядей оттопыренными ушами, в которых, в свою очередь, топырились, будто крючки в хряще у рыбы, золотые глуповатые сережки, была не только долгожительница, но и знаменитая поэтесса. Будучи объявлена, она равнодушно шествовала на авансцену (передним рядам отчетливо слышалось, как огромные ноги блондинки шлепают друг о дружку под мятым вечерним платьем), раскрывала близко перед глазами тоненькую книжицу, размером напоминающую паспорт, и принималась на унылый носовой распев читать стихи о темной страсти и бокале красного вина, о вечеряющих морях и об античном юноше с кудрями, будто лепестки у чайной розы, которого поэтесса упрекала в жестокости и в утере каких-то важных, со слесарной дотошностью описанных ключей. Выждав паузу и, словно птичек, покормив невидимыми крошками скачущие по рядам аплодисменты, профессор сообщал притихшей публике, что стихи его талантливой спутницы не только обладают большими художественными достоинствами, но и в силу заключенной в них энергетики врачуют от разных болезней, от женских до неврозов, и предлагал страдающим присылать ему на сцену анонимные записки.

Тотчас в загудевшем зале начиналось оживление, записок на сцену наносило больше, чем профессор мог разобрать до конца сеанса. Однако мэтр, с привычной сноровкой рассортировав бумажные квадратики и завитки (долгожительница тем временем стояла совершенно неподвижно и имела вид непроницаемой преграды на пути любой человеческой мысли о ее терапевтической поэзии), выделял наиболее частые диагнозы и принимал руководство чтением целиком на себя. Тут выяснялось, что от желудка помогает элегия, обвязанная по правому краю изысканным орнаментом рифмы и имеющая предметом давний поцелуй в ненатуральном, как цветочный магазин, лирическом саду; от давления читалась баллада, длинная, будто таблица умножения, где два средневековых короля, один прекрасный, а другой ужасный, без конца перемножались в шахматно срифмованных четверостишиях и глубоких тайных зеркалах, а то, что разомлевшие Кузнецовы слушали от воспаления придатков, было буквально сокровищницей, настолько легко все, к чему прикасалось перо долгожительницы, превращалось в изумруды и рубины, и даже простецкий воробей, почему-то залетевший в эти поэтические, устрашающим муаром облаков подернутые небеса, сделался по слову поэтессы золотой фигуркой и, надо полагать, немедленно брякнулся в общий сундук.

Никто вокруг не понимал, отчего со сцены разливается такое яркое счастье; женщины, которым предлагалось нечто, бывшее одновременно от болезней и про любовь, смутно чувствовали, что получают именно то, чего хотят. С иными случалась истерика; симпатичная толстушка, на щеках у которой блестели, будто елочный дождик, дорожки от слез, едва не прорвалась на сцену, чтобы спеть: ее удачно перехватил и обволок учтивым бормотанием помощник профессора, материализовавшийся из полутьмы не сразу, а отдельными контрастными частями, что было похоже на кино. Профессору стоило труда призвать аудиторию к относительному порядку: он поднимался на цыпочки и взмахивал руками, будто пытался повесить на высокую веревку невидимое полотенце. Наконец, добившись тишины, профессор переходил к самой важной части своего выступления и сообщал, что единого универсального рецепта долголетия не существует. То, что говорилось сегодня о дыхательных тренировках и необходимости пить попеременно холодную и теплую воду, безусловно, полезно и поможет каждому, и все, кто сидели в этом зале, будут в ближайшие годы заметно молодеть. Но чтобы достигнуть идеального соответствия своему настоящему возрасту (тут аудитория обращала взгляды на румяную шестидесятилетнюю блондинку со щеками, как две пол-литровые банки варенья), желателен индивидуальный оздоровительный режим и специальные, для каждого отдельно составленные белые стихи. Тех, кто готов позаботиться о себе до конца, профессор приглашал на свои персональные консультации в такой-то номер гостиницы «Север». Также он сообщал, что книга его уважаемой ассистентки свободно продается на выходе в фойе.

Было что-то невыразимо соблазнительное в сеансах профессора; оттого, что они происходили в катакомбном «Прогрессе» (профессор был необыкновенно чуток к эманациям среды), в них все явственнее проявлялись — наряду с эстрадными, подхваченными, как инфекция, в каком-нибудь варьете, — более таинственные кинематографические эффекты. Так, отдельным пациенткам мерещилось, будто в зале нет никакого доктора Кузнецова, а есть одно его изображение на пыльном экране; другие же подсознательно видели в целителе лектора-искусствоведа, как бы представлявшего перед просмотром тот самый фильм про любовь, в котором они всегда мечтали сделаться главными героинями, и вот теперь мечта наконец готовилась сбыться. Еще работу профессора на территории можно было сравнить с работой кабельного телевидения

десятилетней давности, когда первопроходцы бизнеса гнали за вечер по несколько американских фильмов: тогда казалось, будто настоящая жизнь, акварельная от низкого качества пиратских кассет, вот-вот наступит здесь и сейчас, что каждый станет как Шерон Стоун или Арнольд Шварценеггер, а если у кого-то сохранятся материальные проблемы, то измеряться они будут в миллионах долларов.

Теперь романтические надежды непостижимым образом вернулись в человеческие сердца, которых на участке номер восемнадцать было как фруктов в райском саду. Кандидат в депутаты Апофеозов, добившийся особняка и «мерседеса» благодаря своим восхваляемым прессой талантам, был доподлинным героем нового времени, в которое вдруг поверили мелкие менеджеры и безработные, домохозяйки и бомжи. Пока большинство обывателей целых десять лет не могло оторваться от морока нищих квартирок, проржавевших семейных «копеек», всего этого нажитого и приходящего в негодность советского обихода, чья фантастичность буквально кричала о себе из каждого угла и на каждом шагу, Апофеозов, наделенный несокрушимой волей к реальной действительности, сделался тем, чем должен был бы стать буквально каждый житель территории, когда бы не трясина обыденности, привычек, невостребованных временем профессий. Только Апофеозов, у которого даже галстучная булавка стоила столько, что становилась вещью почти магической, мог представлять территорию в Думе; Апофеозова любили, как могли бы любить пожелавшего баллотироваться на восемнадцатом участке американского президента. Опыты профессора Кузнецова (пациентки, побывавшие у него в гостинице, возвращались все в мурашках, словно обваленные в манной крупе, и какое-то время изъяснялись исключительно в стихах) обещали каждому не только долголетие и продление молодости, но по сути отмену прошлой жизни. Каждый мог теперь начать сначала, при желании с самого детства, что и происходило со многими; сразу несколько торговых точек, включая меховой магазин «Афины», были ограблены при помощи игрушечных револьверов — симпатичных железок, звонко щелкавших пахучими блошками пистонов, — после чего витрина «Афин», украшенная мраморными копиями богов и героев, одетыми в шубы, стала скучно походить на Пушкинский музей. Магазин «Детский мир», в свою очередь, бойко торговал жестяным и пластмассовым вооружением, так что Нина Александровна, по-прежнему забредавшая туда в неясных поисках какого-нибудь «Набора юного иллюзиониста», способного отвлечь ветерана от магнетической игры с веревками, поражалась пустоте отдела, чем-то похожего на брошенные отступающей армией фронтовые позиции. Только оловянные солдатики, будто стреляные гильзы, валялись на полках, открытых до самой стены, и лицо у лощеного менеджера, зачем-то торчавшего за голым прилавком, было контуженное, его улыбка, автоматически возникавшая при достаточном приближении покупателя, была совершенно бессмысленная.

Впрочем, в штабе кандидата Кругаля не удивлялись уже никаким сумасшествиям: здесь происходили такие вещи, по сравнению с которыми сеансы в невидимом извне кинотеатре «Прогресс» были цветочки. План профессора Шишкова, поначалу казавшийся образцом гениальной экономии средств, превратился в черную дыру. Расчетная цифра предельных затрат, которая должна была бы обеспечить верную победу его кандидату, осталась в далеком прошлом: ежедневно в подвале, чьи стены, потертые медлительным шорканьем человеческой массы, изменили цвет с кофейного на грязно-розовый, выдавались на руки сумасшедшие суммы. Профессор Шишков похудел, от разговоров о перспективах решительно уходил, жесты и мимика его напоминали ленту Мебиуса. Дважды, никому не сказавшись, Шишков ночными рейсами летал в Москву и привозил

оттуда добытую под секретные обещания спонсорскую наличность. Но и эти сытные пачки, поначалу выглядевшие за пасом, расхватывались, будто мороженое в жару, а обитатели территории продолжали прибывать. Стоило утром лишь чуть замешкаться с открытием штаба, как наружная дверь начинала гудеть всем своим металлом под ударами кулаков, а перед окнами присаживались на корточки нетерпеливые личности: их перевернутые лица заглядывали вниз, в перевернутый мирок штабного подвала, и почему-то эти люди казались великанами, что смотрят, свесив волосы, в незащитный перед ними кукольный дом.

Профессор Шишков, потерявший контроль над ситуацией, но не над собственным разумом, отлично понимал, что если прекратить раздачу денег агитаторам, то все, не получившие законной доли, из одного только чувства оскорбленной справедливости проголосуют на выборах против Кругалы. Поэтому он продолжал, глотая лекарства, изыскивать средства и только велел регистраторам работать как можно медленнее. Каждый изобретал свою технологию волокиты, выглядело это так, будто вышколенные сотрудницы штаба внезапно сделались больны. Они действительно не знали, куда себя девать под нетерпеливыми взглядами стеснившихся людей и среди своего рабочего хозяйства, отчужденного и словно заминированного требованиями замедления. В результате регистраторы, работая как бы под чьей-то гипнотической лупой, в сильном ее увеличительном желе, стали до смерти бояться наделать в журналах грамматических ошибок, а у одной впечатлительной сотрудницы куда-то бесследно делась только что вскрытая банковская пачка пятидесятирублевок, и женщина, страшно скрежетнув перекошенным стулом, словно переведенной в крайнее положение системой рычагов, свалилась без чувств.

Некоторые, не выдерживая давления, что нагнеталось, будто поршнем, прибывающей очередью, часами отсиживались в задней комнатке штаба, но даже и оттуда слышали, как очередь, никем не обслуживаемая, но подчиненная присущему ей направлению, каждые десять минут самопроизвольно делает шаг — точно десятки лопат вразнобой втыкаются в тупую кучу несдвигаемой земли. Сообразительная Людочка первой заметила, что выражение «стоять в очередях» неправильное, потому что на самом деле никто не стоит. И точно: люди, стоило им выстроиться в затылок, сразу приобретали импульс к перемещению в пространстве и начинали пробуриваться вперед, так что казалось, будто именно очередь могла бы стать для человечества столь долго искомым способом прохождения сквозь стены. Даже в отсутствие регистратора тело очереди, сдавленное впереди и разреженное в хвосте (там занявшие за крайним и отошедшие по делам составляли как бы безразмерное облако, напитанное мерзлым мелконьким дождем), продолжало работать: десятки ног переступали, шаркали, попихивали сумки, некоторые поправляли о плечи впереди стоящих запотевшие очки. Чтобы действительно постоять и немного отдохнуть, следовало отойти в сторонку и отыскать местечко у другой стены; там, отлынивая от общих усилий и натирая на мрачные пальто грязно-розовый, необыкновенно въедливый мел, всегда торчали индивидуалисты, уткнувшиеся в книжки. Непонятно было, как они читали при голых слабосильных лампочках, которые, казалось, не распространяли, а отсасывали свет и набирали со всего коридора каждая по полстаканка. Непонятно было вообще, почему с таким упорством, достойным лучшего применения, обитатели территории устремляются в штаб за несчастной пятидесяткой: вероятно, их гнало сюда чувство справедливости, требующее равномерного распределения даровых, только за факт прописки выдаваемых благ.

Иные кандидаты в агитаторы, никак не подпускаемые замедлением к раздаточным столам, приходили по нескольку раз, и отпечаток очереди на них не сводился ко вчерашним и позавчерашним следам коридорного мела, но выра-

жался в каких-то особых ухватках завсегдаев. Должно быть, это они облюбовали для распития трогательно старенькую детскую площадку напротив штаба, чем-то похожую на цирковую арену с реквизитом для мелких дрессированных зверушек. По вечерам, когда сотрудники, отсидевшись некоторое время после закрытия, выходили в темный двор, где, как заварка в выпитом чайнике, лежала толстым слоем мокрая листва, они замечали на площадке какое-то нехорошее остаточное присутствие: сутулые фигуры сшибались налитыми емкостями, иногда их неуправляемые выкрики пускали по газону пролетавшую резким снарядом безумную кошку. Марина, не выделенная из сотрудников никаким назначением, но самозванно ощущавшая почти материнскую ответственность за благополучие штаба, прекрасно понимала, что если жильцы окружающих пенсионерских хрущевок пока не жалуются ни в газеты, ни в милицию, то только потому, что сами, все как один, получили агитаторские деньги и надеются получить еще. Когда сотрудники, поспешно отделяясь друг от друга, разбежались кто куда, Марина, преодолевая химически сложный страх перед мужчинами и темнотой, пыталась в одиночестве приблизиться к пикнику, чтобы хотя бы разобраться, имеет пикник отношение к штабу или не имеет. Несколько раз на детской площадке горел кипящий под моросью рыхлый костерок: в красном облачке его виднелись розовые руки в толстых рукавах, то и дело бросающие в огонь какие-то картонные лохмотья, что целиком накрывали маленькое пламя и долго варились в собственном дыму. Но и при этом тусклом освещении Марине удалось опознать физиономии двух или трех полуподвальных знакомцев. Это ожидаемое открытие с тех пор томило Марину неясным предчувствием беды.

Интуиция подсказывала Марине, что упорство местного населения входит законной частью в общую картину предвыборного сумасшествия. Видимо, романтическая решимость обогатиться, внушенная персоной Апофеозова, не позволяла избирателям упустить даже очень малую возможность, предоставленную штабом условного противника. Вероятно также, что премия, обещанная агитаторам в случае победы Кругалья, хоть и имела заранее известный и скромный размер, каким-то образом связалась в очарованных умах со всеми фантастическими обещаниями, что излагал в двух своих малобюджетных роликах непризнанный артист. Несмотря на то, что вдохновенный Кругаль, явленный на фоне лившегося рекой государственного флага, говорил о местных усовершенствованиях, в частности, о пресловутом газе для частного сектора, зрителю казалось, будто речь идет о каком-нибудь городишке в Латинской Америке; когда же Федор Игнатович, снятый уже на фоне реальных, характерных для территории свалок и полуразвалин, ориентированных, подобно муравейникам, с севера на юг, жестом иллюзиониста заменял прискорбные пейзажи на компьютерные картинки, у избирателя и вовсе уходила из-под ног родная глинистая почва. Может быть, благодаря тому, что солнце на картинках было непривычно интенсивное, придававшее плоскостям архитектурных белых миражей яркость киноэкранов, обыватель смутно чувствовал, что его хотят перенести в Рио-де-Жанейро; должно быть, ему мерещилось, будто премия, которую он получит после выборов, станет одновременно акцией тех баснословных тропических отелей, которые каким-то образом построит на месте рытвин и сырых избушек этот лобастый человечек в светлом плащике повышенной комфортности, со множеством отделений и крупных пуговиц, похожих на электрические розетки.

Марина, написавшая сценарии обоих роликов, сама не могла понять, почему территория даже у нее на бумаге получилась какой-то вымышленной — и это при том, что теперь она испытывала к участку номер восемнадцать странную нежность, точно это была ее малая родина, о присутствии которой буквально под боком она до выборов даже не подозревала. Прежде жизнь ее всегда про-

стиралась направо от дома — по направлению к центру, туда, где с каждым перекрестком все делалось нарядней и чище, где третий сорт города постепенно заменялся на второй, — а теперь развернулась налево, в сторону бедной запутанной местности, которую Марина за последние четыре месяца узнала лучше, чем за все предыдущие годы, когда полагая до горизонта территория была для нее всего лишь скучным видом из окна. Теперь, когда предатель Климов окончательно ушел к своей азиатке, Марина обнаружила, что на территории ей как-то легче, чем где бы то ни было еще. Ей нравилось здороваться на улицах с полужнакомыми людьми, ее удивительно умиротворяли покатошь и блеклые краски пейзажа, лежачие позы всех частей волнистого рельефа, деревянная черная сырость обветренных заборов, старушечьи запахи волглрой крапивы, полной воды, трухи и прорезиненных крепких паутин. Все это было настоящее — в отличие от обстановки «правой» части города, которую Марина слишком долго представляла наперед как место жизни без Климова, а теперь, и правда оказавшись в этой новой жизни, не могла убедить себя в реальности улиц, движущихся слишком быстро для наблюдателя и словно записанных на пленку. Здесь же, на участке номер восемнадцать, пусть и осененном поясным портретом водостойкого врага, все отраднo совпадало с ритмом неспешных шагов и неторопливых мыслей, все здесь было пешеходным, и останки листовок о найме агитаторов, где-то расплывшиеся от влаги, где-то оставившие, словно бабочка узорную пыльцу, ворсистый буквенный клочок, вызывали приливы ностальгии. Видно было, что эти старые бумажки, расклеенные в темноте и словно попорченные светом многих миновавших дней, уже давненько никто не читает. Тем более оказалось отраднo наблюдать, как высоченная блондинка в потертом зеленом пальто и в черных клешах, похожих на два китовых хвоста, с каким-то детским любопытством разбирает наполовину всосанное щелями забора изыбшее объявление. При виде этой простодушной детки баскетбольного роста, облизывающей млечным языком разнеженный пломбир, Марина ощутила, что жизнь имеет сентиментальную ценность, не зависящую ни от присутствия Климова, ни от придуманной коммунистической партийности, которая больше не грела и ни на что не вдохновляла. Парализованный отчим, обклеенный собственной кожей, что была уже истончена и пронизана мерзлыми прожилками, пребывал в каких-то донных глубинах старческого забытья, и все предметы в комнате, включая брежневский портрет, некогда украденный Мариной с кафедры теории и практики печати, были для него не более, чем его воспоминания. Не стоило побуждать это полумертвое тело к участию в жизни, пусть и не имеющей отношения к подлинной реальности; не стоило дразнить старика телевизором, от которого шея парализованного напрягалась на своих натянутых корнях и поперек корней проступал как будто давний шрам, похожий на грязный шелковый шнурок. Вероятно, иная реальность, в которой Марина и правда вступила бы в партию, потому что по-хорошему хотела быть среди ответственных и передовых, получилась у нее довольно убедительной. Но в глубине души Марина всегда догадывалась, что не она, а отчим какой-то непонятной силой держит около себя свой автономный маленький мирок, и эта сила, это магнетическое поле — вовсе не иллюзия. Теперь Марина просто хотела оставить отчима в покое и сохранить себя, свои силы и кровь для кормления призрачного Климова, которого все равно не удастся забыть. Территория, которую Марина привыкла считать своей, хоть и сходила потихоньку с ума, все-таки давала ей дышать.

Теперь для Марины проигрыш на выборах был равносильен изгнанию из родного дома: апофеозовскую оккупацию она могла воспринять только как личное оскорбление и большое несчастье. Поэтому она терпеливо сносила тяготы последних предвыборных недель и добросовестней других выполняла ука-

заняла профессора Шишкова. Чтобы работать как можно медленнее, Марина считала про себя, доводя этот маниакальный счет до как можно более высокой цифры и стараясь не сбиваться, даже когда записывала паспортные данные клиента. Если другие регистраторши под гнетом замедления все больше увядали и буквально ложились на свои столы, то Марина походила на неутомимую заводную куклу с механизмом из зубчатых колес, подобным часовому: в ответ на любую выходку нетерпеливых агитаторов она передвигалась ровно на одно тугое деление, что требовало от нее полной сосредоточенности. Минутами ей казалось, что если работать не медленно, а, наоборот, невероятно быстро, то можно избыть, исчерпать томительную неопределенность, раньше срока дойти до какого-то конца.

Все-таки сигналы тревоги, пробивавшиеся к Марине сквозь ее многодневную усталость, были не просто пляской издерганных нервов: в один прекрасный день она обнаружила, что очередь из ежедневно возобновляемого феномена превратилась в постоянно действующую структуру. Это произошло, когда один из примелькавшихся подвальных неудачников, легко идентифицируемый благодаря не то армейскому, не то рыбацкому, видимо, единственному на все сезоны и на все случаи жизни брезентовому плащу, вдруг оказался у нее перед столом; принимая из коричневой, как половина копченой курицы, ручищи аборигена грязный документ, Марина успела заметить за здоровенной ляжкой большого пальца тщательно и мелко нарисованный порядковый номер. Теперь получалось, что очередь стала чем-то вроде организации граждан и стихийно унаследовала мощь очередей, что, будто корни скудную почву, некогда бурили твердый непитательный социализм.

Образовалась у очереди и своя активная общественность. Несколько теток постоянно дежурили у входа в подвал: одна, беря новопривывших за руки с профессионализмом лабораторной медсестры, ставила на ладонях порядковые номера, другая записывала очередников в истрепанную тетрадку, похожую на перекрученный и расстегнутый зонтик. В составе актива обнаружился и знакомый живописец, теперь не кашлявший мягко, но перхавший и клекотавший, точно зарезанный петух, однако из двора, уже засыпанного крупкой и застекленного ломаным льдом, никак не уходивший. Его обязанностью было выпроваживать самозванцев, занявших с утра, но не имевших на ладони полусъеденной пóтом вчерашней чернильной отметки,— что живописец и делал, хватая вырывавшиеся руки, точно пойманных на спиннинг норовистых рыбин, и топча роняемые шапки чугунными армейскими ботинками. Еще он стоял на посту, когда по телевизору шел сериал и двор превращался в быстро белеющий кадр, где вслед за людьми исчезали и их ледяные следы на все более пунктирной, тоже исчезающей земле, а худые карнизы, с которых тонко бежала белая мука, были как песочные часы. Во все остальное время живописец занимался кустарной торговлей: кое-как расположившись на ступенях, защищенных козырьком, он предлагал желающим уже не свои картины патологоанатомического жанра, а связки глиняных расписных колокольцев, каких-то полых керамических птичек, издававших вместо свиста мокрое глухое улюлюканье, чем больно напоминал Марине ушедшего Климова. Видимо, сильно снизив цены в целях распродажи, живописец просил за каждое художественное изделие по пятьдесят рублей, но торговля абсолютно не шла: выбираясь из тусклого ада с выстрадавшими пятидесятирублевками, люди не желали тут же, у порога, обменивать свою частицу справедливости на пустотелую дребедень и спешили в ближний магазин, где их ожидали полные и запечатанные емкости, обещавшие своим беззвучием глубину ощущений, ясность разговора, бесконечное умножение сущностей и радужное расслоение обыденных вещей.

Но самое опасное заключалось в том, что возглавляла бригаду общественных энергичная Клумба. Голову ее венчала новая нутриевая шапка, волосатая, как кокос, на ногах лоснились новые сапоги с модными утиными носами, на которых Клумба ступала с осторожным торможением, будто все время спускалась под горку. Окрестные пенсионерки, уже одетые в бордовые и синие зимние пальто, обметанные не то песцовой, не то кошачьей вылинявшей шерстью, обращались к старшей по подвалу уважительно и с некоторым страхом: стоило Клумбе появиться и заговорить с активом, как все они сползались от похожих на деревянные сортиры хрущобных подъездов и ловили каждое слово, но при этом слушали так, будто всегда ожидали от Клумбы плохих новостей.

Управившись у входа в штаб и лично отогнав заплывшего до полуслепоты дворового алкоголика, умевшего, однако, из любого людского скопления извлекать пустые бутылки, Клумба боком, возбуждая волнение и сочувственный ропот, протискивалась ругаться в комнату регистраторов. Вынырнув перед столами в пришибленной шапке и в размазанной до уха малиновой помаде, Клумба принималась обличать волокиту речевыми периодами, рифмами и ритмом похожими на тексты Маяковского. Сразу всякая работа прекращалась вообще: регистраторы, наученные опытом, тихо уносили деньги в портативный сейф, волнение за спиной у Клумбы докатывалось до коридора и отдавалось там железным эхом, будто при рывке грузового состава. Клумба, вытянув наконец из живых человеческих теснот знакомую Марине полухозяйственную сумку, требовала самого главного ответственного за раздачу пособий для согласования мер.

Пару раз Марина, не дозвонившись до Шишкова, постоянно выпадавшего из времени и пространства, попыталась сама сыграть начальственную роль. Клумба узнавала ее, но узнавала как бы в несколько этапов. Сперва в ее сознании и в горевших по обе стороны носа симметричных глазках брезжило подозрение, что вместо начальника ей подсовывают что-то хорошо знакомое, никак к начальству не относящееся, и стоит ей припомнить, кто на самом деле эта туго подпоясанная, стриженная под сосновую шишку комсомолка, как она немедленно разоблачит обман. Затем, вызываясь протопаив за Мариной в заднюю комнату штаба, откуда сразу выкатывался, бросив несладкое чаепитие, потревоженный персонал, Клумба несколько смягчалась, речь ее, все еще затрудненная, будто икотой, непроизвольно выскакивающей рифмой (побочный эффект посещения гостиницы «Север»), делалась более доверительной. Получив в одной из относительно чистых кружек кипятков и млеющий чайный пакетик, она доставала из сумки крепко завязанную папку, а из папки — скелетные скрепками порции документов. Тут были вырванные с бахромой тетрадные листки, исписанные разными видами крупного старческого почерка и содержавшие заявления на имя Кругаля, с перечислением наград, болезней, тяжких жизненных обстоятельств; были какие-то пожелтевшие справки, заверенные бледными, будто следы от стаканов, старыми печатями; были почетные грамоты, распадавшиеся по сгибам на два роскошных засаленных куска, были архивные выписки, ветхие и плоские, точно отутюженные тряпочки. Иногда из-под скрепок вываливались даже мелкие фотографии — по одной и по две, — бумага их от старости сделалась жесткой и загибалась на манер нестриженого ногтя. Пристально наблюдая, чтобы в руках у Марины ничего не потерялось и не перепуталось, Клумба доставала из папки самый главный итоговый документ: список жильцов восемнадцатого участка, нетрудоспособных инвалидов, ветеранов войны и труда, которые в первую голову нуждались в пособиях, но не могли по состоянию здоровья выстаивать очередь и даже выходить на улицу; их старшая по подвалу предлагала охватить на дому силами общественности, готовой порабо-

тать бескорыстно, всего лишь за право получить пособие без очереди им и членам их семей.

В доказательство того, что список нуждаемости составлен не кустарно, а полно и объективно, Клумба напоминала, что является уполномоченной благотворительного «Фонда А», куда ее, как опытного социального работника, пригласили еще в начале избирательной кампании. Именно по этим спискам, неоднократно уточненным, фонд распределял большие продуктовые наборы — теперь же наработки можно было использовать вторично и с наименьшей пользой. Уже окончательно узнавая Марину как знакомую женщину, которой прекрасно известно, что такое больной, беспомощный старик, Клумба заточенным указательным находила в списке номер Алексея Афанасьевича: против него на полях, испещренных целыми кустами пометок и значков, стояли птичка и плюс. Действительно, Марина припоминала, как в единственный за последние недели выходной она проснулась от звучащих в прихожей резких, как бы милицейских голосов: выскочив, она увидела, как мать, уже одна, возится с тяжелым фирменным пакетом, где на фоне яркой аэрофлотовской синевы устремляется в светлое будущее отлакированный Апофеозов. В подарке обнаружился целый комплект документов, включавших изданную на мелованной бумаге программу Апофеозова, генеральный план переустройства территории, а также биографию кандидата, иллюстрированную снимками из семейного архива. На первом голенький младенец, совершенно молочный и как бы немного подкисший, тянулся к смазанной игрушке; далее появлялся угрюмый школьник, сосредоточенный взглядом на призраке собственного носа. Далее, по мере того как старшие, усталые и мужеподобные родственники Апофеозова сменялись новой, уже лично им организованной и выведенной популяцией, все большую роль начинала играть Первая Леди семейства, чувствующая себя в пространстве фотокамеры, точно слониха в посудной лавке, и выражавшая скованными позами предельную деликатность — тогда как руки ее, все время мявшие рукав кому-то из домочадцев, были жесткими и когтистыми лапами орлицы. В той же брошюре присутствовали и выделялись всеми возможными типографскими способами снимки Апофеозова с персонажами большой политики, причем рукопожатие, если таковое имелось, выглядело так, будто Апофеозов берет за рычаг какого-то механизма или — на худой конец — игрального автомата. Нарушение закона о выборах со стороны непрошенных благотворителей было очевидно, и Марина на другой же день, отдавая Шишкову написанные накануне пресс-релизы, сообщила о случившемся. Однако профессор буквально закрыл на это глаза: массируя бледные, трепетавшие под пальцами глазные яблоки, он замахал на Марину рукой и слепо ушел, наткнувшись по дороге на белый косяк. Собственно, доказать нарушение было почти невозможно: точно такие же комплекты литературы, только без сопровождения тушенки, сгущенки и колбасы, доводились до каждого избирателя и торчали из жестоко изнасилованных почтовых ящиков, валялись под ногами у жителей подъездов, обогащая свои страницы отпечатками разных подошв. Марине волей-неволей пришлось употреблять апофеозовские дары, дававшие понять печальным желудочным запашком, что находятся на пределе срока годности; больше всего ее задело, что мать не выбросила макулатуру противника немедленно в ведро, а тихо сохранила и тайно рассматривала семейную хронику, уделяя особое внимание задастенькому пупсу, тянущемуся ручонкой в размытую муть переднего плана, словно в собственное будущее, где его ожидает заслуженный приз.

Списки для благотворительности, принесенные Клумбой, включали двести тридцать шесть человек, набранных на компьютере, и еще десяток приписанных от руки. Марина, принимая опасные бумаги, обещала проконсультировать-

ся, уклончиво ссылалась на инструкции, давала понять, что возможности штаба в смысле пособий весьма ограничены; дипломатические переговоры, в которых посетительница была непрошибаема для намеков, как желтевшая за нею крашенная стенка, затягивали чаепитие на добрых полтора часа. Глядя на Клумбу, что макала в мутный чай размоченные до сытного бархата ванильные сухари, Марина ощущала обострившимися нервами, что и эта ярая общественница носит в себе человеческую загадку. Почему она, такая брезгливая во время своих государственных визитов к больным и старикам, столь страстно защищает во внешнем мире их интересы и тем отождествляется с ними — с предметом своей метафизической ненависти, которую не умеет и не желает скрывать? Марине и прежде не раз приходило в голову, что Клумба ведет себя, будто свихнувшийся Чичиков, скупающий мертвые души не ради заклада, а ради вечного владения сонмом мертвецов; так, разделяя со смертью ее пожатую собственность и тем ущемляя ее законные права, можно было бы достичь еще одного суррогата бессмертия, и, видимо, Клумба что-то такое и имела в виду, приватизируя полудохлое население восемнадцатого участка. Все болезни и немощи подопечных находились теперь в распоряжении Клумбы, ей нужны были только механизмы, чтобы толково управлять этим оборотным капиталом, — и тут в равной мере годились и апофеозовский благотворительный фонд, и схема профессора Шишкова, которую Клумба преспокойно выворачивала наизнанку. Видимо, она могла еще и не это: власть, даваемая суммарной немощью двух с половиной сотен избирателей, была побольше той, что мог бы обеспечить такой же численности вооруженный отряд. Вот только как быть с ненавистью к самому источнику своего морального обогащения — с ненавистью тем более сильной, что она была не общечеловеческой, но женской, то есть связанной запутанными связями с одной из разновидностей чувства красоты? И могла ли Клумба, получив по доверенности столько физической боли и добываясь, чтобы эта боль стала для всех как можно более реальной, совсем не пострадать от трансляции?

При всей своей самоуверенности она не выглядела таким совершенным и равнодушным автоматом. Видимо (тут Марина была недалеко от истины), презрение Клумбы к пенсионерам и инвалидам было формой защиты от непосредственности боли и убожества, что доносились до благотворителей в переработанном виде, — и, значит, на долю Клумбы оставался осадок, ядовитый отход производства собственной власти. Если бы она принадлежала к разряду тех политиков, что делают моральный капитал на собирательном образе страдающего гражданина, на идеальных мертвых душах, заранее очищенных от всего житейского, ей бы жилось неплохо. Однако, чтобы заниматься таким привилегированным делом, надо уже иметь и деньги, и власть, а Клумба шла из низов. Свою частицу власти она добывала примитивным старательским способом, буквально из грязной земли. Упорством Клумбы, ее умением совершать насилие над собственными чувствами можно было только восхищаться. Вблизи, через стол, Марина видела, что представительница собеса на самом деле вовсе не помолодела, скорее наоборот: всюду вспухли фиолетовые, синие, розовые жилки, точно женщина, как шариковая ручка, была запровлена пастами разных цветов, и под глазами скопились нехорошие, говорившие о тайном нездоровье, табачные тени. Очень может быть, что Клумба и в самом деле была наделена некой загадочной способностью, имела талант, который грубо проявлялся в ее злосчастье ощущать чужой недуг непосредственно на себе. Вероятно, при ином стечении обстоятельств Клумба (настоящее имя — Вера Валериевна Белоконь, урожденная Репина) могла бы стать редкостным врачом-диагностом или, что не хуже, незаменимой медсестрой — не больной, а, благодаря укрощенному и правильно применяемому дару, очень здоровой женщиной, с точным глазом и

суровыми руками. Видимо, путь этой женщины был путем милосердия, жизнь ее должна была пройти в хлорированной нищей больнице. Теперь же у Клумбы получалось извращение пути, страстное его изображение на благотворительных подмостках; ее неукротимая деятельность была театром, где она играла, как могла, сама себя, а списки инвалидов были пьесой, которую Клумба раздавала всему составу исполнителей. Понятно, что никакая сила не заставила бы ее признать, что она занимается чем-то неподлинным; фальшь своих усилий Клумба топила в сокрушительной страсти, из-за которой ее близко посаженные глаза запали в ямы и сверкали оттуда маслянистыми несвежими белками. Определенно — вблизи, лицом к лицу, она представляла собой жалкое зрелище; Марина даже подумала, что с такими глазами Клумбе следовало бы носить затемненные очки.

Однако стоило Клумбе встать и отдалиться, как она опять казалась на расстоянии полной тридцатилетней женщиной, пышущей румянцем и неосознанным счастьем двигаться, дышать кислородным снежным коктейлем, искоса поглядывать на новые сапоги, так славно перехваченные по голенищу плетеным кожаным шнурком. Марина не могла понять причины этого эффекта: возможно, самый воздух восемнадцатого участка теперь стирал, преломляясь, разрушения времени, так что даже помпезные трущобные насыпухи с их курортным дизайном пятидесятых годов, ныне превращенным в мерзость и гниль, издали казались новенькими и даже нарядными; их рискованное положение на краю оснеженного обрыва, под которым, будто пятно под мышкой, темнела питаемая авариями водопровода, плохо замерзающая лужа, было исполнено особой картинности сказочных иллюстраций. Если бы можно было вот так ни к чему не приближаться, все видеть издали и ничего вблизи, то жизнь на восемнадцатом участке была бы хорошей для всех. Наверное, с того астрономического расстояния, с которого освещалась и делалась видимой территория (расстояние от Земли до Солнца равнялось в эти дни примерно 0,9884 астрономических единиц, или 147 864 640 километрам), все здесь выглядело, точно маленький рай, украшенный бисером построек, нежно подернутый драгоценным человеческим дыханием. Казалось, будто над территорией простерта охраняющая рука, будто эта земля и есть отпечаток огромной и доброй руки, обрисовавшей себя на узорной поверхности, как дети обводят свои ладошки на бумажном листе. Марина ловила себя на том, что делается сентиментальна.

Она уже давно, в самый первый раз, потихоньку выписала Клумбе ее агитаторские деньги — ей, ее неожиданному мужу, двадцатилетнему сыну, свекру и свекрови: все семейство напоминало на предъявленных Клумбой паспортных фотографиях персонажей из советского черно-белого фильма про передовой завод. Что же касается благотворительных списков, то им Марина не давала ходу; в сущности, она не могла о них даже заикнуться. Ей было страшно вообразить, что скажет или сделает профессор Шишков, если вдруг узнает, хотя бы от Людочки, о ее беседах с напористой Клумбой, в которых она, Марина, все-таки уступала, все-таки как бы почти обещала изыскать для инвалидов необходимые средства. Растратить из кассы штаба двенадцать тысяч, выдав их на руки обложившим полуподвал самозванным общественникам, было все равно что украсть — и даже хуже, чем украсть. Кроме того, в сейфе уже давно не леживало таких серьезных сумм, от которых можно было бы незаметно отщипнуть: каждое утро, являясь на работу, проходя мимо ранних личностей, отмечавших местоположение штаба, как группы у подъезда отмечают место похорон, сотрудники не знали, привезут ли сегодня деньги, а если нет, то смогут ли они растянуть вчерашние остатки до конца рабочего дня. Никто понятия не имел, удастся ли, истекая деньгами, словно отдавая их по капле проклятому

Апофеозову, без скандала дожить до нужного срока — или все-таки усилия окажутся напрасны и вид задраенного полуподвала, гнев оставленных на улице обманутых очередников дадут перед самыми выборами решительное преимущество счастливому вампиру.

Сознательная замедленность под страшным, физически ощутимым давлением очереди даром не проходила никому: после закрытия с регистраторами случались судороги, женщины вылезали из-за столов, будто замученные насекомые из приоткрывшихся спичечных коробков. Те, кто еще мог шевелиться и думать, собирались, со сведенными челюстями и свинцовыми затылками, чтобы подсчитать оставшиеся деньги. Если обнаруживалось, что сегодня удалось потратить хотя бы на четыре сотни меньше, чем вчера, это вызывало слабые улыбки облегчения и надежды: люди были готовы и дальше мучительно волочить, буквально растягивать время на себе, точно это был упругий, свитый кольцами удав. Между тем апофеозовцы, наоборот, ускорялись и усиливали организаторский напор. К избирательным участкам, уже открытым для досрочного голосования, подъезжали, чуть не с регулярностью рейсовых, заказные автобусы, из них выходили, шурясь, целые трудовые коллективы, в чьем составе было много принарядившихся женщин, несших в руках бело-сине-красные флажки; иные ради красоты были одеты слишком легко, их коленки в тонкой лайкре ярко розовели над сапожными голенищами, газовые косынки, подобранные к пальто, стекленели и блекли на снежном ветру. Иногда пяток одновременно подъехавших легковушек высаживал возле участка специфических граждан молодого возраста — в меховых кожаных и с короткими стрижками, сквозь которые просвечивала младенческая нежность небольших, но крепких черепов, словно умятых сильными пальцами, как уминают снежки. Все, включая специфических, поступали под начало толковых распорядителей, которые возникали ниоткуда и были настолько неприметны, что, имея какие-то лица, будто и вовсе не имели профилей; далее прибывшие организованно следовали к избирательным урнам. Единственный случай, когда избирательный участок почему-то оказался закрыт для очередной апофеозовской экскурсии, несколько раз демонстрировали в теленовостях: там сознательный избиратель, пошевеливая стриженным ворсом, объяснял на маркированных пальцах про гражданский долг, и камера долго показывала какую-то глухую к демократии учрежденческую дверь с наивной табличкой «Начальник». Все понимали, что голоса, собираемые досрочно, были так или иначе не бесплатны; однако в избирательной кампании, как и во всяком бизнесе, большие деньги питались теми, что поменьше, и профессор Шишков оказался в ловушке, элементарно проигрывая Апофеозову в подкидного дурака. Две с половиной сотни инвалидов и стариков, не выходящих из дому и неспособных, стало быть, пришаркать на свои участки (и вряд ли способных понять, к чему, собственно, обязывают их полученные «в благотворительных целях» пятьдесят рублей), были, как полные руки некозырных, ни на что не пригодных шестерок, принимать которые Шишкова вынуждала дурная логика им же самим запущенных событий. Очень важно было не поддаваться давлению Клумбы — тем более что Шишков, узнай он о благотворительных списках, мог оказаться страшен в гневе: несмотря на подчеркнутое спокойствие в последние дни, длинное его лицо дрожало словно от помех, и раз Марина подсмотрела, как совершенно владеющий собой профессор вдруг с невероятной силой выдрал из горшка какое-то истощенное растение, и выскочивший корень, похожий на крысиный хвост, обсыпал всего профессора мелкой творожистой землей.

Понятно, что Марина не имела права разъяснять общественности реальное положение вещей: изредка выбираясь на свежий воздух покурить (кроме нее, на такую лихость решалась только Людочка, которая, набросив на плечи рябой от

ветра кроличий жакет, всю любезничала с задубевшим живописцем), Марина ловила на себе выжидательные взгляды дружного актива, отходившего подальше специально для того, чтобы разглядывать ее с безопасного расстояния безо всякого стеснения. На всякий случай, от греха подальше, Марина унесла из штаба компрометирующие списки, заверенные знакомой, похожей на кудрявую овечку подписью Кухарского. Дома она упрятала бумаги в старую, сшитую из кусочков и страшную, как творение доктора Франкенштейна, кожаную сумку, которую когда-то купила, польстившись на натуральность материала; она надеялась, что бесформенное чудовище, которому она никогда не доверила бы даже самой малой денежной зачатки, переварит в своей утробе то, о чем ей не хотелось помнить во время дневных напряженных трудов и тем более ночью, когда подушка делалась тяжелой, будто мертвое тело, и сон никак не мог напитать непроницаемый мозг, в котором жужжала, все жужжала и жужжала ясная, неподвижная, пустая, обезболенная дремота.

Зима, очень долго походившая на старую газету с остатками летне-осенних событий, наконец установилась крепко. Нина Александровна, выбираясь из спертго воздуха домашнего бессмертия на легкий и пышный морозец, видела вдаль, среди хорошо укрытых пустырей, замысловатые дорожные развязки, уложенные петлями и как будто намыленные; на горизонте, в сизой полосе, словно бы в тени всего огромного, твердого от холода, сверкающего дня, угадывался легкий и слюденистый, будто стрекозиное крылышко, железнодорожный мост, и под него, ясно различимая среди колкого растительного ворса, втягивалась, будто вопреки законам физики, мягкая, совершенно бесплотная оснеженная речка. Нине Александровне не верилось, что вот уже ноябрь, а все в семье по-прежнему; впрочем, она перестала сопротивляться леворуким упражнениям Алексея Афанасьевича, молчаливо согласившись, что не имеет права ему препятствовать и длить это царское гниение в золоченой спальной карете, ежедневные муки тела и еще более горькие муки непримиримого духа, не видящего в продолжении лежащего существования ни малейшего смысла. Теперь, если Нина Александровна вдруг замечала на одеяле знакомый цветочек разложенной снасти, она уже не бросалась вперед, но отводила глаза. Упорные попытки повеситься перестали быть чем-то таким, что следует прятать; все теперь происходило открыто, медлительная возня с веревками уже не требовала уединения и тайны, муж и жена молчаливо признали возможность смерти и близкое ее законное присутствие. После того, как между супругами Харитоновыми пал какой-то целомудренный барьер, смерть превратилась для Нины Александровны и Алексея Афанасьевича в нечто гораздо более бесстыдное, чем их ночная неудобная любовь, на которую не допускалось ни малейшего намека в течение здорового дня; это странным образом изменило обоих — тогда, когда, казалось, уже ничто в отношениях пожилых супругов, из которых один к тому же бессловесная и неподвижная кукла, не может измениться.

Нина Александровна, раз уж так получилось, могла бы помочь Алексею Афанасьевичу, который от напряжения обливался мутным, будто самогон, стариковским потом, сжигавшим постельное белье. Нине Александровне, божественно ловкой и легкой по сравнению с парализованным, витающей над ним в прямоугольных квартирных небесах, ничего не стоило за несколько минут воспроизвести на одеяле хорошо изученный кишечник смерти, проделать все протяжки и обороты и предложить супругу, будто дырку от всего мирового бублика, готовую петлю. Однако Нина Александровна понимала, что ей как женщине следует себя блюсти, что ей нельзя касаться этого руками, что Алексей Афанасьевич, как бы ни было ему непосильно в ясном сознании делать страш-

но замедленную, ум за разум заводящую работу, никогда не позволит ей совершить непристойность. Собственно, Нина Александровна по-прежнему не смела говорить с парализованным о его попытках изобрести универсальный вензель смерти. Хотя Алексей Афанасьевич не мог, как прежде, закрывать ей рот пневматической, толстым воздухом накачанной ладонью, она прекрасно чувствовала неуместность любых обсуждений. Никакой посторонний слушатель, подкрадись он незаметно из темного коридора, не уловил бы в репликах хозяйки, сообщавшей между хлопотами о погоде, о подгоревших оладьях, о скором приходе врачихи, ровным счетом ничего подозрительного.

Между тем укрепившаяся духом Нина Александровна скоро убедилась, что парализованный, очень близко подбираясь к результату, все никак не перейдет невидимой черты. Не потому, что Алексею Афанасьевичу не хватало решимости и остервенелого солдатского упрямства — его отбрасывала назад какая-то резиновая стенка. Не задумываясь о природе этой мистической границы, Нина Александровна решила положиться на судьбу: просто не хотеть ничего для себя и принимать возможность любого поворота семейных событий. В одну прекрасную тихую ночь, когда у светлого пейзажа под покровом нового снега впервые смягчились черты и рельефы его заулыбались под искрящимся светом фонарей, Нина Александровна вдруг поняла, что можно не бояться смерти. Больше она не срезала с кровати результаты трудов Алексея Афанасьевича; каждый следующий узел, сложный, будто зверущий мозг, занимал совсем немного места на кроватиной решетке, но теперь зеркальное золото прутьев едва проглядывало сквозь запутанную бахрому. Сейчас парадная трофейная кровать сделалась похожа на теплицу с огурцами: отовсюду свисали тряпичные плети, среди которых красовался, будто трубчатый цветок, все тот же, неизвестно чей, раззолоченный галстук, и было два или три шнура уже совсем неясного происхождения, необычайно грязных и жилистых, пахнувших почему-то сладковатой гарью и производивших впечатление прошлогодних высохших стеблей. Однако теплица не плодоносила: в ней не завязывались и не вырастали пустотелые плоды (петли, с их бесформенностью и отсутствием содержимого, были, по сути, воплощенным ничто). Только пару раз, поправляя Алексею Афанасьевичу подушки, Нина Александровна находила за ними жалкие завязи, мелкие и слипшиеся, какими бывают неудачные огурчики, похожие, в свою очередь, на тугие, вышустившие на конце кривой пузырь воздушные шарики. Видимо, Алексей Афанасьевич ставил снасти уже не столько на себя, сколько на собственную смерть, но тварь никак не попадалась, хотя, несомненно, скребла и пожирала душу; судя по просвету найденных петель, смерть была размером с полевую мышшь.

К приходу врачихи Евгении Марковны все это некрасивое хозяйство занавешивалось синим слежавшимся покрывалом, некогда застилавшим супружескую постель; в глубине его неразгибающихся складок, точно остатки порошка в аптечном пакетике, еще оставалась сохраненная лучше, чем в памяти, новая синева. Врачиха, не зная об успехах парализованного по части смертельного макраме, осторожно, сама не веря собственным словам, высказывала позитивный прогноз — и точно: пальцы на левой ноге Алексея Афанасьевича тоже начинали шевелиться, между ними, как у утки, натягивались красные перепонки, расплющенный большой ходил туда-сюда, словно пробующий механику рычажков. Что касается пальцев на действующей руке, то они уже не напоминали рукавицу, но двигались по отдельности и в этом движении делались удивительно длинными, жилы их, казалось, играли до самого локтя. Однажды Нина Александровна застала мужа с указательным, твердо нацеленным в потолок — и этот определенный жест разительно отличался от обычных его, сбитых с прицела движений. Сперва она попыталась сообразить, что Алексей Афанасьевич хотел

сказать или, может быть, потребовать, но потом поняла, что для парализованного важна просто-напросто вертикаль — ничтожная по сравнению с его могучим ростом, вертикаль-с-пальчик, но бывшая все-таки победой над бестелесностью лежачего тела, десятисантиметровой меркой его реального существования, удавшейся попыткой проткнуть небытие.

Понимание, что разброс возможностей растет, что варианты будущего все больше отдаляются друг от друга, создавало у Нины Александровны странное ощущение пустоты и свободы действия. Теперь не исключалось, что Алексей Афанасьевич, после стольких лет неподвижности, каким-то чудом встанет на ноги и забудет о попытках повеситься; могло быть и так, что благодаря поразительным улучшениям он все-таки доведет задуманное дело до конца. Вероятно было и то, что ничего в привычной жизни не изменится и закупоренный в комнате застой сохранит свои уникальные качества, мертвые здесь навсегда останутся живыми. Еще ни разу в жизни перед Ниной Александровной не лежало столько вариантов. Всегда ее движение из прошлого в будущее происходило по единственно возможной линии, словно бы по схематическому туннелю, где жилая кабинка «сегодня» без зазора вдвигалась в приготовленное «завтра»; если что-то и меняло направление этой кривой, то это «что-то» (инсульт Алексея Афанасьевича, введение свободных цен, падение рубля) немедленно оказывалось в прошлом и задавало движение с тем большей жесткостью, чем неожиданнее было событие поворота. Теперь же судьба Нины Александровны соскользнула с линии, точно бусина с нитки, вглядываться в будущее сделалось бессмысленно. Отсюда, из новой свободы, Нина Александровна с удивлением отмечала, что именно попытка покончить с собой дала толчок к выздоровлению Алексея Афанасьевича, то есть дала эффект, которого нельзя было добиться при помощи лекарств, и чем яростней были усилия ветерана повеситься на одном из заскорузлых, странно пахнувших шнурков, тем активней шло восстановление его организма. Вот уже его левая нога стала потихоньку сгибаться, и колено ветерана торчало из горизонтального небытия, будто намозоленный древесный корень из земли; еще на Алексея Афанасьевича вдруг стала нападать кривая зевота, едва не раздиравшая полумертвые лицевые мышцы, и казалось, что лицо его выражает муки Тантала, пытающегося укусить какой-то невидимый плод. Столько лет провалявшись под боком у смерти, в нескольких миллиметрах от ее суверенной границы, Алексей Афанасьевич при попытке преодолеть этот последний зазор был отброшен смертью в жизнь, буквально отскочил от недостижимой линии, будто мячик от стенки, и теперь его усилия давали обратно пропорциональный результат.

Как ни удивительно, смерть и выздоровление Алексея Афанасьевича ставили перед Ниной Александровной одинаковые практические проблемы, включая перестановку мебели, которая сейчас делилась на мертво неподвижные предметы и предметы, которые из-за тесноты приходилось все время перетаскивать с места на место, чтобы сделать из комнаты ночной вариант с раскладушкой. Нина Александровна прикидывала, как получше раздвинуть, растащить неудобный мебельный затор, что создался за годы возле кровати парализованного, сообразно его возможностям и удобствам ухода; еще ей хотелось переклеить обои, словно ожиревшие от старости и отстававшие от стен желтоватыми пухлыми складками. Как бы между прочим она заходила в соседний хозяйственный, когда-то пахнувший сараем и ядовитой новой мебелью из древесно-стружечной плиты; ныне же ароматный магазин был полон невиданной плавной сантехники, похожей на футляры для дивных музыкальных инструментов, а из тамошних обоев, не будь они бумагой, Нине Александровне хотелось бы сшить вечернее платье.

Главное, однако, было трудоустройство. Нина Александровна думала, что могла бы работать нянечкой в доме престарелых: после четырнадцати лет ухода за парализованным у нее не осталось ни малейшей брезгливости к мутной стариковской органике, к затхлому грибному запаху узловатых выделений. Ей казалось, что старики в своей полуразрушенной телесности ближе к природе, чем молодые, и поэтому чище, вот только представить на месте Алексея Афанасьевича другого «дедушку» было настолько же трудно, насколько невозможно было вообразить на месте Маринки другую дочь, какую-нибудь чужую женщину в красной помаде, пьющую на кухне фруктовый кефир. Однако Нина Александровна знала, что справится с работой: сейчас она была физически сильнее, чем в двадцать пять и тридцать, руки ее, ставшие вдвое толще, рыхлые с испода, но покрытые сверху будто бы грубым хитиновым панцирем, таскали и ворочали такое, к чему в студенческие лета было немислимо даже подступиться. Конечно, собственное здоровье Нины Александровны сильно дребезжало: ощущение кулака под лопаткой не проходило часами, и даже нажимы ножа, резавшего овощи, отдавались в затылке, точно там, под костью, колыхался плотный воздушный пузырь. Сочетание физической силы и ненадежности некой тонкой механики, плохо встроенной в грубый мускульный механизм, создавало у Нины Александровны ощущение собственной неустойчивости, ненадежности каждого мгновения. Иногда ей казалось, что она почти не может думать: то, во что она упиралась взглядом, становилось непреодолимым препятствием для мысли, и если она, поддавшись искушению, физически сдвигала препону куда-нибудь подальше, то уже не могла остановиться и принималась за уборку, как бы демонстрируя сама себе, насколько проще и естественнее двигать вещи, нежели мысленные представления о них, ставшие в последнее время какими-то сыпучими.

Все-таки о будущем следовало заботиться, как-то реально готовиться к нему. Единственный человек, к которому Нина Александровна могла обратиться за советом и помощью, был остепенившийся племянник. Когда до Нины Александровны наконец дошло, что зятя Сережи больше нет и никогда не будет в их внезапно притихшей квартире (шаркающие Маринкины шаги, к которым Нина Александровна продолжала чутко прислушиваться, не заполняли тишины, ключей от мелкого тиканья часов), она решила во что бы то ни стало разыскать единственного родственника-мужчину, способного в критической ситуации возглавить семью. Не имея представления, как правильно взяться за дело, работает ли нынче адресный стол, Нина Александровна решила для начала навестить на прежнюю квартиру племянника, где она бывала регулярно до появления новой супруги. Некогда она вытаскивала из этого логова мешки перегнившего мусора, размораживала старенький холодильник, страдавший недержанием воды и еле терпевший свои огромные мокрые наледи ради одного примерзшего мешочка с выцветшим хеком; потом Нина Александровна отмывала невозможные полы до каких-то бледных вытравленных пятен, стирала в ванне забродившее, как брага, серое белье. Теперь в квартире у племянника, конечно, стало все не так, и, чтобы не оконфузиться перед разбогатевшим родственником, Нина Александровна подготовилась к визиту: вытащила из шкафа полузабытый, с небольшими оспинами от моли костюмчик-букле, обтянувший ее теперь настолько плотно, что фигура сделалась похожа на тушку овцы; отыскала и чешские бусы под жемчуг. Наконец, обнаружив, что старая ее театральная сумочка слишком мала для грубого, груженного поклажами дневного города, Нина Александровна взяла у Марины висевшую без дела кожаную торбу — может быть, излишне молодежную, зато декоративную и видно, что недавно купленную. Такие же сумки из кусочков, искусно подобранных по веерным законам птичьего

оперения, висели на лучших прилавках в вещевой половине оптового рынка, где покупателями были модницы с деньгами; эта, почти не ношенная, на широком удобном ремне, узором напоминала тетерку, даже было видно, как закругляется крыло. Вынув из сумки какие-то рыхлые, сыплющие скрепками бумаги, набитые вовнутрь, чтобы вещь не потеряла форму, Нина Александровна сперва засунула их в мусорное ведро, где они встали трубой, потом, испугавшись, что непонятные списки, испещренные шифрованными пометками, могут быть еще для чего-то нужны, вытащила и, отряхнув страницы от одряблых куриных потрохов, разложила сушиться на кухонный подоконник.

Подготовившись так и зная, что Маринка задержится на службе допоздна, Нина Александровна решила, что завтра же, несмотря на обещанные метеосводкой минус двадцать, отправится в гости. Ночью, когда на окнах квартиры намерзали толстые ледяные перья, ей приснился странный тусклый пляж, море из нескольких длинных полос с серебром, над морем кучевые пепельные облака, в которых солнце было только обозначено, будто столица на карте государства. Плоские волны, набегаая на берег, выглаживали мелкий песок, и в этом песке — в нем было всё, это и была растертая на атомы материя мира, и спящая без конца просеивала между пальцами пеструю пылящую муку, но не находила ни камушка, ни черепка, вообще никаких остатков реальности, целиком пошедшей на водяную и песчаную прорву. Наутро Нина Александровна проснулась совершенно без памяти об этом сне, почему-то с мокрыми глазами и липкими колтунами на висках, и вспомнила сон только на улице, когда увидела неоновое свечение поземки на сером, глухом от мороза снегу тротуара. Во сне точно так же светилась тонкая рваная пена на неповоротливой воде, лившейся, как блин на сковородку, на бесконечный пологий песок; теперь же тусклый, в белые угли сожженный пейзаж был весь подернут летучим серебряным свечением, прохожие, отворачиваясь, выдыхали белое пламя, и зеркальные клочья рвались за автобусом, что отваливал перед носом у Нины Александровны от скученной, бестолково топчущейся остановки. Скромно пристроившись с краю толпы, то и дело выславшей заиндевелых представителей на проезжую часть, Нина Александровна сквозь слипшиеся ресницы наблюдала тонкое люминесцентное струение на дороге, протертой до голого, белыми морщинами покрытого асфальта. То были еле заметные струйки распада материи, из которой буквально сыпался песок, и безличный холод проникал сквозь изношенное пальтишко Нины Александровны, будто жесткая радиация, отчего — совершенно, как во сне, — изнывал беззащитный, словно на последнюю живую нитку нанизанный позвоночник. Впервые Нина Александровна подумала, что если их семья проживает то самое время, которое для других оборвалось в девяностом, кажется, году, то логическим исходом этого времени будет, конечно, война.

Пока тяжелый, припадающий на задницу автобус волок притиснутую Нину Александровну вместе с прочим пассажирским грузом до остановки «Вагонзавод», мороз немного отпустил — и продолжал отпускать, создавая ощущение, будто в какие-то моменты воздух резко оседает, как подтаявший сугроб. Чувствуя, что основная тяжесть тела спускается к ногам, Нина Александровна еле слезла, точно по дереву, по намозоленным комьям тропинки к двухэтажным штукатуренным баракам, стоявшим много ниже уровня шоссе. Вдали за баракми начинались стандартные многоэтажные дома, стоявшие без дворов на голом пустыре и соединенные сложной, будто партия в бильярд, системой тропок, сходившихся и расходившихся под разными углами. Изрядно поплутав, Нина Александровна вдруг оказалась перед нужным подъездом все с той же, шатающейся по диагонали плитой под ногами, только теперь внутрь не пускала крашеная коричневой краской железная дверь.

На всей ее поверхности не было ничего, кроме грубо вырезанной дыры, сквозь которую можно было разглядеть железное жерло громадного замка. В растерянности Нина Александровна попятилась, чтобы отыскать знакомые окна, хотя десятый этаж не оставлял никакой надежды привлечь к себе внимание; подняв неправильно качнувшуюся голову, в которой немедленно заквакала боль, она увидала, что на определенной высоте и здание, и его убегающие окна явственно теряют принадлежность земле и, пройдя через какой-то сантиметр невидимости, становятся нереальными, словно сделанными из очень легкого материала. Когда она спускалась из-под облаков и смаргивала резкую слезу, какой-то расплывчатый сутулый человек припал на манер паука к неприступным дверям, скрежетнул, словно сделав металлический пропилен, невидимый ключ, но пока непроморгавшаяся Нина Александровна поспешала добраться до предательски укачливой плиты, дверной замок величиной с рубанок грохнул, и коричневое железо снова встало намертво. Некоторое время было слышно, как человек, поднимаясь, резко шлепает рукой по перилам и ноет себе под нос какой-то противный марш.

Все-таки ей повезло: минуты через полторы железо клацнуло опять, и из дверей с аккуратным, запакованным газетой мусорным ведерком, показалась знакомая Нине Александровне соседка — положительная женщина с очень серьезным осуждающим лицом, не сказавшая на памяти Нины Александровны и десятка слов, но, бывало, стучавшая в племянникову стенку так, что под обоями с шорохом сыпалась крошка и останавливались, екнув, непропитые дешевые часы. Придержав для Нины Александровны взвизгнувшую створу, соседка вперилась в нее напряженным взглядом, но в последний момент взгляд ее странно вильнул, и вышло так, что женщина поздоровалась не с Ниной Александровной, а с торчавшими из сугроба прутьяными кустами. Поднимаясь в содрогающемся лифте, чьи кнопки давно превратились в черные язвы, Нина Александровна думала, что соседка просто не может общаться, не поставив между собой и человеком какую-нибудь стенку. Однако дурное предчувствие не отпускало; возле батареи, где некогда было найдено сокровище — пьяная баба в мужском пиджаке с медалью «За доблестный труд», — теперь сидела пестрая, будто корова, здоровенная кошка: вскидываясь круглой башкой, она отжевывала кусок от вязкого, липнущего к кафелю кровавого потроха, и пятно, что напачкалось вокруг кошачьей трапезы, было частично пропечатано подошвами ботинок.

Дверь квартиры, разумеется, оказалась заменена: вместо дерматинового убожества, из которого иногда вываливались, будто гнилые зубы, проржавелые обойные гвозди, теперь стояло добротное сооружение, обитое фигурной рейкой. Нажав на сахарно-белый звонок, Нина Александровна услышала в глубине квартиры музыкальное вступление, с каким в киносказках открывается волшебная шкатулка. Однако ничего за этим не последовало; прослушав раз пятнадцать свой мелодичный призыв, Нина Александровна вдруг ощутила, что кто-то стоит у нее за спиной. Обернувшись, она увидала перед собой бледное существо примерно Маринкиного возраста: осунувшееся лицо существа напоминало замерзшую ледяными щепами осеннюю лужу. С этой бескровной худобой никак не сочетался огромный беременный живот, на котором не сходилась клочковатая кроличья шубейка. «А вам кого?» — вибрирующим голосом спросила беременная, очевидно, хозяйка квартиры: в руке у нее нервно играли ключи, под взглядом Нины Александровны поспешно убранные в карман. Спокойно, стараясь не спугнуть недоверчивое существо (подавляя странное желание погладить ее по шубе, по этому нежному детскому меху, по дешевой хрусткой шкурке), Нина Александровна объяснила про племянника и назвала его фамилию. «Я ничего не знаю, я купила квартиру через агентство», — быстро проговорила бере-

менная, мешая в кармане ключи с каким-то мягким мусором; ее тупые ботиночки, казавшиеся ортопедическими из-за тонкости ног по сравнению с величиною живота, делали вправо и влево пробные шажки.

Не зная, что на это ответить, Нина Александровна успокаивающе улыбнулась и протянула руку, чтобы дотронуться до собеседницы: беременная чуть не упала, шарахнувшись и опрокинувшись спиной на исцарапанную стенку. Шуба ее смешно встопорчилась, будто крылья у курицы: видимо, в брякнувших карманах сжались кулачишки. Сердце Нины Александровны вдруг растаяло; она подумала, что и сама, когда была беременной и пыталась повеситься, выглядела со стороны невероятно смешно — точно кукушка, застрявшая в часах. «Вы не улыбайтесь, я правда купила квартиру, — с вызовом сказала женщина, мотая головой. — Мне потом сказали, почему так дешево. Здесь человека зарубили топором». «Какого человека, каким топором? — ласково проговорила Нина Александровна, удивляясь беременным фантазиям и на всякий случай больше не трогаясь с места. — Говорю вам, это бывшая квартира моего племянника, он совершенно точно жив, я на днях получила от него почтовый перевод». В это время охнул причаливший лифт, и соседка, держа на отлете выколоченное ведро с налипшей снеговой подошвой, проскользнула мимо. «Гуля Керимовна!» — окликнула ее Нина Александровна, неожиданно вспомнив имя, точно кто-то произнес его прямо в ухо. Но соседка (которая очень вовремя навела риэлторов, оформивших доверенность на продажу квартиры задним числом, и теперь хранила заработанные доллары в одном из четырех — сама не помнила, в котором именно, — просиженных стульев) даже не обернулась; закрываясь васильковой драповой спиной, она крутила ключами в замках, точно забуривалась в собственную дверь и хотела пройти ее насквозь. Нине Александровне и правда показалось, будто соседка не втянулась в приоткрывшуюся щель, но буквально прошла сквозь дерево и железо: превратившись сперва в неожиданно стройный и волнистый силуэт, она распалась на динамичные синие пятна, которые быстро исчезли с поверхности дерева, как исчезает с поверхности зеркала туман человеческого дыхания.

«Хорошо, идемте, я покажу», — вдруг решительно сказала беременная, отстраняя Нину Александровну от новеньких дверей. Вместе они вошли в полупустую прихожую, которая показалась Нине Александровне совершенно не такой, как прежде, — оттого, что свет зажегся не там, где она ожидала, а с другой стороны. Однако длинный голый шнур и трухлявый патрон все так же свисали с потолка, и Нина Александровна сразу вспомнила, как чувствовался лбом и поднятой рукой округлый жар перекаленной лампочки, гаснувшей, если резко топнуть или поставить на пол тяжелую сумку. И в прихожей, и в комнате — странно сквозной, какими бывают только помещения в заброшенных домах, сквозь которые видно рябины и мусор на заднем дворе, — было удивительно мало вещей. Казалось, будто новая жизнь кое-как располагается поверх остатков старой, не уничтожая ее, но и не пользуясь ею: слева от входной двери Нина Александровна увидела знакомую облупленную вешалку, справа была прибита новая, почти такая же, на ней висело весьма немного дамской одежды — вся на крупных пуговицах с перламутром, с подложными мягкими плечами, болтавшимися, будто пустые верблюжьи горбы. «Сейчас увидите сами, здесь кровь не совсем отмылась», — проговорила беременная, неуклюже выворачиваясь из шубы и взгромождая ее на свою половину. Тут у Нины Александровны вдруг появилось чувство нереальности происходящего.

На полу прихожей, по-прежнему голом, с протоптанными по старым половикам как бы глиняными дорожками, лежал один-единственный коврик размером (тут Нина Александровна не сумела подобрать другого определения) с мо-

гильный цветничок. Коврик лежал неправильно — не перед входом, как можно было ожидать, а несколько в стороне и не совсем у стены; на нем для надежности — чтобы покрепче придавить то, что под ним таилось и могло каким-то образом выбраться наружу — стояла вся, какая имелаась здесь, разношенная обувь плюс тележка с забрызганной сумкой. Тяжело опустившись сперва на одно колено, потом на другое (живот, обтянутый клетчатой тканью, казалось, чуть не вывалился, словно мячик из баскетбольной сетки), беременная разбросала свою смешную баррикаду и отогнула ковер. Чувство нереальности немедленно ушло: Нина Александровна только удивлялась себе, как она сразу не вспомнила про это пятно, от которого, впрочем, оставались теперь только бордовые щели между блеклых половиц. Года четыре назад (нет, пожалуй, целых шесть!) племянник, решив подработать на майские, подрядился красить для коммунистов какую-то конструкцию, которую те собирались для уязвления Ельцина выкатить на площадь; притащив для чего-то домой целый жбан революционной масляной краски, племянник, споткнувшись, как это часто с ним происходило, на ровном месте, емкость повалил. По счастью, в этот день Нина Александровна забежала прибраться: вылившийся на пол толстый масляный язык еще не успел засохнуть, только потемнел и подвял, и Нина Александровна отскабливала мягкую краску ножом, вытирая сборчатые ошметки о слипающиеся газеты, а племянник суетился с бензином, оставившем на рыжем полу разводы, похожие на распухший подмоченный сыр. Рассказав все это беременной, Нина Александровна с облегчением увидела, как на вытянутом личике проступили заинтересованность и одновременно — розовые пятна какого-то радостного клубничного цвета. «Ну хотите, я вам докажу, что бывала в этой квартире?» — осененная Нина Александровна, поддержав тяжелую женщину под катающийся, как яичко, локоток, повела ее в туалет, где, как и в прежние времена, шумел и ярился красный от ржавчины старый унитаз.

Крашенная фанера за унитазом, что скрывала очень страшный на звук канализационный стояк, все так же, из-за какой-то нелепой ступенчатости ниши, отходила от стены на добрых десять сантиметров. Сунув руку в тесную щель — там, внутри, точно у кого-то во рту, то тянуло холодным вдыхаемым воздухом, то напахивало утробной теплотой, — Нина Александровна сразу нащупала скользкое стеклянное горлышко и, извернувшись, извлекла на свет бутылку «Столичной», покрытую, точно новорожденный младенец, желтоватой слизью. «Ой», — сказала хозяйка квартиры, хватаясь за плоские щеки. «Дайте-ка тряпку», — потребовала Нина Александровна и, получив смешной, с перламутровой пуговочкой, обрывок трикотажного бельишка, протерла осклизлость вместе с этикеткой, превратившейся за годы в дурно пахнущую простоквашу. Водки, однако, по-прежнему было до горла. Однажды, обнаружив племянника в состоянии пьяного недоумения за пристальными попытками застегнуть на руке ускользавшие, будто ящерица, часы, Нина Александровна решила, что непочатая бутылка, которую племянник не видел на заставленном столе, ему на этот вечер совершенно лишняя. Подсознательно она была уверена, что племянник с женой давно нашли и употребили принадлежащие им пол-литра, но сегодня мгновенное наитие, как-то связанное с гулким, видимым насквозь пространством квартиры, звучащим, будто включенное радио на пустой частоте, подсказало Нине Александровне, что «Столичная» по-прежнему за бачком.

«Это не мое, я водки не пью», — испуганно оправдывалась беременная, отступая в коридор и позволяя Нине Александровне вынести из туалета практически бессмертный продукт. Успокаивая женщину, явно чувствовавшую себя уличенной в чем-то нехорошем, Нина Александровна рассказала простыми словами, как обстояли дела. Почему-то ей казалось, что история алкоголика, бросив-

шего пить и ставшего одним из новых богачей, ободрит хозяйку квартиры, явно собравшуюся рожать без мужа; интуиция шептала Нине Александровне, что отец ребенка из пьющих — и какая-то общая синеватость облика беременной, сходство ее с нежнейшей, на одуванчиковом стебле, тонкокожей поганкой говорили о том, что водка есть ее привычное, на много поколений вглубь, семейное несчастье. На кухне, куда их естественным образом привела бутылка, Нина Александровна обратила внимание на выскобленную чистоту — роскошь нищеты, когда достигнутым благом становится не наличие вещей, но отсутствие того отвратительного, чем окружают человека родные богомерзкие существа. Теперь становилось понятно, что ради покупки квартиры на диком Вагонзаводе, обрывавшемся оврагами в унылые, лишь чуть светлее неба, метельные поля, женщина была готова вытянуться в нитку. Впрочем, наряду с надтреснутыми чашками и кривыми, будто части разбитого корыта, разделочными досками, в кухне красовалась новая, такая же, как двери и звонок, зеркальная мойка. Видимо, женщина верила в нормальное будущее и покупала его по частям; очень может быть, что дорогие вещи, составлявшие разительный контраст с нищетой оклеенного блеклыми обоями, почти что простой бумагой, однокомнатного жилища, представлялись беременной вечными.

«Вы это заберите, мне не надо», — сказала хозяйка квартиры почти враждебно, увидав, что Нина Александровна ставит бутылку на стол. Но та, конечно, и не собиралась выпивать: только теперь она обратила внимание, что на дне, потревоженный после стольких лет тепла и неподвижности, болтается пухлый осадок, похожий на скользкую ватку, что остается после слива воды в стиральной машине. Тут же вспомнился рассказ Маринки об отравлении паленой водкой: эта «Столичная», купленная задолго до несчастного случая, тем не менее показалась Нине Александровне опасной, особенно вблизи растущей новой жизни, что удивительным образом, будто яблоко на засохшей ветке, зрела в этом тщедушном теле, всеми чувствами и кровотоком устремленном вовнутрь и потому совершенно беззащитном. Указав беременной на подозрительную органику, Нина Александровна лежащей на столе открывашкой сорвала заскорузлую, как ноготь, гнусно чпокнувшую пробку. Выбухать содержимое в канализацию оказалось непросто: водка словно застревала в бутылочном горле, ее приходилось вытряхивать бульбами, отворачиваясь от щедрой и плотской вони теплого спирта, и резко пущенная холодная струя не сразу размывала возникавшие в полированной мойке хмельные миражи. Наконец бутылка была опорожнена, выполоскана и, мокрая, отправлена в ведро. Отказавшись от кофе (еще одна ценность хозяйки квартиры — белый импортный электрический чайник с козырьком побурчал и щелкнул, отключаясь, словно отдал честь, в то время как хозяйка резала сухой и жирный, горелой бумагой осыпавшийся торт), Нина Александровна спешила домой. Заскочив перед дорогой в то самое место, где из раздавшейся щели тянуло то далекой зимней улицей, то пропаренной тьмой, она обратила внимание, что дверная застежка не закрывается и, сшибленная, болтается свободно, а на косяке виднеются черные затесы, как если бы косяк рубил, как дерево, какой-то сумасшедший дровосек. «Я не везде успела сделать ремонт», — оправдывалась хозяйка, криво подавая Нине Александровне пальто, и гостя осторожно влезла в извилистые рукава, боясь задеть ребенка, которого на секунду ощутила в его пузыре — будто ладонь ей наполнила не плоть, но водяная упругая струя, будто там, в тяжелом и неправильном сосуде, сложно переливалась волшебная жидкость, только еще готовясь стать человеком. «Вот скоро я поставлю телефон!» — сказала ей беременная уже в дверях, и Нина Александровна, отлично знавшая, что радоваться чу жому теперь почти воровство, все-таки растаяла при виде потеплевшего личика, мелко-мелко наморщенного улыбки.

В автобусе Нина Александровна сама улыбалась и удивленно поднимала брови при мысли о странном заблуждении, которое ей, слава Богу, удалось развеять. Даже мысль, что она так ничего и не узнала о племяннике, не портила ей настроения. Автобус, кивая, как савраска, волокся с горки на горку, путь назад оказался длинным; сцарапав с проталины на окне тонкий, как фольга на банке кофе, смявшийся ледок, Нина Александровна глядела на поля под жестким настом, ослепительно чистые, уложенные грубыми складками, будто снятое с зимней веревки промерзлое белье. Завтра был уже пенсионный день, и Нина Александровна решила, дождавшись Клумбу, завернуть по дороге на рынок к вокзалу, где прежде исправно работала Горсправка. Давненько ей не приходилось так надолго отлучаться из дома, а сегодня у нее получилось целое путешествие; несмотря на беспокойство за Алексея Афанасьевича, не накормленного вовремя обедом, Нина Александровна чувствовала себя освеженной. Сойдя на своей остановке, она пошла не торопясь, поправляя на плече бумажно-легкую, то и дело сползающую сумку, из-за которой ее движения были не совсем естественными, немного театральными. Что она сегодня утром вот на этом самом месте думала о войне? Какие глупости! Мирно роились в сером воздухе серебряные точки, белые, тонко прорисованные деревья были столь неподвижны, что напоминали выключенные стеклянные светильники. Стесненные угловатыми, будто мебель в чехлах, сугробами, что дворники и снегоуборочные машины уже отбили от асфальта, прохожие поспешали гуськом и растекались по магазинам, лица их, румяные от морозца, были будто яблоки разных сортов.

Издалека все люди казались Нине Александровне смазанными и немного прозрачными; приближаясь, человек густел, обрастал румянцем, шубой, иногда и бородой, теряя при этом какую-то пленительную дымку, точно выходил из тумана собственной души. Нина Александровна подумала, что, может быть, издалека и правда видно человеческую душу — это нежное чудо близорукости, — и потому вдали все люди лучше, чем вблизи. На последнем излете сегодняшней свободы она задержалась у газетного киоска, чтобы поглазеть на журнальные обложки с юными красавицами, одетыми не то в вечерние платья, не то в кружевное белье; ее притянуло внезапное открытие, что изображения расплываются в ее неважно видящих глазах совсем не так, как живые люди, — недостает как бы тонкого водяного знака, удостоверяющего подлинность существа. Нечаянно взгляд Нины Александровны соскользнул с красавиц вниз, на ровный подбор незнакомых газет: там, среди непривычных перепадов очень крупного и очень мелкого шрифта, ей бросилось в глаза единственное слово, напечатанное мощными буквами в такую разрядку, что его приходилось мысленно сжимать, будто меха аккордеона, но оно растягивалось вновь, издавая тревожный звук. **«ВОЙНА»** — читалось на пустой бумаге под жирной шапкой каких-то «Ведомостей», и у Нины Александровны прошел по позвоночнику волнистый радиоактивный холодок.

Разумеется, **«ВОЙНА»** не имела отношения к этому внешнему времени, где по-прежнему сияли магазины и копилась перед красным светофором красные звенящие трамваи (только души как будто придвинулись ближе). Это касалось времени внутреннего, для которого наступил неясный, но подспудно ожидаемый предел. Нина Александровна выстояла за газетой маленькую, плотно сбитую очередь, монеты в ее озябших пальцах слипались, будто леденцы. Получив из низкого окошка сложенный капризной складкой экземпляр «Ведомостей», она попыталась отойти с газетой в сторону: ей не терпелось развернуть ужасную страницу. Чтобы действительно никому не мешать, Нине Александровне пришлось залезть на длинный, воздвигнутый вдоль всей проезжей части сугроб, из которого, будто редкие зубы из челюсти, торчали полузаваленные то-

поля. Как только она попыталась развернуть непривычно тонкую газетную бумагу, ветер плашмя ударил по листу, сперва снаружи, потом изнутри. Беспокойный уличный воздух никак не давал расправить газету целиком, позволяя читать только плотно сложенную четвертушку, но все-таки Нина Александровна в общих чертах разобрала, о чем говорилось на первой полосе. «ВОЙНА на телевидении: грубый захват «Студии А» — гласил заголовок под шапкой, рядом располагался зернистый, как бы сильно наперченный снимок, на котором плечистые фигуры в каких-то форменных беретах тащили из кресла толстого бородача; галстук, косо темневший на выпученном пузе, делал его похожим на вспоротую рыбу. Ниже тянулся заголовок поскромней: «Торжество победителей». Рядом с ним чуть более разборчивая фотография изображала что-то вроде демонстрации: в первом ряду усохшая старуха с мордой кузнечика и старикан с распахнутыми на груди наградами, в чудовищных валенках, крепко попирающих снег, растягивали транспарант, где красивым оформительским шрифтом — лучше, чем тот, что использовался в газете, — было написано: «Кругаль! Отдавай наши деньги!» «Избирательная кампания господина Кругаля проведена на средства избирателей», — так начиналась статья, но не успела Нина Александровна добраться до расхищения Кругалем какого-то благотворительного фонда, как обнаружила, переобернув четвертушку, снимок женщины в Маринкиной вязаной шапке. Женщина, поднимаясь из неясного подземелья, заслонялась рукой от фотографа и целого арсенала наставленных на нее микрофонов: крупный план ладони, вскинута в беспомощном и словно бы прощальном жесте, с удивительной точностью очерка и ракурса повторял бесчисленные карты избирательного участка, что облепляли все окрестные заборы, гаражи и пообносившиеся от недостатка культуры афишные тумбы. Нина Александровна могла обманывать себя сколько угодно, но эту пестренькую шапку, цветом похожую на гречневую кашу, она связала сама, и женщина, детским жестом заслонившаяся от репортеров, была Маринка, как-то замешанная в скандале. Определенно, внутреннее время разрушалось извне, и причина тому была гораздо больше, чем любые мыслимые семейные обстоятельства.

В то время как Нина Александровна, стоя на сугробе, боролась с хлебающим ветер газетным листом, в то время как Алексей Афанасьевич, соорудив кривоватую петлю из самого удачливого шнурка, мерял смерть как шляпу (тогда же во времени внутреннем ядерная боеголовка достигла цели и вспухла, и город облетел с земли растрепанной оберточной бумагой), — в это самое время Марина нервно моталась по коридору «Студии А», откуда еще не выветрился еле уловимый наркотический запах примененного накануне слезоточивого ОВ. Студия как ни в чем не бывало передавала в эфир рекламный блок, однако любой посторонний, попавший в коридор, сразу бы заметил следы беспорядка. Двери во все редакции были распахнуты настежь, перепуганные сотрудники сидели внутри, будто звери в зоопарке, которым неожиданно открыли клетки. Некоторые, впрочем, осторожно выбирались на волю, и компьютерщик Костик, ставший с некоторых пор ведущим утреннего блока «Всем привет!», рассказывал неподалеку от приемной, хищно приплюсываясь, потрагивая кончиками пальцев, точно приклеивая их понадежнее, отпущенные для имиджа косенькие бачки. Форточки ради избавления от ОВ были открыты, сквозняки таскали вздутые холодные бумаги, неприкаянные, будто пущенные в лужу бумажные кораблики. «Студия А» была разорена и перевернута до самых трюмов; отчего-то в коридоре оказались выставлены напоказ доисторические манекены — дамские торсы, обтянутые розовым и телесным, как бы чулочным трико, местами изодранным и разлезшимся шнурованными дырами; на манекены, особенно на самый безраз-

мерный, походивший на женщину с условностью облака, искоса поглядывал белобрый секьюрити, дежуривший около приемной.

Марина уже два часа прогуливалась здесь, ей позарез был нужен профессор Шишков. С Мариной все поздоровались по нескольку раз, но принужденный тон приветствий свидетельствовал, что для сотрудников она такой же оккупант, как этот парень в мешковатом камуфляже, с бело-розовой румяной мордой вроде редиса, только вчера поливавший сотрудников из спецбаллона маслянистой душащей струей. Всякий раз, минуя открытую, как и все помещения студии, каморку визажисток, где обе девочки сидели в своих кукольных халатиках около рабочего стола, заваленного косметикой и крашеными ватками, Марина чувствовала исходившее оттуда неприязненное любопытство; даже зеркало напротив дверей не брало ее отражения, там словно слипалось что-то, и вместо Марины проходила, будто помеха на экране, напряженная полоса. Вся эта сцена в коридоре студии выглядела бы поставленной нарочно, для телевизионного фильма, если бы сквозь видимость не просачивалась правда. Никто из бывших в помещении не глядел сегодня за непомерно большие для редакционных клетушек полнотражные окна, не растворялся творческой мыслью в расчерченных старыми рамами вороньих небесах. Сотрудники боялись даже мысленно покинуть студию и держались от окон подальше, как держатся подальше от края крыши или строительной площадки. Всех объединяла подспудная тревога, все сидели и бродили словно меченые, и, когда от лифтов двинулась, слегка подпрыгивая, стремительная фигура профессора Шишкова, сразу стало видно, что человек этот не опутан, как другие, клейкой паутиной ожидания неизвестно чего, но, напротив, не имеет лишних десяти минут. «Сергей Сергеич!» — бросилась Марина ему наперерез, но только ущипнула сухое сукно профессорского рукава. Вырвавшись у нее из пальцев, будто громадное сильное насекомое, резко благоухая каким-то грубым парфюмом, просто полыхая этим одеколонным запахом, профессор пробормотал: «Потом, потом», — и пролетел к дверям приемной, где и скрылся, едва не прищемив пиджачное крыло. Сунувшись было за ним, Марина натолкнулась на официальный взгляд аккуратно причесанной Людочки, сидевшей на секретарском месте так, будто она сидела здесь всегда. «По вашему вопросу, Марина Борисовна, еще не решено», — нежным голосом проговорила Людочка, искоса поглядывая себе на руки, где свежий карамельно-розовый маникюр был дополнительно украшен новым крупным кольцом в бриллиантовой крошке: драгоценная шишка, явно не входившая ни в одну перчатку, играла на длинном безымянном пальце множеством острых огоньков. «Хорошо, я подожду», — тупо сказала Марина и уселась, немного выдвинув его из ряда, на полужесткий офисный стул.

По правде говоря, она не думала, что события будут развиваться так невероятно быстро. Позади осталось томительное «замедление» последних предвыборных дней: когда в последнюю субботу, в девятнадцать ноль-ноль, полуживые регистраторы, хватаясь друг за друга, встали от столов и очередь взревела, будто стадион, всех денежных остатков собралась ничтожная щепотка в сорок пять рублей. Можно сказать, уложились впритык. Прошло еще по крайней мере два часа, прежде чем очередь, ворча и сохраняя под присмотром зычного актива свой законный нумерованный порядок, чуть ли не в затылок покинула подвал. Марине следовало еще тогда обратить внимание на этот феномен, потому что порядок, выработанный многими сутками топтания на снегу, удостоверенный потным, уже почти ядовитым химическим номером на левой руке, представлял для избирателей едва ли не большую ценность, чем пропойная пятидесятирублевка, так как был их единственным средством борьбы с несраведливостью. Но она, счастливая, что удалось не оскандалиться и дотянуть, не

обратила. О чем она, собственно, думала на выборах, когда сидела, будто второгодница, за изуверски тесной партией, изнывая от унылого давления малой нужды и изрисовывая служебную тетрадку одинаковыми, будто скрепки, греческими профилями? Втайне от себя она надеялась, что Климов, все еще прописанный на территории, но в жизни никогда не голосовавший, теперь, переменившись, явится исполнить гражданский долг. То и дело Марина принимала за Климова подходящих по росту подвижных мужчин — раз это оказался пожилой татарин с жирной обритой башкой, похожей на горку блинов, ослабивший на ее призывный взгляд железные зубы, истертые, будто конская подкова. Несмотря на страх перед мужчинами, тихо сидевший где-то в глубине души, Марина так хотела перемен, что, казалось, могла бы сейчас влюбиться в каждого не-Климова: в том скрытом нервном возбуждении, в котором пребывала с утра, она была готова кричать от нетерпения увидеть мужа и точно так же была готова закрутить со всяким, кто обратил бы на нее внимание. Однако здесь преуспевала по большей части Людочка: мало кто из избирателей противоположного пола оставался равнодушным к ее выкрутасам на стуле, где она то и дело перебрасывала ногу на ногу, будто ловко гребла в извилистом течении упругим веслом, и даже апофеозовский воспитанный Гитлер в конце концов не выдержал и смылся.

Надежда не покидала Марину до самого закрытия участка, и в последние двадцать минут, получившиеся совершенно мертвыми — школьные учительницы при полном отсутствии избирателей вставали раньше времени от своих бумаг и делали физкультуру для третьего класса, — ей померещилось, будто Климов или призрак Климова ужасно торопится, скачет напрямик по снежной целине, оставляя в ней глубокие, как валенки, синие следы. Надежды не стало совсем, когда входные двери школы заперли на ключ и погасили свет в вестибюле, где по-прежнему висели глянцевые, постаревшие под вечер кандидаты в депутаты. Председатель комиссии, он же директор школы, молодой, много моложе своих математичек и ботаничек, но грустный и грустно прилизанный человек, сделал знак начинать, и на приготовленный стол хлынуло содержимое урны, слежавшееся на дне в плотный, как халва, с усилием выбитый слой. Пристальность, с какой Марина следила за процедурой пересчета, привела к тому, что после она почти ничего не помнила; помнила только, что некоторые бюллетени были необъяснимо грязные, заношенные и что апофеозовская брюнетка, нервно прохаживаясь за спинами считающих, пожирала, всасываясь в мякоть, рыжую сочную грушу. Сортировка бюллетеней, происходившая на столе при участии множества рук и перепончатых теней, разбудила в мозгу Марины замедлительный счет: несколько раз она отчетливо вздрагивала оттого, что слышала собственный голос, считающий вслух, но всякий раз это оказывался голос кого-нибудь из учительниц, что тихо переквакивались с директором, расплывавшимся печальной кляксой на другом конце стола. Стали подводить итоги; Марину встряхнули. Победа Апофеозова с перевесом в девятнадцать голосов была настолько курьезной и возмутительной, что, казалось, среди сегодняшней воскресной публики запросто можно было бы вычислить лишних девятнадцать граждан, которые поставили не в том квадрате птички и кресты.

Однако брюнетка рано улыбалась бисерными зубками и зря принимала поздравления директора, державшего ее сухую лапку в обеих своих с таким умильным видом, словно пуще всего он желал бы положить эту милую вещицу в свой разинутый карман. На других участках было не то же самое. Во весь этот погожий, с румяной снежной корочкой, идиллический день в воздухе колебались шансы. Барометром служил измочаленный Кругаль. С утра он прибыл на своем громоздком БМВ 1978 года выпуска в притихший, залитый янтарным солнцем офис профессора Шишкова. Странно похожий на раскрашенную черно-белую

фотографию, с розовыми разливами на нежных сероватых щечках, кандидат в депутаты приткнулся сиротой в профессорской приемной, досуха высасывая бесчисленные чашечки кофе, подносимые испуганной секретаршей. Прибывший чуть позже, надежно накачанный лекарствами профессор обнаружил Федора Игнатовича на краешке монументального дивана, где кандидат сидел бочком, напоминая кривую беломорину, прилипшую к оттопыренной губе. Видимо, неудачливый актер, в жизни никогда не побеждавший, а теперь мечтавший о победе всеми силами своей портативной души, каким-то образом приобрел сверхчувствительность к атмосфере, в которой вероятности различного исхода выборов не просто колебались, но ходили ходуном. Вероятно, какая-то тайная часть Кругалья бессознательно фиксировала мельчайшие события, постоянно меняющие соотношение сил; в крови его словно бегали дополнительные шарики, подобные шарикам в хитрых игрушках, загоняемых укачиванием снаряда на самый верх витой пирамиды, и по кандидату было видно, как срывается успех, уже почти обеспеченный побудкой какого-нибудь большого похмельного семейства или аварией водопровода, в результате чего по улице Советской поплыло дымящееся водяное сало и многие десятки недостиравших женщин отказались от мысли идти голосовать. Терпеливая секретарша, у которой дома без присмотра осталось двое пацанов, изобретающих гексоген, сбилась с ног, ухаживая за Кругалем. В час пятнадцать пополудни Кругаль пришел в хорошее расположение духа и даже скушал принесенные из заведения внизу горячие пельмени — правда, с первых же минут походной трапезы устроив у себя в тарелке полное безобразие и свинство, что было вообще характерным свойством Кругалья. В три он снова начал бегать и потерялся, зарулив в чужие помещения, которых в этом здании было без счета; его обнаружили почти на чердаке, сидящим на табурете, заляпанном не то ремонтной масляной краской, не то голубиным пометом, — Кругаль, с детства не курящий, жадно давился неизвестно от кого полученной скверной сигаретой и перхал со звуком, напоминающим звук гнилой раздираемой тряпки. Его доставили назад, отряхнули, усадили опять на диван. Около пяти у него проснулся зверский аппетит. В половине шестого что-то вновь произошло, и черты Кругалья, непонятно дрогнув, стали вдруг простыми, будто римская цифра. Еще через сорок минут он как будто очнулся и посмотрел на секретаршу влажным человеческим взглядом. «Да, так оно и есть. И мне больше нечего сказать», — произнес он необыкновенно отчетливо, а к чему это относилось — неизвестно. И, наконец, без восемнадцати восемь, не дождавшись даже закрытия участков, Кругаль блаженно поскучнел, зевнул, сочно хапнув душноватого воздуха приемной, и через минуту спал, поерзывая, в уютной глубине дивана, прилипнув расплющенной щекой к коричневому кожаному подлокотнику. Тогда профессор Шишков, целый день ни в чем не принимавший участия, вышел из кабинета и встал над своим произведением, задумчиво покачиваясь с пятки на носок, трогая пенициллиновыми губами дешевый, грубо пахнущий коньяк.

Собственно, победа Кругалья по общему итогу выборов была такой же зыбкой, как и победа Апофеозова на отдельно взятом Маринином участке: оба кандидата были близки, как человек и его отражение в зеркале, и решение, кто же из них настоящий, было принято весьма условным перевесом голосов. Три дополнительных персонажа этого воскресного спектакля не оправдали надежд Апофеозова и еле проявились, набрав в совокупности ничтожные доли процента, а за единственную женщину, бывшую известную спортсменку с мужской квадратной стрижкой и симпатичными ямочками на толстых ангельских щеках, не был подан, что беспрецедентно, ни один бюллетень. В понедельник, во второй половине дня, состоялись две пресс-конференции и прямой телевизионный эфир: перед журналистами Кругаль имел примерный вид классического кроли-

ка, которого фокусник вынимает из шляпы, а профессор Шишков, представлявший избранного депутата в качестве его доверенного лица, был немногословен, говорил, привставая, глухим деревянным голосом и опирался всем сухопарым телом на расставленные пальцы, еле заметно дрожавшие. Журналисты, чьи диктофоны тихонько сопели перед профессором, наматывая пленку, задавали скучные корректные вопросы; только ведущая «Политических новостей» — ветеран областного ТВ, все еще очень живая и яркая дама с неуместно радостными круглыми глазами и в прическе как золотое воронье гнездо, сумела расшевелить Кругалю, напомнив ему какой-то анекдот из общей театральной юности, протекавшей в городе Верхний Кетлым. После этого депутат, отбиваясь ногами от стульев и проводов, полез к теледикторской ручке, в которую и ткнулся с размаха своим прямоугольным римским носом, и все это снимала возимая по студии сутулым оператором, будто мотоцикл, бесстрастная телекамера.

В это же самое время проходили и другие пресс-конференции, гораздо более многолюдные. В бизнес-центре отеля «Палас», регулярно снимаемом для презентаций благотворительного «Фонда А», бесновался целый обезьянник фотографов, носившихся по полу чуть ли не на полусогнутых и кулаках, выскивая эффектный кадр, в воздухе от их работы стояли непрерывный щелкающий шелест и мятное таянье пятен; тут же солидно работали несколько телекомпаний, включая одну столичную, над видеоискателями камер горели красные огоньки. Апофеозов, весьма обрюзгший породистым лицом — на лбу его, словно пальцем на бархате, была написана как бы тяжелая мысль, — грозно горбился над хвостатыми микрофонами и поводил туда-сюда налитыми кровью сизыми глазами, под которыми лежали сургучи. Справа и слева от него располагались племянники, именуемые теперь консультантами, — один в жемчужном галстуке, другой в голубом; они деловито передавали друг другу за спиной у дяди какие-то документы, отчего страницы делались все более растрепанными и в конце концов превратились в высокий ворох компромата, в котором племянники продолжали сосредоточенно рыться и ковырять бумаги одинаковыми «Паркерами», как бы извлекая запятые из печатного текста. Прежний, довыборный, финансовый скандал отодвинулся в тень; то, что говорил проигравший кандидат, обещая Кругалю все, какие есть, инстанции суда, рисовало незадачливого актера вторым Сергеем Мавроди. На это немедленно отреагировал бывший в зале наготове председатель местного Союза обманутых вкладчиков, небольшой мужчина с песочной сединой в рыжих волосах и почти таким же рыжим от веснушек, слегка лоснящимся лицом: он зачитал, захлебываясь некоторыми словами, вынутое из допотопного «дипломата» антикругалевское заявление — после чего его листок был приобщен к тому бумажному мусору, который племянники уже упикивали горстями в раскрытые у ног портфели. Во все это время за стеной официанты — корректные юноши с птичьими профилями, одетые так, как бедный Кругаль мог бы только мечтать, — накрывали фуршет. Тут были нежнейшие салаты в хрустящих корзинках, бледные, с кружевцами жира дорогие карбонаты, яшмовые лепестки сырокопченой колбасы и сколько угодно бутербродов с красной икрой — несколько, правда, привядшей и вязнувшей на зубах у перемешавшейся, благожелательно разгудевшейся прессы. Те корреспонденты, кто уже успел до этого поглотить пустой минералки у профессора Шишкова, по достоинству оценили угощение проигравшего кандидата: эти почему-то были особенно голодны и старались взять изо всех опустошаемых блюд, где оставался хотя бы один прилипший и растерзанный деликатес, и бутылки ворковали, будто голуби, изливая в сдвинутые рюмки водку «Абсолют». Даже вождь обманутых вкладчиков, известный своим принципиальным неучастием в фуршетах и банкетах, отдал должное благородному рыбному ассортименту, так как в прошлом

был заядлый и удачливый рыбак; кое-кто заметил, как борец, придерживая на коленке плохо совпадающие створы своего фанерно-дерматинового ящика, аккуратно помещает вглубь бумаг почтатую, но крепко завинченную бутылку. В итоге целых пять ТВ-каналов дали по Апофеозову нужный комментарий в новостях; что же касается «Студии А», где пока еще сидел ошарашенный, но не сломленный Кухарский, то там прокрутили целый телевизионный фильм — включавший и приватные сцены, где толстоносый клан Апофеозовых, подражая рекламе чая, пил янтарный чай за круглым уютным столом, обтянутым белой скатертью, будто барабан, и плохо вмещавшим многовалентную семью, так что иным, затиснутым, удавалось только поставить локоть на общую территорию и поучаствовать в съемках фрагментом улыбки, а семилетняя внучка политика, по-взрослому вздыхая туго обтянутой шелковой грудкой, играла на пианино, руки ее ходили по клавишам, будто маленькие кривоногие черепашки. Все это было очень умирительно, однако эпизоды, оперативно снятые около штабного подвала профессора Шишкова, вызвали у телезрителей гораздо больший интерес.

Весь понедельник, отпущенный наблюдателям для отдыха, Марина проспала; известие о победе, полученное по телефону лично от Шишкова, наполняло ее усталое сознание блаженным свинцом. Утром во вторник, не дозвонившись до профессора, находившегося вне зоны обслуживания или отключившего телефон, она по необходимости и долгу идти на работу отправилась в штаб, полагая уже оттуда влиться в новую деятельность и в новую жизнь. Еще на подходе к подвалу, с другой стороны обледенелой улицы, гнавшей в обе стороны жестяные шаткие трамваи, было заметно, что двор перед штабом полон народу, вытекавшего и в соседние дворы. Все сугробы, точно приморские скалы в районах птичьих гнездовий, были заняты покатыми фигурами очередников, не обращающих друг на друга ни малейшего внимания, но словно высматривающих что-то общее в мельтешении беленьких точек, образующих в перспективе мощную белую зыбь и изменяющих даль; в дополнение картины над двором взметались и, перестелившись, падали чирикавшие воробьиные оравы, точно в мутное небо забрасывали сеть, а черные сердца деревьев, обнажившиеся из-за полного отсутствия листвы и видные теперь в переплетении сосудов, были воронами.

Во дворе и правда было некуда пройти от агитаторов, которые стояли даже в песочнице; старые окна хрущевки, обитатели которых тоже были поголовно записаны на премию, казалось, участвовали в событии, как участвуют в собрании развешенные по стенам таблицы и плакаты. Замешкавшуюся Марину, которую пока никто не опознал, толкнула и обогнала приземистая женщина в сутулой мутоновой шубе; двигаясь торопливой побежкой, словно пиная перед собой виляющую ледышку, женщина устремилась к подвалу, и Марина, ускорив шаги, заспешила за ней. Краем глаза она замечала, что люди во дворе стоят не просто так: отдельные группы ожидающих были связаны между собою каким-то неявным порядком, и если кто-то отходил от своего натопанного места, то обязательно указывал на это соседям, деловито кивавшим. Женщина между тем уже пробилась к лестнице в подвал: привставая на цыпочки, она подобострастно диктовала что-то тетке из актива — ее Марина узнала по круглым железным очочкам, в которых не то, так другое стекло всегда горело на свету слепым сердитым огнем. Тетка записывала сообщаемые сведения в тетрадку, которую поднимала выше вздернутого, опеночком, носа просительницы, и Марина заметила только теперь, что тетради у актива такие же точно, как и те, какими все это время пользовались регистраторы: в черных дерматиновых обложках, чье тиснение всегда напоминало Марине шелковую подкладку какого-то давнего любимого пальто. Наконец активистка кончила записывать, и женщина, торопли-

во сдернув огромную, будто лапоть, вязаную варежку, протянула неожиданно крошечную белую ручонку; активистка, послюнив химический карандаш на полосатом, как арбузная корка, языке, принялась рисовать на протянутой ладони — аккуратно и хозяйственно, точно резала хлеб. Потом она начальственно махнула рукой, и женщина побрела в указанном направлении, то и дело протягивая лапку со свеженарисованным номером окружающим агитаторам; те, в свою очередь, предъявляли ей свои ладони и махали дальше — туда, где на сутробах торчали крайние, покуривая маленькие, как спички, миниатюрно дымящие сигаретки.

«Здравствуйте», — вежливо сказала Марина, пытаясь обойти актив и нащупывая в кармане грубый, в железных заусеницах, полуподвальный ключ. «О! Ну наконец-то! Явились! — воскликнула активистка, и блик в ее очках забегал слева направо и справа налево. — Вчера вас ждали целый день, хоть бы кто-то пришел!» «У нас был выходной после выборов», — попыталась объяснить Марина, улыбаясь замерзшим лицом. Теперь она увидела, что актив перекрывает вход в подвал практически в полном составе. Разумеется, тут был и художник, за последний месяц привыкший к холоду, будто северный олень: папироса его дымилась едко, точно паяльник, и вместо черного кожана на нем красовался грязный бежевый тулуп с талией как периметр тарного ящика, местами рваный и заклеенный скотчем, отчего художник время от времени неожиданно взблескивал. Клумба по каким-то причинам отсутствовала, и это показалось Марине хорошим знаком. Однако место ее занимал невысокий плотный господин с удивительно рыжим лицом, напоминающим какую-то белую сантехнику с налетом от ржавой воды. Человек этот явно пользовался авторитетом, но был малоподвижен: его меховые боты, оттоптавшие только кромочку на мягкой пороше, казались обведенными на бумаге тупым карандашом, его мохнатая шапка, высоко и воздушно покрытая снегом, напоминала одуванчик. «Позвольте, я пройду?» — повысила голос Марина, но получилось не гневно, а скорее жалобно. «Минуточку», — милицейским тоном сказала активистка и крепко подхватила Марину под локоть. «Кохгда вы дхенги собираетес платить?» — вдруг прокашляло простуженным фальцетом высунувшееся снизу существо с чем-то вроде грязного носка на узкой голове и ртом беззубым, как карман. В существе Марина узнала удачливого собирателя бутылок, и теперь волочившего за собой матерчатую сумку с туго скрежетавшей стеклянной добычей. «Минуточку», — еще добавив строгости, повторила активистка и потащила запнувшуюся Марину подальше от подвала. «Мы все поздравляем с победой на выборах нашего кандидата Кругаля, — произнесла она официально и с положенной улыбкой, несколько нарушившей равновесие аварийно мигнувших очков. — От вас как от руководителя мы хотели бы узнать, когда начнутся выплаты денег вашим избирателям. Вот здесь, — активистка увесисто потрянула почти до конца исписанной тетрадкой, — здесь у нас зафиксирован порядок выплат в порядке живой очереди. Кроме того, — тут активистка доверительно сбавила тон и мигнула видимым левым глазом, похожим на слизистую луковку в подгнившей коричневой кожуре, — у нас записано на предварительную выплату еще четыреста двенадцать прописанных на участке. Люди не успели получить положенные деньги из-за плохой работы ваших работников, и люди не виноваты, им надо компенсировать моральный ущерб. И еще стоит вопрос про инвалидов, которых Кругаль проигнорировал, предпочитая раздавать благотворительность здоровым гражданам, и отверг предложение общественности...» «Минуточку! — перебила Марина, чувствуя, как в голове у нее, будто в зашатавшемся ваньке-встаньке, клюкает и ищет равновесия какой-то полужидкий шариковый грузик. — Я сейчас ничего не могу сказать, я должна позвонить». «Опять эта ваша бюрократия и волокита!» — воз-

мутилась активистка, ее лицо в лиловых сетчатых прожилках сделалось похоже на вываренную в борще горячую свеклу. «Сами себя задерживаете!» — вдруг выпалила Марина идиотскую фразу из какого-то газетного, времен студенческой юности фельетона, и эта фраза неожиданно подействовала: актив расступился, пропуская ее к изрисованным и исписанным многоцветной, как бы объемной похабщиной — кто-то хорошо и много потрудились в понедельник — железным дверям.

Захлопнув за собой галлюциногенный шедевр народного творчества, Марина почувствовала, что задыхается в этом розовом и буром коридоре, где обломки деревянного ряда нумерованных стульев напоминали останки скелета какого-то вымершего динозавра. Оказалось, в подвале скрываются от народа еще примерно пять или шесть человек: Марина обнаружила в задней комнате штаба собрание бледных теней, нехотя пивших желтый, раз на третий или четвертый заваренный чай. Марине обрадовались, завскакивали, предлагая сразу несколько разъезжающихся стульев, и тоже налили полную просмоленную кружку коллективного напитка, такого еле теплого, что сахар в нем не растворялся, а только болтался слезящейся мутью, захватывая сор. Однако первым делом, освободившись от пальто, с которого поплыла на какие-то наваленные сумки мокрая снежная шелуха, Марина взялась за телефон; допотопный аппарат с трубкой, будто двухкилограммовая гантель, как всегда, издал солидный, почти автомобильный гудок, но, сколько бы Марина ни накручивала ямбически-ритмичный профессорский номер, результат был один и тот же. «Абонент временно недоступен... please call later...» — повторял безлично-вежливый безграмотный голос, как если бы с Мариной разговаривал вокзал, прочие же известные ей номера издавали безнадежно-длинные гудки. Тут в наружную дверь заколотили сразу несколько рук или ног, вероятно, мозжа меловые графиты в постные пятна, и от железного грохота словно бы загудели росшие во всех углах подвала, будто волосы под мышками, черные паутины. Марина сильно вздрогнула, регистраторы разом отставили стукнувшие кружки и посмотрели на нее испуганными круглыми глазами, в которых стояли одинаковые светлые точки. Но тут внезапно ответил офис профессора. «Ничего не могу вам сказать определенного,— простуженно говорила незлая профессорская секретарша, и по свистящему прерывистому хлопанью Марина догадалась, что та сморкается в платок.— Обещал подъехать к двенадцати, попробуйте перезвонить».

Теперь не оставалось ничего другого, кроме как ждать двенадцати часов. Бившиеся в дверь устали и, должно быть, отошли; регистраторы с тяжелыми опрокинутыми лицами, словно черты их вывалились из формы мокрым спрессованным песком, разбрелись от общего стола и принялись слоняться по подвалу, некоторые вытащили из сумок потрепанные глянцевые книжки. Наблюдая за ними, Марина видела, что женщины все еще опутаны замедлением, что, возможно, это не просто след или привычка, которая пройдет, но некая волокнистая ткань, вживленная в их существо. Казалось, будто их кровеносная и нервная системы, растянутые волокитой, стали намного длинней и запутанней, что теперь эти бедные тетки, тоже не получившие ноябрьскую зарплату, внутри представляют собой примерно то, что пытался изобразить на своих перламутровых полотнах дикий живописец из актива: переплетенную органику с диковинными избытками, пускающую кровотоки и нервные сигналы в блуждания по лабиринтам.

Чтобы заняться хоть чем-нибудь полезным, Марина вытащила из сейфа регистрационные тетради, пропитанные вялым холодом и неприятно огрузневшие; отделив премиальные списки от списков сделанных проплат, она взялась за калькулятор, на котором многие кнопки были слишком твердые и заедали, вне-

запно пуская очередями длинную цифирь. Упорно преодолевая дефект, Марина углубилась в работу и старалась не слышать, как снаружи очередники снова и снова бомбят изнывшееся железо, — впрочем, теперь атакующие уставали довольно быстро, их редкие удары казались обернутыми в войлок. Цифры, перепроверяемые множество раз, все росли и откладывались на бумаге жиреющим столбцом. Как ни пробовала напуганная Марина обмануть саму себя (неосознанно прибегая к замедлению и подолгу копаясь в дурно пахнущих тетрадках), ей не удавалось приостановить возрастания сумм: казалось, числа размножаются сами собой, словно какие-нибудь мушки-дрозофилы, и предварительные итоги, которые Марина заносила на попавшийся под руку испятнанный листок, были как будто мушиными кладками, из которых должны были вывестись новые поколения неуплаченных рублей.

Сделав перед страшным конечным результатом небольшой перерыв (регистраторши принесли Марине дымящиеся ополоски растворимого кофе, добытого промыванием старой банки «Нескафе», и бутерброд с куском селедки, похожей скорее на расческу, нежели на человеческую пищу), Марина обратила внимание на то, что в помещениях штаба похолодало. Женщины, стягивая на себе каждая свое пальто, пытались сложиться в какие-то громоздкие странные позы для автономного вырабатывания теплоты — и тем не менее мерзли, будто сваленные там и сям большие кучи незажженных дров. Батарея, которую Марина проверила на всякий случай, едва прогрела собственную пыль и явно не справлялась с наружным биением ветра, что сносил в оконные колодцы сыпучую поземку, отчего казалось, будто с уличной стороны на окнах развеваются занавески. Все-таки сквозь белое колыхание наверху просматривались вкладчики: они темнели там, иногда приседая и делаясь еще темней, порой кривая палка, высовываясь из молока, настырно скоблила по оконным решеткам. Внезапно кто-то — Марине показалось, что художник, на секунду мелькнувший в прорехе ветра, — сбросил в колодец ооченелый свалывшийся предмет; подкравшись к окну, Марина убедилась, что это дохлая кошка — ватная шерсть ее казалась наклеенной на плоское тело, студенистый глаз, покрытый белой пленкой как бы холодного жира, дико косился на обитательниц полуподвала. Призадернув жесткой шторой отвратительный снаряд — безо всякой уверенности, что за ним не последует другой, — Марина все-таки заставила себя вернуться к цифрам, которых боялась гораздо больше, чем всех на свете живых и мертвых животных. Через пять минут у нее получился окончательный итог — бывший сущим издевательством над ежедневной предвыборной экономией штаба, насмешкой над теми несчастными сотнями рублей, которые как-то удавалось сохранить. Опершись на нетвердый отставленный локоть, чтобы регистраторы случайно не увидели убийственной суммы, Марина спросила себя, знает ли о величине своих обязательств профессор Шишков. Что-то говорило ей, что мозг профессора отказывается умножить высосанные территорией агитаторские деньги на коэффициент 2,4, потому что взять почти полтора миллиона рублей ему решительно неоткуда; она боялась даже вообразить, какой стихией избирательского гнева будет встречен дефолт.

Тем временем во дворе распространилось известие, что главная начальница, та самая, у которой еврейский нос и крашенный воротник, уже проследовала в подвал. Бесформенная масса, как бы разжиревшая от долгого безделья, медленно пришла в движение. Очередь строилась. Люди показывали окружающим левые ладони и становились в затылок, дыша друг другу в намокающие воротники; некоторые бегали вдоль составов, выкликая своих — так, должно быть, металась эвакуированная на военных вокзалах, ища оторвавшуюся в давке родную семью. Какая-то по виду девочка, в куцем клетчатом пальтишке, нелепо

укутанная, точно на голове у нее был намотан не платок, а целое платье, хныкала и пыталась залезть на игровую обмерзлую лесенку — но чем выше забиралась, тем меньше у нее оставалось храбрости оторваться взглядом от скользких перекладин и осмотреться вокруг. Крупной глянцевою вороне, которую поднял с ветки человеческий гвалт, было видно с высоты, как черные ошметки, похожие на какие-то расклеванные остатки потрохов, собираются снова в черное тело, которого становится больше, — и тело оживает, будто сбрызнутое мертвой и живой водой. Очередь, пострашнее, чем армия, топталась на снегу, и пропечатанный снег почти повсюду напоминал остатки книги на желтом корешке, из которой выдрана целиком и частями половина страниц. Похоже, это была минута, когда обитатели участка номер восемнадцать теряли веру в личное бессмертие: пример проигравшего Апофеозова больше ничего не значил, и женщины, все еще одетые по погоде позапрошлого месяца в персиковые и салатные, сильно клешенные пальто, старели на глазах — их лица, толсто напудренные холодом, черствели, их волосы, выбившиеся из-под кокетливых норковых беретов, превращались в тонкие космы.

Однако люди, больше не находившие в себе основы для сопротивления действительности, вдруг ощутили нечто подобное в пространстве между собственными душами. То, что их соединяло теперь, было важнее каждого в отдельности; эта бессмертная связь, оформленная как очередь, чувствовалась всеми как единственная сила, которую обитатели территории теперь могли противопоставить собственной судьбе, и потому никто не стремился пролезть вперед или выключить зазевавшихся соседей: для каждого стоящий впереди был теперь как старший брат, а стоящая позади как младшая сестра. Взволнованный предводитель обманутых вкладчиков наблюдал сквозь выбитую ветром холодную слезу, как брутальная девица в черных войлочных косичках, напоминающая Медузу Горгону, добросовестно пятится, чтобы поставить впереди себя интеллигентную старушку в бурой шапочке, словно сшитой из игрушечного мишки, а двое страшноватых на морды работяг, не совсем совпавших номерами, призывно машут поспешающему к ним товарищу, по виду мелкому начальству, волокущему в объятии собственное брюхо и солидный, как баян, подержанный портфель. Предводитель вкладчиков помнил немало таких очередей: помнил мрачные митинги в защиту кудрявого, как Ленин с октябрятской звездочки, Сергея Мавроди, помнил, как отмечались мгlistой сентябрьской ранью у наглухо закрытого пункта МММ, особенно отчетливо помнил почему-то каменный берег Паркового пруда, будто магнитом тянувший к себе плавучие острые щепки, бумажки, прочую дребедень: в это намагниченное колыхание вспышек и мусора сдуру сиганул самоубийца, потерявший на «мавродиках» чужие серьезные деньги, — его, извлеченного все-таки живым, впоследствии показывали журналистам, и волосы у недоутопленника были всегда сырые, точно в них завелась водяная зараза, а глаза на безбровый хрящеватой физиономии золотились, будто у леща. Много чего происходило в неформальных сообществах, именуемых очередями: встречаясь ежедневно, переживая общую беду, люди становились друг другу словно родные; некоторые, помоложе, даже вступали в законные браки, и невесты, откинув липкие от ветра белые вуали, метали жидкие гнилые помидоры в бесстыжие окна финансовых структур. Однако жизнь, протаскивая по ухабам всех без исключения российских седоков, очень быстро истирала скрепы очередей: люди переставали друг другу звонить, а встречаясь случайно на улицах, со слезами вспоминали хорошие времена и клялись как-нибудь устроить встречу старых товарищей и выпить, как бывало, возле синей ели перед мэрией бутылку водки.

Сейчас предводитель обманутых вкладчиков (очень одинокий человек, у которого от прежней борьбы и верных сподвижников остались только обжитые

бледными тараканами завалы бумаг) наблюдал явление, похожее и непохожее на то, что видел прежде. Эта очередь в диком хрущобном дворе, перед дверью в жалкий полуподвал, была каким-то образом сильнее всех предыдущих. Что-то подсказывало предводителю, что эти люди так просто не расцепятся; при том что вопрос стоял об очень небольших деньгах — на каждого по сотне с небольшим каких-то непонятных агитаторских рублей,— на первое место выходил сам принцип очереди как народной самоорганизации, уникально сочетающей иерархию с равенством всех без различия пола, возраста и состояния человеческих единиц. Приступ безумной гордости, составлявшей его, предводителя, тайную черту и накатывавшей на него внезапно то в служебном тесном кабинетике, то на таких же точно размеров и пропорций холостяцкой кухне, среди кривых полусъеденных кастрюль, заклокотал в его застегнутой на много пуговиц груди, и сердце предводителя запрыгало, как прыгает в шепчущем кипятке крутое белое яйцо. Между тем уже практически все «обманутые вкладчики» разобрались по номерам; резко вильнув неудобно пролеглими петлями, как виляет кольцами шланг под напором пущенной воды (кто-то едва не упал, из распоротых сугробов зашуршало зерно), очередь заработала. Она не продвигалась ни на одного человека, но все-таки шла, издавая множеством ног тихий простуженный скрип. Казалось, будто по человеческой кишке непрерывно прокачивается вперед какая-то упрямая, саму себя осознающая энергия.

Микроавтобус, тем временем подъехавший от центра к напряженно гудящему двору, увяз и, сигнала, еле пробирался, будто лодка сквозь высокие камыши, сквозь неохотно подающийся в стороны человеческий лабиринт. Клумба — а это была она, решительная, с ярким, словно наклеенным румянцем,— первой спрыгнула на снег, и свеженакрученные кудряшки, на которых еле держалась съехавшая шапка, тоже прыгнули. Из микроавтобуса ей передали увесистый, слегка надломленный рулон каких-то ватманских бумаг. Следом за Клумбой из микроавтобуса полезли, сгибаясь и сложно вытаскивая очень много аппаратуры, полурасстегнутые журналисты. При помощи подскочившего художника Клумба развязала прянувший вишьрь упругий рулон и, вынимая листы, принялась демонстрировать очереди, несколько сбившейся с шага, приготовленный товар. «Требуем отменить результаты выборов!»; «Кругаль! Отдавай наши деньги!»; «Наши дети хотят есть!»; «Долой вора депутата Кругаля!» — все это Клумба задирала как можно выше над головой, ее перчатки, красные, как леденцовые петушки, смешно торчали на заголившихся руках. Сразу десятки желающих ответно вскинули руки из очереди, роняя в рукава железные часы, и толстый телевизионщик, ворочая джинсовой гранитной задницей, полез через сугробы отбирать кандидатов на съемки. Особенно ему понравился плечистый старикан с лиловым носом в виде помороженной картошки и сорокаградусным прозрачным взглядом, чем-то похожий на артиста советского кино,— не очень твердо стоящий на ногах, зато имеющий под камуфляжным ватником медали, засаленные, но вполне телегеничные. Были найдены и другие кандидаты, достойные представить в лицах оскорбленное население восемнадцатого участка: выстроившись на сугробах, будто гордые защитники снежного городка, они растянули за углы ломаемые ветром лозунги (двое никак не могли разобраться и менялись местами, чувствуя в порядке слов на ватмане какой-то неясный подвох), а журналисты, будто команда штурмующих, суетились внизу. Кто-то бежал на Клумбу узкой, как у щуки, драповой спиной, выметывая петли кабеля на сдобренный окурками вытертый снег, рядом художник ответственно испытывал мегафон, свистевший и дудевший, иногда раздражавшийся какими-то лающими вибрациями, от которых воробьи слетали с кустов, будто с веников брызги воды. «Так, сняли, хорош! — деловито командовал толстый телевизионщик, ка-

тая маленьким ротиком разжеванную спичку. — Теперь минут пятнадцать синхрона, где эта кругалевская команда?» «Там, внизу, сидят звонят, — доложила активистка в сверкающих очках. — Часа полтора как заперлись, все никак не наговорятся». «А выкурить их оттуда? Стучать не пробовали?» — осведомился телевизионщик, наклоняясь обширным телом над мрачным провалом. «А то не пробовали», — обиделась активистка, махая рукой на размазанную дверь.

В это самое время в холодном полуподвале загремел, как трамвай, тяжелый черный телефон. Регистраторши вскинулись, точно спросонья, Марина, уронив пальто и стул, схватила трубку. «Марина Борисовна? Соединяю с Шишковым», — послышался сквозь помехи голос доброй секретарши. «Спасибо, да, я слушаю», — заторопилась Марина, наступая на мягкое. «Только что приехал, очень на нервах», — сообщила, приблизив тихий голос, хозяйка профессорского офиса, и вслед за этим в трубке длинно заиграли механические гаммы. «Да! Марина? Вы где?» — прервал дидактическую сладкую музыку далекий, будто космонавт, и, как почудилось Марине, чем-то перепуганный Шишков. Стараясь говорить раздельно и подбирать простейшие слова, Марина обрисовала обстановку возле бывшего штаба; в трубке шуршала и свербила какая-то раздраженная точка, и Марине казалось, что это маленький Шишков злится на своем конце телефонного провода, будто потревоженный соломинкой электрический шмель. Ей совсем не нравилось, что Шишков ни разу ее не перебил. В трубке уже зудело целое воспаление, шмель, словно жирная опасная личинка, обвивал непрочную соломинку, и у Марины обильно, так, что замаслилась трубка, вспотела ладонь. «Понимаете, агитаторы ждут, что мы начнем выплачивать премии прямо сейчас, — поспешила она закончить свое сообщение. — Я не знаю, что им говорить, их там собралось не меньше трехсот человек, мы с сотрудниками уже два часа ждем неизвестно чего фактически взаперти». «Значит, ждете. — Профессор внезапно приблизился, достиг натуральной величины и словно уселся, закинув ногу на ногу, за соседней стенкой. — И чем вы занимаетесь, позвольте спросить?» «Я посчитала, сколько мы должны агитаторам, — упавшим голосом ответила Марина, чувствуя профессора где-то за спиной. — Надо что-то делать, ведь доставать такую немислимую сумму...» «Думаете, надо?» — насмешливо произнес профессор. «А как?» — растерялась Марина, глядя сквозь этот дикий разговор на своих регистраторов, чьи измазанные желтым светом одутловатые лица были наморщены от внимания, точно все они разом собирались чихнуть. Тут же, ощутив под сердцем яму, Марина поняла, что если она назовет профессору точную цифру, между ними что-то непоправимо оборвется. «Ну? Куда вы там пропали? — окликнул ее саркастический Шишков. — Уж не собираетесь ли вы, Марина Борисовна, выбивать из меня эти ваши долги?» «Я... Ну что вы... Просто я хотела сказать...» — Марине померещилось, что вот сейчас, сию минуту, профессор положит свою холодную ладонь на ее открытую шею, на подкисленные рыхлой цепочкой голые позвонки. «Ну хорошо, оставим это. — Профессор снова был собран и целеустремлен. — Вы, Марина Борисовна, кажется, хотели работать на телевидении? Вот туда и приходите завтра часам к десяти, будем решать все наболевшие вопросы. Аренда на помещение штаба закончилась позавчера, соберите у сотрудников ключи и сдайте моему секретарю».

Скользкая пикающая трубка словно сама собой упала на рычаги, и телефон теперь смотрел на Марину мертво, будто выставленная на стол баранья голова. Надо было выходить самой и выводить людей. Была минута, когда Марина вдруг ощутила себя истинной дочерью своего орденоносного отчима: это было как принесенная ветром и тут же поскользнувшаяся на какой-то фальшивой ноте духовая маршевая музыка. Некоторое время ушло на сборы: регистраторы выдергивали из столов грохочущие дребеденью легкие ящики, заворачивали в

газеты сложенные бутербродами разношенные туфли, спешно прополаскивали кружки под единственным краном, исторгавшим больше гнилостного воздуха, чем ржавой шипучей воды. Наконец колонна из шести человек была готова выступать; сумка Марины отяжелела от грубо звякавших ключей, а самая слабонервная из женщин, та, что некогда упала в обморок из-за пропавшей из-под локтя банковской упаковки, держала в объятиях горшок с многоступенчатым алоэ, и осьминожки щупальца зеленого питомца доверчиво качались у нее на поднятом плече.

Как только Марина оттянула на себя железным голосом вскрикнувшую дверь, на нее одновременно с дневным ослепительным воздухом упало хриплое, почему-то отчасти конское присутствие толпы. Человеческие ноги, к которым она поднималась по шершавым скошенным ступеням, несколько пятились, заплетаясь в венки. Когда же Марина оказалась наверху и вступила в человеческий круг, прямо ей в лицо с угрожающим шелестом, щелканьем, механическим клеточным полетом полетели те самые призрачные птицы, что всегда вылетают из фотоаппаратов, когда фотограф нажимает на кнопку. Марина заслонилась от корреспондентов вскинутой ладонью, как однажды видела в каком-то журнале про знаменитостей. «Когда ваша структура рассчитается с агитаторами?» «Был ли запланирован заранее обман избирателей?» «Вам удалось связаться по телефону с депутатом Кругалем?» Вопросы, выкрикиваемые на разные голоса, сопровождались выдвиганием мохнатых и губчатых микрофонов, а из самого большого фотоаппарата, размером с ходики, то и дело выбрасывалась на пружине яйцевидная, вроде «Киндер-сюрприза», икающая кукушка. «Сегодня денег не будет, это точно. Дальше не знаю», — произнесла Марина осипшим, как бы спеленутым голосом в ближайший микрофон, чувствуя, что за спиной у нее пустеет, и значит, женщины успевают смешаться под шумок с обманутыми избирателями, стоящими плотной гармошкой, словно и их построили для коллективного снимка. «Что вы думаете о возможном пересмотре результатов выборов?» — вылез плечом из тесноты главная гордость студии «АРМ-TV», ухоженный мальчик с дивными, словно маслом напитанными ресницами и прекрасными руками прирожденного карманника. «Выборы состоялись!» — твердо ответила Марина смутному прежнему знакомому, краем уха слыша, как за спинами прессы агитаторы пытаются скандировать, плохо собираясь голосами, неразборчивый лозунг, но лозунг, путаясь в лишнях слогах, никак не раскачивается. «Все, снято!» — заорал, делая пухлой рукой энергичные отмашки, толстый режиссер неопределенной студийной принадлежности. Сразу пресса поредела, и Марина, оглянувшись, увидела у серой хрущобной стены, под самыми балконами, напоминающими более всего висячие собачьи будки, спасительную узкую тропинку. Ее никто не задерживал, и она заспешила, спотыкаясь о ржавые, подвязанные проволокой водосточные трубы и пугая приседающих широкозадых мурок, явных родственниц той, что валялась в оконном колодце; она не могла отделаться от впечатления, будто у художника, проводившего ее тяжелым и словно бы незрячим взглядом, высунулся из рукава ухмыльнувшийся нож.

Профессор же Шишков в своем большом, водянисто освещенном кабинете, переговорив со штабом, подошел к окну. Внизу, на учрежденческом крыльце, покрытом, будто муравьями, цепочками мелких следов, все еще топтался маленький пикет, задражающий повыше беленький плакат. Эти упорные люди никак не желали уходить: охранники, время от времени пытавшиеся согнать манифестантов хотя бы с крыльца, добивались только того, что выставка огородных пугал перед гнездилищем крупного и среднего бизнеса становилась предметом внимания всех этажей. Профессор полагал (хотя какой-то холодок мешал пове-

речь в это полностью), что проблема с агитаторами рассосется сама собой через неделю, максимум через десять дней. Опять, как и сегодня утром, как за полчаса до звонка милой Марины Борисовны, профессор лирически подумал, что мог бы в принципе ради возврата долга продать свою свежестроенную дачку под шершавой, с седловиной и могучей конской гривой, дедовской березой, где летом так славно естся с грядки первый колючий и ломкий огурчик, и за огоро-дом мреет округлое, словно налитое выше кромки озерцо, которое, кажется, страшно тронуть пальцем, чтобы не повредить его нежнейшую сияющую пленку, — а в сырую мягкую погоду просто замечательно читать на шепчущей веран-де, поглядывая сквозь марлю теплого дождя на недалекий, светлой тенью про-ступающий лесок.

Освеженный благородной мыслью, словно и правда отдохнувший у себя в деревне Лосинке, профессор, однако, вернулся к делам. В кабинете у него сидел человек, с которым предстояло работать: плотный, мощный и коротконогий, с карим детским чубчиком, подстриженным ровно по глубокой надбровной складке, новый директор «Студии А», крикая, забирал из тарелки горстью фирмен-ные профессорские сушки и, сокрушая их на прекрасных сахарных зубах, возил умащенной, обсыпанной крошками челюстью по зеленому шелковому галстуку. Рядом с ним располагалась высокая женщина с идеальной фигурой Дианы, но с тяжелым бульдожьим лицом, на котором почти не мигали утомленные ко-сметикой, будто начерченные въевшимся порохом, но очень-очень умные гла-за. Женщина, одетая словно бы только в плечистый, по-мужски устроенный пи-джак (юбка под ним, сшитая из полосы того же самого материала, не стоила упо-минания), сидела, строго составив безупречные ноги, и потягивала бледный жа-сминовый чай, время от времени отводя мизинцем мешающую нитку с элегантно-й чайной этикеткой. Ее директор отрекомендовал Шишкову как сво-его заместителя. Несмотря на то, что вещи этой пары (являвшие собой груды беспородных, чумазых, будто свиньи, спортивных сумок, частично лежавших в багажнике у профессора, частично загромождавших кабинет) были явно упако-ваны раздельно, характер их отношений сомнения не оставлял. Тем не менее, наблюдая, как они перерыкиваются и обмениваются звериными быстрыми взглядами (директор, зыркнув, бывал укрощаем охорашиванием галстука и сби-ванием соринки с округлого плеча), профессор соглашался с тем, что вдвоем они — подходящая, сильная команда. Эта женщина в мужском пиджаке с лацканами, будто акулы плавники, была то, что надо: всё, что видели ее простонародные глаза цвета зеленых щей с томной капелькой желтого жира, она принимала с не-возмутимостью зеркала — но сделана была, похоже, из небыющегося материа-ла. Время от времени кандидатка на должность, резко отставив в сторону мизи-нец, произносила ровным голосом несколько слов, и ее замечания, бывшие скромными, но точными редакторскими правками текста беседы, свидетельст-вовали о ее спокойном природном цинизме и полном отсутствии сложных сооб-ражений по простым вопросам. Профессор видел, что пассия его дорогого став-ленника выгоднейшим образом отличается от милой Марины Борисовны, к ко-торой прежде он испытывал приятное отеческое чувство, а теперь как-то стал опасаться ее агрессивной тревожности, этого ее дарования оживлять отмираю-щие проблемы и все время представлять от имени каких-то сотрудни-ков или просто граждан, не имеющих касательства к дальнейшим перспективам. Сейчас профессор хоть и не показывал виду, но был весьма доволен своим до-полнительным приобретением, прибывшим из Краснокурьянска с мисками и сковородками, чьи очертания были прекрасно заметны в одном из мест цыган-ского багажа. В частности, появление альтернативной кандидатуры снимало с Шишкова дорогую сердцу, но все-таки тягостную ответственность за очарова-

тельную Мариночку, потерявшую чувство реальности и запутавшуюся с каким-то диким избирательским активом, и профессор даже помолодел, как молодел всякий раз, когда выходил из-под контроля любимого существа. Он видел, что эти двое отлично ладят друг с другом, и очень может быть, что на своем зверином языке они выражают философию обновленной «Студии А» значительно вернее, чем это сделал сам профессор в корректных и уклончивых инструкциях.

Доволен был Шишков и тем, как развернулись сегодняшним утром судьбоносные события. Несмотря на то, что у него до сих пор подрагивали колени и тонко, будто от приложенного холода, ломило левый висок, профессор чувствовал себя Наполеоном Бонапартом. Накануне его генеральный инвестор (чей вид даже в представлении Шишкова, допущенного к телу, был не реален, но подобен туману, скопившемуся по ту сторону добра и зла) все-таки получил контрольный пакет апофеозовской телестудии: держатель недостающих акций очень долго отказывался продавать свою политически доходную собственность, но ввиду результата выборов немедленно согласился. Инвестор, выложивший за студию принудительно-божескую, но все-таки очень серьезную сумму (смешно подумать, что он вот так же стал бы выплачивать деньги на основании записей в растрепанных капустой регистраторских журналах), немедленно провел собрание акционеров в лице себя и приказом уволил Кухарского, назначив вместо него краснокурьянского поэта, чьи тощие сборнички, прошитые тетрадными скрепками и украшенные велеречивыми дарственными надписями, валялись у инвестора в столе.

Имея на руках этот исторический приказ, профессор и спешно прибывший, не успевший позавтракать поэт отправились в «Студию А» — и были правы, прихватив из дружеской охранной фирмы два десятка камуфлированных молодцов. Соппротивление, оказанное секьюрити Кухарского, было, впрочем, довольно условным: небольшое время эти ребята, отличавшиеся от атакующих более торфяным оттенком курток и штанов, припирали буксующими телами несколько последовательных дверей, — но, получив хороший сотрясающий удар, отскакивали разом, точно выбитая пробка, и бежали впереди противника по коридорам, продолжая буксовать отяжелевшими, словно начерпавшими страху, ботинками и пугая сотрудников, что высывались из своих рабочих комнат с беспорядочностью мишеней на учебных стрельбах. Финальная схватка перед кабинетом Кухарского была короткой и решительной: атакующие, заламывая руки деморализованным защитникам и управляясь с ними точно со складной походной мебелью, сломали заодно запутавшийся в драку легонький стул, и интеллигентнейший профессор поймал себя на том, что его приятно будоражит вид окровавленной рожи, хаканье и хеканье дерущихся, прямой снаряд армейского ботинка, вышибающий дух из шкафчика с посудой, чье райское ликование над собственными останками вызвало у кого-то из толпы подавленный стон.

Видимо, применение баллонов со слезоточивой дрянью было уже излишним. Должно быть, на нервы легионерам подействовали все эти малахольные режиссеры и журналисты, что шли, гогоча как гуси, следом за победителями и в директорском предбаннике буквально наступали на дерущихся, роняя им в партер горящие окурки и острые женские туфли. Перед тем как пройти в кабинет к Кухарскому, журналистов немножечко спрыснули: перекрестные струи, напылившие в воздухе приемной седлочно-жирную радугу, заставили сотрудников шарахнуться и выпучить глаза. Под перхание и клекот полуудушенного птичника (кто-то, хватая руками обожженное горло, валился спиной на смятенных товарищей, кто-то, упав на четвереньки, спускал тягучий завтрак и сок на затоптанный ковер) легионеры профессора ворвались в святая святых; чувствуя некоторый перепончатый шорох под черепом и стараясь не вдыхать противный приторный парфюм, профессор последовал за ними.

Кухарский, очень небольшой за своим подковообразным директорским столом, сидел, прижимая к щеке телефонную трубку, точно у него внезапно заболели зубы, но в трубке явно не было собеседника. Профессор, прикрываемый с флангов, четко подошел к столу и положил перед Кухарским копию приказа. Ухмыльнувшись до ушей, отчего борода его сделалась похожа на растянутый для надевания шерстяной носок, Кухарский взял бумагу волосатыми пальцами и нежно разорвал ее на две воздушные ленты. Потом, ворча и глядя снизу профессору в глаза, он повторил мельчающую процедуру множество раз, пока от приказа за высокой подписью не остались щипаные клочки. Дав ему завершить его тщательный труд, профессор достал из папки другую, еще более белую копию и одновременно — по наитию — сделал легионерам круговой, несколько напоминающий о циркуле, полководческий знак. Немедленно боевики бросились в обход директорского стола и некоторое время пытались изъять Кухарского из стеганого кожаного кресла, но только катали его, поджавшего ноги и дико хохочущего красной пастью, похожей на расколотый арбуз. Профессор впервые с начала штурма немного растерялся — тем более что в приоткрытых дверях кабинета начали один за другим образовываться выжившие сотрудники, теперь прикрывавшие лица мокрыми плаксивыми платочками. Кто-то, замотанный на манер человека-невидимки в целое вафельное полотенце (это был бесстрашный, как унитаз, но гораздо более сообразительный Костик, впоследствии заработавший на фотографиях как в бумажных медиа, так и в Интернете), снимал, ныряя за спинами и издавая любительской «мыльницей» какое-то летательное авиамодельное жужжание, сенсацию дня, и профессор немедленно сообразил, что со стороны событие выглядит совсем не так, как в его взволнованной душе.

Но тут на первый план вышел до сих пор державшийся в арьергарде, физически голодный, бледный, но исполненный первобытной мощи краснокурбинский поэт. Отстранив взопревших, пахнущих брезентом боевиков, у которых шеи были словно натерты красным перцем, новый директор самолично засучил рукава. Резким маневром тяжелого кресла он ссадил побежавшего Кухарского в угол. Затем, сориентировав сиденье точно по центру кабинета и стола, залез, переваливаясь ягодицами, в тучно заскрипевшую глубину и вытянул перед собой строго параллельные руки, сжатые в кулаки. Теперь новоназначенный директор, словно бы ухвативший и потянувший на себя рычаги управления студией, смотрел на подчиненных ничего не выражающим взглядом в упор, глаза его стояли под козырьком надвинутого лба, будто прилепившиеся к утопленной доске воздушные пузыри. Все разом стихли при виде этого явления, невозмутимо дававшего себя рассмотреть и бывшего наглядным вызовом всему накопленному студией административному опыту. Оттого, что самозванец расположил себя строго по центру главного помещения, он выглядел как убедительный стержневой человек, и сотрудникам вдруг показалось, будто во лбу у него, под мальчиковой челочкой, подстриженной, как у Кашпировского, набухает и ворочается третий всевидящий глаз.

Ссаженный Кухарский, такой наглядно лишней сбоку от центральной линии, которую новый директор почти физически проложил перед собой через стол и гущу столпившихся людей, криво улыбался и разводил руками, ловя всем телом, будто луч спасительного солнца, сорочий взгляд куда-то подевавшегося фотоаппарата. Собственно, ему оставалось только уйти, чтобы вернуться. Однако выбраться он мог, лишь преодолев препятствие в виде плотно усевшегося соперника, вовсе не намеренного оставлять завоеванную позицию. Вытащив у самозванца из-под локтя несколько первых попавшихся, плохо завязанных папок (тот не обратил внимания, только крепче уперся короткими ножками в пе-

рекладину стола), Кухарский принялся протискиваться. Несколько минут продолжалась эта дикая кульминация. Кухарский лез, ухмыляясь и что-то бормоча как бы в собственное ухо, елозил и привставал на цыпочки, лоб его обсыпала бисерная влага, прижатые локтем рыхлые бумаги тихонько сплывали по животу. Центральная линия, которую сотрудники видели теперь и на стене, казалось, пропускала бывшего директора с трудом и искажала его солидную фигуру, как искажает человека оптическая перемычка внутри кривого зеркала. Наблюдая эту гнусную картину, некоторые люди начинали понимать, что и сами они в глазах самозванца — единственного геометрически нормального, правильно усевшегося существа — выглядят примерно такими же жидкостными смещениями и что несмотря на всю серьезность новоявленного монстра (самые чуткие догадывались, что коллектив никогда не увидит на этой трехглазой морде ни малейших признаков улыбки) захваченная студия для нового директора есть большая, созданная для его директорского удовольствия комната смеха. Наконец измученный Кухарский, почти усевшись на высокую спинку неколебимого кресла (которое надувшийся самозванец в последний момент максимально отжал), оказался на другой стороне; тотчас бумаги у него в охапке потеряли какое-то последнее сцепление и с шелковым вздохом расстелились на полу. «Можете собрать», — саркастически произнес торжествующий профессор. В ответ багровый Кухарский швырнул поверх бумаг пустые картонные шкурки и, побывши мотая головой, одернул, будто заплечный мешок, безнадежно испорченный пиджак. «Это вам так просто даром не пройдет, — произнес он каким-то тоненьким вершком пережатого голоса, трясущимися руками сводя пиджачные створы поверх растерзанной рубахи, дававшей увидеть волосатую складку живота и потупленный, будто увядшая розочка, удивительно маленький пупок. — Вы мне за это ответите в суде!» Сотрудники, будто скорбные плакальщики, расступились перед изгнанником. Некоторое время было слышно, как Кухарский, уходя со ссадиной известки на спине, выкрикивает в пространство трагические угрозы. Угрозы эти были не беспочвенны.

Собственно, профессор спустя полтора часа после победного захвата телестудии отлично понимал, что в это самое время юристы Апофеозова уже готовят, вляивая от азарта, судебные иски. Они могли придраться, например, к тому формальному обстоятельству, что между объявлением собрания акционеров и реальным его проведением (заклучавшимся, собственно, в подмахивании инвестором заранее приготовленных документов) не прошло определенного законом контрольного срока. Однако, как бы ни старался противник попортить кровь Шишкову и его команде, основные обстоятельства были теперь необратимы. С новым директором, до сих пор не пообедавшим и пожирившим сейчас принесенный секретаршей громадный бутерброд, оставалось решить несколько небольших технических проблем. «Допустим, я готов рассмотреть вопрос насчет квартиры для вашей помощницы, — осторожно начал профессор, подсаживаясь к гостям. — Квартиры, разумеется, скромной, однокомнатной, не в центре, ну вы понимаете. Мне, однако, хотелось бы получить от вас ответную любезность в виде, как бы вам сказать... — замылся профессор, чувствуя в груди приятное сентиментальное тепло. — Одна молодая особа очень помогала мне во время избирательной кампании, но в последнее время стала несколько... неуправляема. Все-таки я хотел бы скромно устроить ее дальнейшую судьбу. Ее зовут Марина Борисовна, она хороший тележурналист. С Мариной Борисовной, собственно, вышла вот такая история...»

Удовольствие, получаемое профессором Шишковым от собственной доброты, было, однако, не настолько важным переживанием, чтобы ради него от-

влекаться от первоочередных неотложных проблем. Вызванная в студию к десяти и увидавшая профессора только к полудню, Марина так и просидела в плохо прибранной и тошнотворно пахнущей приемной, разглядывая то сияющую Людочку, репетирующую перед пудреницей новые улыбки, то крупный, с целеввшей ручкой фарфоровый осколок, залетевший под тумбу секретарского стола. Мимо нее каким-то вихрем носило знакомых и незнакомых людей, пробегал и сосредоточенный, совершенно неудержимый профессор, состоявший, будто сумасшедшая теорема, только из острых углов. Центром суеты был директорский кабинет, где при открывании дверей можно было наблюдать статичную фигуру нового начальства, содержащуюся внутри, будто картинка в быстро перелистываемом журнале. Более скромный кабинет напротив, который Марина в прежних наивных мечтах видела своим, еще не приобрел хозяина и статуса, но там все время маячила какая-то длинная женщина в безобразном пиджаке, в плечи которого были подложены как бы комнатные тапки. Ноги у женщины, правда, были очень хороши: когда она, играя этой красотой, выходила в приемную, Лидочка словно ненароком вставала со своего секретарского места, и они соревновались походками, разгуливая туда и сюда по скрипучей фарфоровой крошке. Прошло не меньше четырех часов, прежде чем Людочка, выслушав плюющееся бормотание селектора, сложила очередную улыбку и, защелкнув ее в сверкнувшую пудреницу, будто купюру в изящный кошелек, отправилась с блокнотом на начальственный призыв. Вернувшись через некоторое время (без блокнота и в сбившейся коктейлем розовой одежде), она сообщила тонким официальным голоском: «Марина Борисовна, сегодня, к сожалению, директор занят. Он примет вас завтра в первой половине дня».

От многочасового сидения на краешке стула, от томительной праздности среди лихорадочной активности новых хозяев «Студии А» Марина настолько устала, что еле добрела до дома и, не обращая внимания на мать, все ходившую за ней с какой-то огромной растрепанной газетой в опущенной руке, без сил упала в постель. Погружаясь в гудящую дремоту, она напоследок вспомнила, что завтра двадцатое — день, когда приносят пенсию, — и вместо обычного приятного предвкушения, за которое Клумбе прощался факт ее существования, ощутила душевную изжогу. То, во что превратилась радость от получения денег — этих крупных накрахмаленных сотенных, позволяющих в обрез рассчитывать еще на месяц жизни, — было чем-то испортившимся, пьяно забродившим и невыразимо гнусным. Засыпая, Марина знала, что ненавидит двадцатое число. Каким-то образом это означало, что завтра в телестудии ее не ожидает ничего хорошего.

Сон Марины в эту ночь был тяжел и беспокоен: она без конца бодалась с подушкой и никак не могла согреться в постели, накопившей в своих глубоких пазухах столько сырого и снежного холода, что его, казалось, можно было сцарапывать пальцами. В отличие от Марины Нина Александровна улыбалась во сне, и на губах ее лежал неизвестно откуда брошенный блик. Что это было такое хорошее, о чем она подумала, засыпая? Что это было — важнее газеты с теми ужасными, словно бы не краской, а уличной грязью пропечатанными снимками, важнее даже того состояния, в котором Маринка вчера явилась с работы и напугала Нину Александровну какой-то абсолютной неотзывчивостью, полнейшим собственным отсутствием? Что же такое приснилось? Странное, острое, весеннее: оттаявшая земля, немного войлочная от прошлогодней травы, на ней коротенькие цветочки, еще совсем не похожие на настоящие, белевшие трогательно, будто пальцы в дырках старого носка. Умываясь перед туалетным зеркалом, которое Маринка, как всегда, забрызгала мутью и пастой, Нина Александровна пыталась вспомнить. Что-то, подступая все уверенней и ближе, обещало расшифровку счастья.

Алексей Афанасьевич, освещенный утренним солнцем, лежал под коротковатым для него китайским одеялом, левый, широко открытый глаз его был совершенно прозрачен и будто сколот, как зеленоватое стекло. Глядя на мужа, Нина Александровна обратила внимание, что солнце сегодня необычное, такое, какое бывает в самолетах: резкое, немного радужное, вечное. Этот астрономический свет, словно не знающий покрова облаков, давал увидеть над простертым ветераном легкую дымку небытия, состоявшую, должно быть, из той самой светлой пыли бессмертия, с которой не стоило бороться при помощи щетки и тряпки. Прodelав с Алексеем Афанасьевичем обычные утренние процедуры, Нина Александровна заметила, что дымка, сохраняя расплывающийся след ее работы, медленно меняет очертания, отчего разрывы в нежнейшей белесости странно теряют человеческий смысл. Маленькая мастерская на спинке кровати, между двух ужаленных солнцем золотых шаров, была готова к утренним трудам: несколько длинных веревок, выпростанных из мочала и очищенных от неудачных завязей, лежало на подушке слева и справа от головы ветерана, — и Нина Александровна, убрав на время умывания эти заготовки, снова привела в порядок тряпочный станок. Однако Алексей Афанасьевич не спешил. Удивительно, но он сегодня все время молчал: даже повороты с боку на бок и прикосновения ватки к пропекшимся пролежням, всегда вызывавшие у парализованного гортанный протест, сегодня прошли совершенно без звука. Может быть, из-за непонятного праздника в душе, но Алексей Афанасьевич получился у Нины Александровны особенно прибран и красив: его прозрачная, редкими гребешками расчесанная седина лежала волосок к волоску, выскобленные щеки были как засахаренный мед. Вообразить, будто парализованный интересуется собственной внешностью, было невозможно: слишком долгое лежание в одном и том же месте исключало всякую способность видеть себя со стороны. Однако сегодня Алексей Афанасьевич словно догадывался о своей благообразности и был доволен; поднятый указательный, делавший ветерана человеком-с-пальчик, но все-таки человеком, трогал, точно натянутую струну, невидимую вертикаль. Должно быть, эта тихая басовая вибрация, отзывавшаяся где-то очень высоко, и была тем призрачным звуком, к которому Алексей Афанасьевич так внимательно прислушивался. Внезапно Нина Александровна вспомнила, как расшифровывается сон.

Просто удивительно, как она могла не помнить и не понимать. Это было давней, расплывающейся в памяти весной, еще когда не застроили домами сырой стрекозиный пустырь. Они с Алексеем Афанасьевичем не то гуляли, не то возвращались из кино, и Нина Александровна, обогнав ветерана, тяжело работавшего рычагом перепачканной трости, стала быстро подниматься по нагретому склону, срывая крепко пришитые цветочки мать-и-мачехи, золотившиеся, будто форменные пуговицы на сером армейском сукне. Она, конечно, кокетничала, собирая этот глупый яичный букет, но никак не ожидала, что Алексей Афанасьевич вдруг полезет за нею, шумно шуруя палкой в необсохших кустах и оставляя на нежном эпителии недавнего ручья чудовищные взрытые следы. Когда он предстал перед Ниной Александровной, с полосой грязи на мокром виске и одним дефектным, набитым желтизной на манер папиросы, сильно размятым цветком, который и протянул с выражением какого-то болезненного неудовольствия, Нина Александровна сильно испугалась и поспешила спуститься на дорожку, осторожно придерживая мужа, скользившего измазанными башмаками по колтунам прошлогодней травы. Тогда, пристыженная, с желтым носом, Нина Александровна восприняла дополнение к букету как заслуженный упрек: точно так же муж, бывало, приносил и отдавал ей прямо в руки забытую на обеденном столе солонку, поднятую с пола вязальную спицу. Теперь она внезапно

догадалась, что Алексей Афанасьевич, грубо насилувавший ее в трофейной койке, был при свете дня стеснителен, будто юнец, и не знал, как правильно подойти к испуганной Нине Александровне, всегда спешившей от него отделаться какой-нибудь услугой: никогда к нему не возвращалась больше серьезная простота, с какой он однажды взял ее руку вместе с расстегнувшимися, едва не упавшими на пол часами и предложил переехать к нему.

Значит, все-таки было. Доподлинность Алексея Афанасьевича заключалась в том, что все эпизоды и мелкие случаи, которыми Нина Александровна пренебрегала по беспамятству, сохранялись его сознанием в их истинном значении, но он не мог подойти и дать ей в руки ее забытое, как вообще не умел выработать символы из реальных житейских предметов: потому-то подслеповатый цветок, добавленный в липкий, куриного запаха букет, не значил ровно ничего, кроме неловкой попытки брошенного Алексея Афанасьевича вернуть сбежавшую жену. За все десятилетия совместной жизни супруги Харитоновы никогда и ничего не вспоминали вместе — не наживали символического общего имущества, которым всякая любовь, даже и очень короткая, немедленно стремится обзавестись. Но Алексей Афанасьевич и не нуждался в капитализации чувств: осознавая себя целиком, он обладал не символами, а подлинниками вещей. Должно быть, жестокое дело армейской разведки, когда от человека в маскировочном балахоне, исчезающего на местности при мутном трепете сгорающей ракеты, требовалось не быть, чтобы фашист даже по слабым сигналам мозга не обнаружил близкого врага, — дело это предполагало утрату доподлинности: отказавшись от полного себя, человек переставал осознавать, что такое смерть, и, даже отличившись, только лучше чувствовал единство с воюющей массой своих. В отличие от многих геройских товарищей, опрометчиво доверивших себя небытию, Алексей Афанасьевич не согласился выпустить нитку собственного существования и поэтому выжил. Все, что он делал, включая тихую работу петель и некий, известный командованию, безумный бросок на хитрый пулемет, происходило в ясном сознании и при полной памяти о школьном яблоневома саде и ожидающей жене: держать это вместе было почти невозможно, но Алексей Афанасьевич остервенел и не отпустил. После этого все ветеранские торжества, где его война превращалась в общедоступные символы, были Алексею Афанасьевичу совершенно ни к чему; и по этой же самой причине ему не нужна была литература, которой так долго и безнадежно ждала от мужа Нина Александровна, не понимавшая, что как раз отсутствие символики и означает доподлинность чувств. Алексей Афанасьевич одним своим наличием удостоверял себя, и этого было вполне достаточно.

Да, теперь ей все было совершенно ясно, и еще ясней, чем прежде, высветился факт, что самоубийство Алексея Афанасьевича приведет к утрате гораздо большей, чем просто жизнь человека. Не потому, что чувства больше не будет, а потому, что выйдет, будто его и не было никогда. Иное время — идеальный застой, где естественная кончина была по определению невозможна — превратилось в ловушку, и Алексей Афанасьевич мог теперь уйти, только изменив жене со смертью, взяв ее, как женщину, в свою холодную постель. Оттого, что Алексей Афанасьевич сам предпочел вечное общество другой, Нина Александровна, бывшая теперь на кухне и скоблившая посуду под горячим краном, из которого пахло, будто из нехорошего рта, переживала такие приступы ревности, что кулак под лопаткой казался по сравнению с этой болью просто баловством. Больше всего на свете Нина Александровна хотела бы сейчас воочию увидеть соперницу и убедиться, так ли она хороша. Она не осознавала, насколько мысли ее кощунственны и опасны; мокрой горячей рукой она вытирала мутные, словно хлоркой накапливающие слезы, и долго, будто ища на нем карманы,

вытирала руку о кухонное полотенце. Если бы Нине Александровне предложили сию минуту умереть и увидеть роковую даму в капюшоне, отобрать ее у мужа, так долго и с такими невероятными усилиями ее призывавшего, Нина Александровна согласилась бы тут же. Взволнованная, она и думать забыла о пенсии; она совершенно выпустила из виду, что к приходу Клумбы надо бы прикрыть веревочную мастерскую синим одеялом.

Между тем растрепанная Клумба, уже совершенно готовая сыграть в истории семейства Харитоновых свою благую и спасительную роль, приближалась к жилью ветерана гораздо скорее обыкновенного.

Город, освещенный издалека под необычным и резким углом, напоминал в этот день собрание абсурдных лестниц, скошенных уступов, ступенчатых пирамид; оттого что в параллельном времени от него оставался только дышащий радиацией веер развалин и спекшийся прах, улицы и здания, если внимательно посмотреть на них сквозь мыльный морозный воздух, поражали каким-то беззащитным драматизмом. Все вокруг было несколько недостоверно. Расставленные тут и там пикеты обманутых избирателей, оттого что уже перестали быть важнейшей новостью дня, выглядели будто кучки приезжих из провинции, их главный хоровод перед ребристой, точно покосившейся от солнечного толчка башней областных властей казался выступлением художественной самодеятельности.

Однако Клумба, отвлеченная от общественной активности на исполнение своих непосредственных обязанностей в собесе, не чувствовала спада борьбы. Лихорадочное возбуждение гнало ее по адресам почти бегом, твердый снег со скрежетом колосся под ее добротными каблуками, короткая тень металась по сугробам, будто взбудораженная собачонка. В каждой пенсионерской квартире, куда она влетала, громко топя от холода, ее ожидало очередное красноречивое доказательство подлости Кругалая; нищета и микробы, буквально взбесившиеся и высыпающие повсюду мерцающим песочком, снова и снова приводили ее в болезненное изумление. Она не понимала, как можно было так ее обвести. Двести сорок восемь инвалидов, все с документами, не получили ровно ничего и не сыграли должной роли, ими просто пренебрегли — и все-таки протолкнули своего кандидата, какого-то облезлого артиста с перекошенной челюстью, делающей его физиономию похожей на левый ботинок. Сегодняшний обход пенсионеров был для Клумбы способом вновь укрепиться в своей правоте. Она опять убеждалась в реальности своей инвалидной команды; дрожащие незамкнутые каракули, без конца рисуемые восемнадцатилетней идиоткой, убогая кухонная утварь одиноких стариков тронули ее, как никогда прежде. Почему-то впервые в ее собесовских делах участвовало сердце. Клумба была почти уверена, что за столь неожиданным для нее поворотом избирательных дел кроется какая-то особо хитрая махинация. Ей не терпелось добраться до квартиры этой Марины Борисовны, заправлявшей штабными делами противника и наверняка причастной к закулисным делишкам своего кандидата: Клумба надеялась, что там обнаружится некое капитальное свидетельство нечистой игры.

Тем временем Марина опять изнывала в приемной, которую за последние дни изучила лучше, чем за все годы работы в «Студии А». Деморализованная до такой последней степени, что сама себе была противна, она не отрываясь смотрела на директорскую дверь и украдкой вытирала влажные ладони о свою синтетическую юбку, только замасливая жесткую ткань. Наконец в кабинете, поднимаясь с мест, громче зазвучали голоса, и, когда сияющий директор выбежал на коротких, как бы слегка скользящих и отстающих от тела ногах проводить посетителей, Марина вскочила. Сразу ей сделалось нестерпимо стыдно, но са-

даться опять на свое неприятно нагретое место было бы глупо. Директор, одетый сегодня в полосатый, сильно приталенный костюм, в котором верхняя часть его массивного тела весьма преобладала над нижней, повел в ее сторону скошенной, с лезвием, бровью, похожей на бритвенный станок. Некоторое время он еще занимался высокой, смутно знакомой Марине блондинкой, вспоминая вместе с нею какое-то разгульное литобъединение при газете «Краснокурьянский рабочий», в то время как спутник блондинки, благообразный господин с удивительно свежим, в румяных мешочках, лицом все вклинивался между ними, напоминая о сорокаминутной программе, искательно пощупывая директору массивное предплечье. Наконец блондинка, улыбаясь и алея нежными, как фрукты из сиропа, оттопыренными ушами, помахала директору уже из коридора, ее сопровождающий, волоча грандиозную шубу из огненных лисьих вихров, устремился за ней. Тогда директор, слегка отступив от дверей кабинета, сделал Марине полуприглашающий знак.

«Так, значит, вы и есть та самая Марина Борисовна»,— сообщил он сам себе, ловко вскакивая в кресло и въезжая точно в середину полированного, сильно опустевшего стола. Марина, усевшаяся сбоку на маленький катающийся стульчик, остро чувствовала унижительность своего бокового приставного места, на которое, по логике созданного директором положения, даже не стоило смотреть. «А знаете что, буду с вами откровенен,— вдруг произнес директор более свободным голосом, развалясь и закидывая короткую руку за голову, показывая ветхую, с ниточкой, пиджачную подмышку.— Я человек прямой, это вам всякий подтвердит, а кто меня не знает, тот меня еще узнает. Мне известно, что вам было обещано место моего заместителя, так вот: это место теперь занимает другой человек, близкий и важный для меня и в половом, и в духовном смысле, не буду скрывать». «Вот как»,— вежливо пробормотала Марина, зная заранее, что будет сказано примерно это; все-таки сердце ее словно протерли холодной эфирной ваткой перед тем, как сделать укол. «Короче говоря, Сергей Сергеич, ну, вы знаете Сергея Сергеича, попросил меня пристроить вас на студии,— продолжил директор, сильно дергая себя за стриженные волосы, отчего подрубленный чубчик шевелился и дыбился.— И, собственно, я готов принять вас на прежних, известных мне, условиях. Можете хоть сегодня идти и приступать».

«На договор?» — тихо спросила Марина, не веря собственному голосу, предательски дрожавшему. Накануне мельком она видела прежний свой рабочий стол, придвинутый к стене и заставленный немытыми кружками с радужными остатками какого-то сладкого дегтя, двумя окаменелыми сахарницами, оскверненный сальными бумажками с горкой похожих на продукцию детской песочницы общепитовских котлет. «Ну да,— подтвердил директор, ласково поглаживая себя по круглому затылку.— Для вас это будет вариант. Сергей Сергеич говорил, что вы хороший комментатор, но я спросил у сотрудников, они мне сказали другое. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, вы тогда легко найдете место на другом телевидении, зачем вам этот договор». Возможно, новый директор пока что не знал, что вакансии в любом пристойном медиа под давлением выпускников неумолимого журфака не держатся и полутора недель; однако он не мог не понимать, что Марина, с нынешним ее политическим приданым, может работать только у своих, ни одна из продвинутых телекомпаний (далеко опередивших заштатную «Студию А» по качеству очень цветных и неплохо оплаченных проектов) просто ее не возьмет. Однако директор смотрел перед собой совершенно безмятежными, тихо блестящими глазками, напоминавшими цветом сырую кофейную гущу. «Я, как уже говорил, человек прямой,— повторил он, рывком переменяв вальяжную позу на деловую и уставив-

шись в некую центральную точку столешницы. — Я скажу, что не хотел бы принимать вас на работу. Из-за вашего присутствия мой близкий человек будет испытывать беспокойство, а я уважаю этого человека и очень берегу. Вы, все, кто здесь живет, можете куда-то устроиться через своих знакомых. Но я понимаю, что такое компромисс. Честно вас предупреждаю, в должности расти не будете, потому что мой человек должен быть от вас огражден. Может, сами потом уйдете. Пока пишете заявление. Это все».

При последних словах сосредоточенного директора, тасовавшего, обстукивая их об стол, несколько карандашей, Марина догадалась, что так мучило ее в последние дни. Придуманная партийность, забравшая над ней гораздо больше власти, чем это виделось в начале домашней, никого из посторонних не касавшейся игры, предполагала теперь ее непонятную, но тем более непреложную вину перед партией — и совершенное отсутствие вины перед нею со стороны профессора Шишкова и тем более со стороны актера Кругаля. Либо Марина могла остаться при своем и выложить на стол кому-нибудь из благодетелей символический партийный билет. Последнее — в отсутствие Климова, которого никогда не удастся сбросить со счетов, — означало такую высшую меру одиночества, что это было уже почти совершенство, которое вдруг заворожило Марину, имевшую единственный талант — стремиться к абсолюту. Однако страх, простой житейский страх удерживал ее на краешке пропасти и стула, на котором она, зажав ладони между стиснутых колен, машинально раскачивалась. Собственно, следовало, не задерживая директора, подвинуть к себе выдернутый им откуда-то старый, словно подгорелый по краям бумажный листок, написать заявление и идти заниматься уборкой стола. Но руки у Марины были такие мокрые, что она боялась насажать на бумагу масляных пятен, как от тех омерзительных рыжих котлет, и пуще того боялась надеть грамматических ошибок, которые послужили бы первым свидетельством ее плохой квалификации. В голове у нее путалось это заявление, которое могло сейчас получиться только наглядной, выложенной на чистый лист демонстрацией ее постыдной слабости, и трудовой договор, который, видимо, предстояло подписывать отдельно. Директор молчал с издевательским терпением, улыбаясь одними щеками, на которых сделалась заметна похожая на занозы непробритая щетина. Именно отвращение к себе, а не только простая мысль, что бояться при пенсии отчима, в сущности, нечего, решило для Марины ее ближайшую судьбу. Интуитивно она поняла, чего нельзя ни в коем случае делать в этом кабинете, и знала, что именно это и сделает в самый ближайший момент.

Оттолкнувшись сапогами от коврового покрытия, с треском зацепившегося за острый каблук, Марина на вильнувшем стуле вдруг оказалась точно напротив директора — даже не подумавшего подобрать под столом свои короткие ноги без туфель, по-обезьяньи державшиеся за перекладину. Теперь Марина сидела, загораживая директору входную дверь, и получилось так, будто они внезапно поменялись местами. Более того — хозяин кабинета и положения оказался вдруг припертым к стене и рисовался на ней отчетливо, будто на экране кинотеатра. «Это еще что за тет-а-тет? — раздраженно произнес директор, которому это новое положение совсем не понравилось. — Мы с вами сейчас не в кафе». «Меня не интересует ваш договор», — сказала Марина, чувствуя, что кабинет со всем содержимым медленно заваливается набок, в сторону высокого окна, протянувшего солнечный свет наискось по серому ковру. «Побежите жаловаться Шишкову?» — поинтересовался директор, проворно прихлопнув заскользивший листок и покотившийся со стрекотом граненый карандаш. «Передайте профессору, — отчетливо произнесла Марина, чувствуя плавный крен у себя в голове, — что мне надоело прикрывать его уважаемую задницу, пусть он теперь использу-

ет вашего близкого человека, а мне все равно. Передайте ему, что он козел и негодяй».

Кто-нибудь другой на месте Марины, символически швыряя партийный билет, наговорил бы в свое удовольствие существенно больше язвительных слов, но для нее и это было слишком, ноги у нее подкашивались, ей надо было выйти из кабинета и не ужаснуться. «Эй!» — окликнул ее вскочивший, судя по екнувшему креслу, и явно обеспокоенный директор: видно, до него дошло, что эта Марина Борисовна, начиная его безобразными словами, которые так или иначе надо передать Шишкову, неожиданно ставит его под удар профессорских амбиций, чьи пределы директору неизвестны. Однако Марина не остановилась, только снова зацепилась каблуком, выдрав из синтетической кудряшки какие-то белые нитки. На что это было похоже? На то, как она студенткой входила в аудиторию, разминувшись с божественным Климовым, сбегаящим с лекций, и видела перед собой ненужные лица да пресный воздух пустоты. Только теперь Марина не могла вернуться и догнать уходящую любовь: пустота перед нею была бесконечна, в нее предстояло только углубляться, преодолевая знакомое сопротивление пространства без свойств. Теперь она, пожалуй, не могла бы сказать: «Вся моя жизнь при мне». Каким-то образом разминувшись со своей истинной жизнью — теперь в движении участвовало время, никогда не идущее вспять, — Марина надевала пальто. Наконец-то она сообразила, для чего накапливала деньги в побитой ракушечной шкатулке. «Марина Борисовна, вы что, совсем уходите?» — оторвалась от пышущей взрывами и квакающей командами компьютерной игрушки удивленная Людочка.

Это была та самая минута, когда раскрасневшаяся Клумба, шмякнув на табуретку тяжело вздохнувшую хозяйственную сумку, увидела на подоконнике благотворительные списки.

Сперва, когда полурасстегнутая представительница собеса, дергая носом и делая решительные жесты, образовалась в прихожей, Нине Александровне почудилось, будто Клумба пьяна. Однако спиртным от Клумбы не пахло, крепкий кагор ее бордового румянца был, должно быть, результатом мороза и быстрой ходьбы. Все-таки в поведении Клумбы явно чувствовалось нечто ненормальное: сдирая долгополый турецкий тулуп, она искала что-то лихорадочными глазками, словно в первый раз оказалась в этой квартире, и даже скрытно перешукала висевшую на вешалке одежду. Нине Александровне сделалось стыдно за то, что накануне, путешествуя к племяннику, она не смела в прихожей паутину, набравшую чешуек известки и болтавшуюся по углам давленной яичной скорлупой: теперь она подумала, что Клумба, прежде чем выдать положенные деньги, станет ее за это распекать.

Однако все получилось еще удивительней. По дороге на кухню Клумба пару раз повернулась вокруг своей оси, точно была на экскурсии, и энтузиазм на ее раскрасневшейся физиономии постепенно смешивался с разочарованием, будто в вино доливали воды. Но вдруг она уставилась, приоткрыв горячий насморочный рот, на хорошо протертый подоконник, где в соседстве с легкой пирамидой отмытых кефирных пакетов досыхала, пятнами наружу, скромная стопка Маринкиных бумаг. Выражение лица у Клумбы сделалось такое, будто женщина не верила собственному счастью. Так оно, собственно, и было. Предполагая хорошенько осмотреться у этой Марины Борисовны, Клумба ожидала обнаружить, к примеру, новую мебель или наглую, с пуговицей будто блюдец золоченого сервиза, норковую шубу. То, что она обрела, буквально наткнувшись взглядом на знакомые строчки и собственноручные истертые пометки, превосходило самые смелые ее предположения. В сущности, Клумба

держала в руках прямое доказательство, что эта Марина Борисовна присвоила деньги инвалидов, а кроме того, завладела банком данных, чтобы впоследствии использовать в своих интересах наработанный Клумбой социальный инструмент. «Простите, это ваше? Вы это потеряли?» — обеспокоенно спросила Нина Александровна, не зная, как отобрать у представительницы собеса злополучные бумаги, на которых вдруг заметила завявший кусочек куриного жира. «Я вам сейчас расскажу, что это такое», — задыхаясь, ответила Клумба, и что-то в ее ликующем голосе заставило Нину Александровну, обомлев, присесть на табурет.

То, что она услышала от представительницы собеса в ближайшие четверть часа, было настолько ужасно, что на лице у Нины Александровны то и дело возникала неловкая улыбка, с какой вежливые люди терпят неправдоподобные истории. Должно быть, эта бледная сощуренная гримаса, выдававшая и то, что под лопаткой у Нины Александровны все сильнее прохватывало болью, бесила взбудораженную Клумбу: от ее ликующего настроения уже ничего не оставалось, кроме крика, потрясающего дом. Нина Александровна знала и так, что Марина больше не работает на телевидении: фотография в газете ясно говорила, что из корреспондента дочь превратилась в объект интереса скандальной хроники и попала в какую-то историю. Но эти мошеннические выборы со всеобщим подкупом и воровством, с растратой благотворительных денег, предназначенных старикам, были много красочней и хуже тех нечетких предварительных картин, которые Нина Александровна, избывая и одновременно подкармливая тревогу, пыталась себе рисовать.

Между тем каким-то дальним слухом, не вполне забитым децибелами Клумбы, Нина Александровна ощущала, что дверь к Алексею Афанасьевичу открыта. Эпос преступных выборов, не шедший ни в какое сравнение с прежними опасными репликами представительницы собеса и противоречивший всему, что говорилось и показывалось парализованному на протяжении четырнадцати лет, проникал туда совершенно свободно. Слово лопнула какая-то глухая перепонка, и слышимость сделалась такой, что до Нины Александровны ясно доносились тихие гортанные аканья больного, медленные хрусты панцирной сетки, которая вдруг напряглась с переполненным скрежетом, точно Алексей Афанасьевич поднимался с постели. Это, конечно, было невозможно, но бессобытийное иное время явно не выдерживало натиска событий, которые транслировались в поврежденный «красный уголок» и не оставляли никакой надежды на восстановление капсулы бессмертия. Лихорадочно прикидывая, как теперь выходить из положения, Нина Александровна трусливо подумала, что Алексей Афанасьевич не сможет спросить и проще простого будет замолчать, не входя в объяснения, этот женский кухонный скандал. Но тут же она сообразила, что в этом случае ей придется обращаться с Алексеем Афанасьевичем как с неодушевленным предметом: никогда они уже не смогут говорить друг с другом на языке плывущих электрических фигур, никогда между ними не восстановится то физическое понимание без слов, о котором знают только люди, много лет ходившие за полуживыми телами парализованных и коматозных и кое-что понявшие в особенностях их отдельного от тел незримого присутствия. Видимо, Нине Александровне теперь придется, подбирая слова и преодолевая стыд за многолетний, оскорбительный для ветерана семейный обман, как-то изложить Алексею Афанасьевичу хронику перемен. Она не могла вообразить положения, в котором Алексей Афанасьевич, никогда не трепетавший ни перед чем житейским, включая уличных бандитов и капризное начальство, простил бы эту трусость во спасение и повешенный ему для символа брежневский портрет. Глядя на Клумбу, разрывшую списки до дна и крепко державшую ноготь на какой-то

найденной строке, Нина Александровна мысленно видела, как пыль бессмертия, подобно тополевому пуху, занимается от выпавшей из пальцев ветерана, наконец-то догоревшей спички, — и прозрачный огонек, выедавая в белом веществе бескопотную чистую дыру, обнажает то, что есть на самом деле: старую мебель в трещинах и пленках отошедшей полировки, маленький сумасшедший телевизор, порванную игрушку в виде паука, уже неспособного прыгать, но только тяжело дышать глухим резиновым воздухом, стерегущего в складках одеяла потертого пупса.

«Так, значит, вы не верите, что ваша дочь украла двенадцать тысяч рублей? — Резкий голос Клумбы вернул забывшуюся Нину Александровну на кухню. — Их надо было распределять по этим спискам, а списки, оказывается, вот они, вы дома в них селедку заворачиваете. Смотрите: номер девяносто четыре, Харитонов А. А. Вашему дедушке тоже полагалось пособие, продукты ему приносили, были бы и деньги, да только Марина Борисовна не постеснялась. Вы поищите, поройтесь у нее в шкафах! Не только двенадцать тысяч, найдете и больше! Не зря они в штабе крутили хвостами и прятали денежки в рукава: люди сутками стояли в очереди, чтобы получить положенное, а эти, небось, за них и расписывались! Теперь агитаторам полагается премия, штаб ничего не платит, так у вашей дочери больше сотни тысяч под трусами и бусками, вы поищите для себя хотя бы, а то вам с дедушкой ничего и не достанется!» Все плечо у Нины Александровны было перетянуто болью, будто крепким, на крайнюю дырку застегнутым ремнем; левая рука, колодой лежавшая на столе, совершенно отнялась, только в пальцах стрекотала и постукивала слабая морзянка. Глядя на девяносто четвертую графу, где незнакомым тесным почерком был записан Алексей Афанасьевич, их домашний адрес и телефон, Нина Александровна чувствовала, что вся эта история, до сих пор абстрактная со своими штабами, политиками и инвалидами, вдруг приобрела неотвратимую реальность. «Ваша квартира набита деньгами, но я вам выдам пенсию, я-то не ворую, — саркастически объявила Клумба, запихивая в округлившуюся сумку разворошенные списки. — Я только посмотрю на дедушку и расскажу ему отдельно, как у него украли пособие. Может, тогда у Марины Борисовны не хватит наглости все потратить на себя, будет хоть один инвалид, до которого благотворительность дойдет». С этими словами представительница собеса, на которой набивные розы, вытянув губы трубочкой, то сближались, то расходились в волнении телесных складок, устремилась в коридор. Путь перед нею был совершенно свободен — настолько, что Нине Александровне даже показалось, что Клумба падает в эту свободу, будто в распахнутый люк. Во всяком случае, она услышала, как разоблачительница охнула, споткнувшись, и сильно шлепнула ладонью по стене.

Нине Александровне следовало пойти за ней — если не предотвратить скандальный монолог, то по крайней мере при этом присутствовать. Но тут она впервые ощутила, как это бывает, когда физическая боль не дает подняться с места. На лямке, перехватившей левое плечо, словно висел какой-то неподъемный груз, и всякая попытка Нины Александровны встать на перекошенные ноги приводила лишь к тому, что в голове становилось туго, радужно и звонко, как бывает от удара в крепко надутый мяч. Так значит, Марину будут судить. Конечно, она не брала. Все обязательно разъяснится, надо только немного посидеть и потом встать. Внезапно до Нины Александровны донесся крик — и даже не крик, а ликующий вопль, прерываемый хватанием самостоятельно лепечущего, как бы горячего воздуха, но даже и на вдохе продолжавшийся какими-то нечеловеческими звуками, похожими на полые вибрации водопровода. В первую минуту Нина Александровна подумала, что это кричит она сама, обеи-

ми руками зажимая уши, в которых шуршали пузыри. Тут же она сообразила, что крик идет из комнаты парализованного, и вскочила на легкие ноги, точно молоденькая.

Коридор уводил в непривычную сторону, точно Нина Александровна бежала по вагону поезда, круто забирающего в поворот, и, спеша по ходу состава на легких ногах, необъяснимо отставала от скорости движения, внезапно бросившей ее на столик и тихо загудевший телефон. Наконец она разминулась с приткнутой дверью, попытавшейся увести ее куда-то вбок, и увидела картину, которая за секунду до этого словно бы уже стояла у нее в голове. Кричала неузнаваемая Клумба. Она уже почти обессилела, рот ее, тянувший воздух, был разинут в каком-то идиотическом изумлении, глаза, беспокойные и мутные, будто вода в стаканчике, где только что отполоскали акварельную кисть, не отрываясь глядели на Алексея Афанасьевича, лежавшего совершенно неподвижно в свободно наброшенной петле. С лица ветерана, странно тяжелого, с запавшими глазницами, очень быстро сбегали живые краски. Несмотря на то, что веревка не успела затянуться и, просмоленная, топорщилась у подбородка, Нина Александровна вдруг осознала, что в близоруко расплывшемся облике мужа она не видит водяного знака, означающего жизнь. Моментально она оказалась у постели и откинула одеяло, с которого соскочила, шмякнувшись об пол с ушибленным писком, резиновая дряблая игрушка. Приложив трясущуюся руку туда, где всегда стучало, отбивая два простейших такта, безотказное сердце разведчика, Нина Александровна не услышала ничего — только какая-то последняя мятная боль, лизнув ладонь, растаяла в пустоте.

Если бы в ближайшие несколько минут некто посторонний (не Клумба, со стоном осевшая на пол) наблюдал за комнатой, скажем, с небес, он с удивлением увидел бы растрепанную старуху, вакхически скачущую, расставив заголившиеся сизые колени, на длинном старике, время от времени припадая к его ощеренному рту. Нина Александровна не знала правил искусственного дыхания и массажа сердца; она нажимала на скользкую корзину ребер с той же самой отчаянной силой, с какой прокачивала вантузом засорившиеся трубы. Через несколько нажимов — у нее не получалось их считать — она вдвухала в серый, вязкий рот, уже прилипающий к твердым зубам, горячий, уходящий куда-то за щеку ветерана, воздушный пузырь. Чем больше сил она прикладывала, тем яснее чувствовала, что они с Алексеем Афанасьевичем сообщающиеся сосуды и что самая тугая пробка у нее в голове. Наконец ей сделалось понятно, что затор не пробить. Медленно Нина Александровна перевалилась набок и прилегла на мужчину подушку, очень близко глядя на обтянувшийся профиль, на неизвестного происхождения тверденький шрамик, белевший на шее ветерана, на резкую морщину под свесившимся клоком седины, словно там была подчеркнутая ногтем важная строка. Все это, бесконечно дорогое, уже исчезало, истаивало, становилось прошлым. Осторожно придерживая голову, ставшую тяжелой и твердой, будто заполненный сокровищем запечатанный сосуд, Нина Александровна сняла непригодившуюся петлю. Стало быть, искусственная смерть не состоялась. Тут она услышала, как женщина, избавившая ветерана от самоубийства, неловко возится где-то на полу и, побрыкивая мягкими ногами, пытается сесть.

«Дайте попить», — тихо просипела Клумба одряблыми связками, забираясь, будто толстый, в разные стороны вывернутый кузнечик, на кресло с вязаньем и спицами. Возле кровати стоял, чтобы Алексею Афанасьевичу запивать лекарство, граненый стакан с кипяченой водой; Нина Александровна кое-как оправила задравшийся халат и поднесла стакан, еще хранивший как бы слабый раствор исчезнувшей жизни, этому странному, полулежавшему в кресле существу. Вме-

сто того чтобы взять принесенное, Клумба больно ухватила руку Нины Александровны и принялась выпускать в наклонную воду молочную мягкую муть. Собственно говоря, это была уже не Клумба. Ее небольшие симметричные глаза, ставшие какими-то нечеловечески одинаковыми (левый и правый можно было безо всяких нарушений поменять местами), смотрели так, словно видели несколько слоев окружающих вещей. Черты ее странно разгладились, сбитые кудряшки, которые она причесывала застревающими пальцами, словно делала это впервые в жизни, походили на парик.

Нине Александровне стало уже почти понятно, что произошло. Для того чтобы умер бессмертный, требовалась причина — и она заключалась не только в трансляции из кухни. Видимо, сердце Алексея Афанасьевича было не такое крепкое, как все привыкли думать; должно быть, попытки забраться в петлю (а эти просмоленные шнурки, появившиеся на спинке кровати неизвестно откуда, несомненно, содержали смерть) изрядно поизносили бранный двухтактный механизм. Вероятно, когда Алексей Афанасьевич предельно сокращал миллиметры, отделявшие его от последней границы, сердце его, которое было все же человеческим, давало болезненный сбой. Сегодня, когда совпало: неожиданно ухваченное пальцами послушание верного инструмента, близость красавицы в капюшоне, посмотревшей на него не искоса, как когда-то при веселой бенгальской трескотне немецкого пулемета, а прямо в глаза, внезапное открытие какой-то иной, безобразной реальности, которую ветеран уже не мог присоединить к своей доподлинной жизни, где он всегда и навечно живой, — по сердцу его хлестнула жгучая крапива. Женский крик, исходивший от смутного существа, не похожего ни на падчерицу, ни на спокойную жену, всегда предупреждавшую о своем появлении светящимся посланием бесхитростного мозга, подтолкнул и завершил адреналиновый прыжок в небытие.

Но это была еще не вся картина. Оставалась последняя, почти невероятная случайность, без которой ветеран не смог бы преодолеть отделявшую его от смерти резиновую стенку и пройти в единственное, оставленное ему судьбой игольное ушко. В первый момент, когда взбужденная Клумба увидела «дедушку» в петле и готовым к отправке в райские кущи, вопль ее был истерикой общественницы, в уме которой символы и «литература» очень плохо совпадали с реальностью, вдруг объявившей Клумбе несправедливую войну. Однако механизм чужого умирания, уже запущенный и сделавший какой-то пробный оборот, вдруг отозвался в ней неотвратимым накатом резкой и огромной темноты — и дальше все пошло как по маслу, не стало больше никаких препятствий к тому, чтобы Алексей Афанасьевич умер. Редкий, благословенный дар ощущать на себе сделал Клумбу (а она была уже не Клумба) последней помощницей бессмертному, каким-то образом ее утробное осознание происходящего помогло ветерану сохранить свою доподлинность до самого последнего момента и в целости перейти туда, где его встречали заждавшийся Бог и военный оркестр. Теперь трясущаяся женщина, которую вода из стакана захлестывала, как захлестывает пляшущая рябь неловкого пловца, была, возможно, единственным на свете человеком, который еще при жизни сподобился знания, что же такое смерть. Наконец она вытянула шею как бы над поверхностью ряби и сделала глоток. «Он умер», — сказала женщина, отдышавшись. «Да, я знаю», — ответила Нина Александровна, вытирая женщине лицо и промокшую грудь, на которой блестели подобно росе хрустальные капли слюны. Теперь она понимала, что все хорошо. Неподвижные глаза Алексея Афанасьевича, замутненные белым порошком бессмертия, смотрели в потолок; Нина Александровна, стараясь не нажимать, закрыла мужу вязкие, не до конца сомкнувшиеся веки, на пальцах ее осталось совсем немного холодной щекочущей влаги.

Тонкая белая пыль еще держалась кое-где в оголившейся комнате — на полу под трофейной кроватью, на металлической рамке казенного портрета, где орденосный Брежнев был наполовину скрыт горящим отблеском в разломанном стекле, зато внезапно сделалось заметно, как пожелтел и высох за эти годы добротный советский картон. Еще немного пыли было в солнечном луче, она слоилась там, сухая и белесая, будто крепкий дым простого табака. Для того, чтобы все предстало таким, какое оно есть в действительности, скромным участникам этой истории оставалось узнать лишь несколько вещей. Это касалось утраченной пенсии, погибшего племянника, кое-чего еще. Что же до Алексея Афанасьевича, то он уже узнал гораздо больше, чем Нина Александровна могла ему поведать в человеческих словах, и потому в прощении его сомневаться не приходилось; буквально во всем ощущалось его незримое присутствие.

Внезапно Нина Александровна осознала, что так оно и есть: Алексей Афанасьевич стоял у нее за спиной, читал на кухне спрятанный за хлебницей экземпляр «Ведомостей», безо всякого приемника слушал радио и смотрел телепередачу, неловко касался души — точно тем же тыльным шершавым касанием, каким однажды тронул руку с желтым, сильно мажущим букетом, каким погладил Нину Александровну за ухом в день, когда впервые на спинке трофейной кровати обнаружилась петля. Ощущение присутствия было настолько пронзительным, что поначалу Нина Александровна испугалась и, резко обернувшись, увидела лишь легкое смятение пыли, вновь блаженно оцепеневшей в сильном, как бы фильмовом луче, передающем с неба на комнатную стену мреющий квадрат. Тут же она поняла, что бояться нечего. У этого явления, как и у любого другого, несомненно, имелась причина. Видимо, за четырнадцать лет общения без слов (бытовые монологи Нины Александровны в расчет не брались) муж и жена Харитоновы выработали такое понимание, которое и теперь почему-то не исчезло. Видимо, существование буквально под боком у смерти было для них тренировкой. Теперь тяжелое, с огромными костями, тело ветерана, которое Нина Александровна, сложив на белых ребрах темные сползающие руки, затулила простыней, не имело к пониманию прямого отношения, но это было и неважно. Для Нины Александровны сделалось ясно, что, когда она станет приходить к Алексею Афанасьевичу на кладбище, это будет примерно то же, что и было во все эти годы возле парализованного тела, этой грядки измученной плоти, всего лишь питавшей своими соками крупный сердечный корнеплод, — потому что настоящий Алексей Афанасьевич продолжал существовать.

Тем временем женщина в кресле, перевалившись с боку на бок, вытаскала из-под себя мешающее мягкое и с болезненным изумлением глядела под кровать, куда укатился, сбрасывая нитку, виляющий клубок. Постепенно понимание мира возвращалось к ней, она попыталась, приподняв неверную руку, посмотреть на часы. «Сейчас, потерпите, сейчас», — проговорила Нина Александровна, понимая, что нужно вызвать «скорую»: уже не Алексею Афанасьевичу, но и для него, для оформления свидетельства о смерти и соблюдения прочего формального порядка. Почти нисколько не пришаркивая, она устремилась в коридор, где слышалось носовое гудение сбитого телефона и в дверном замке с глубоким хрустом поворачивался ключ.

Екатеринбург, 2000—2001



Владимир ПУЧКОВ

Л е г к а я т а й н а

* * *

Это не шорох — сползающий наземь шелк,
Это качнулось небо среди листвы,
В каждую щелочку сыплется птичий щёлк,
Темный звериный рык огибает рвы.

Это тропа, поднимающаяся ввысь
Кручей сквозь тучи еще молодых садов,
Легкая тайна, стремительная, как рысь,
Ходит за нами и пьет из наших следов.

* * *

Мне нравится владимирский рожок,
Мелодии сухая оболочка!
А где же сам языческий божок?
Простуда. Кашель. На крыльце снежок,
Следов заиндевелая цепочка...

Зима страшна, как затяжной прыжок!
Какие наступают холода!
Тень на полу лежит медвежьей шкурой,
И в рюмочке с недопитой микстурой
Неслышно растворяется звезда.

* * *

Если время — река, значит мы скользим по наклонной
И муха внутри куска янтаря древней фараона!
И лучше сохранена для вечности и для взгляда,
Смотри, как смотрит она из золотого Ада!
Я — счастлив! Я тешил глаз, я зрел мушиные мощи!
А оттуда смотрело на нас небо кембрийской роши.

* * *

В душный сезон дождей на далеком где-то
Небо дрожит, как штанга в руках атлета,
И разрывает надвое материк
Нил, выползающий, словно из тубы охра,
Но и у нас в это время совсем неплохо:
Не помогают ни зонтик, ни дождевик.
Правда, ни ярости, ни африканской страсти,

Тоже сезон дождей, но не этой масти.
Холод стоит, пробирающий до костей,
Поиск тепла становится смыслом жизни,
Только и остается, что ждать гостей,
Сидя у батареи, где сохнут джинсы.

*Стихи, написанные при виде
зброшенного и разоренного сада*

Потому мне и дорог он, что стоит ничей
И проточный воздух течет по нему рекой,
Здесь, куда ни ступишь, то лужица, то ручей,
И куда ни глянешь — яблоко под рукой,

Не пройти — то рябины гроздь, то крыжовный куст,
Поневоле и мысли мешаются в голове...
Был бы рай небесный, когда бы не этот хруст
Головешек, повсюду разбросанных по траве.

* * *

Что царапать воздух, с которым слиться
Все равно придется вместе со всей округой?
Опустевший сад, как большая черная птица,
Коготки ветвей цепляются друг за друга,

За сырые стены, за стрехи, за край пейзажа,
Оставляя царапины: только бы не сорваться
В бесконечную белизну! И чернее сажи
Тот счастливый лист, который решил остаться!

* * *

Небо в ущелье равно ширине реки,
Тени на дне, как тяжелые топляки,
Загромождают течение, и вода
С ревом и грохотом мчится из тьмы туда,
Где, разрывая тяжелую плоть реки,
Камни краснеют, как сжатые кулаки!
Где по гранитным склонам ползут сады,
Чтобы в крутящемся воздухе тьмы и света
Вспыхнула радуга, словно огонь завета —
Короткое замыкание воздуха и воды!

* * *

Это река, это речка, прозрачная речь,
С вечной запинкой, с ручьями, бегущими встречь,
Это текущие травы и камни на дне,
Говор картавый и быстрая тень в глубине.
Это прямая, кривая, раскосая речь,
Свечек сердечки и каменный топот копыт,
Вот она, встреча! Спуститься и вброд пересечь.
Темная речь, как река, между нами стоит.

* * *

Рыхлый морозный воздух рушится внутрь себя,
Пространство проходит ряд сжатий. Дорога в город
Теперь ведет в никуда, и глыбами со столба
У самого края леса обламывается холод.

Ломкие линии леса перекручены так,
Что можно себя со спины, ежели осторожно,
Увидеть. Всего-то и нужно только ускорить шаг,
А вот заглянуть в лицо по-прежнему невозможно.

* * *

Если воздух темнеет прямым углом,
Понимаешь, что это и есть облом,
От российской погоды большой привет.
Ну куда в натуре? Натуры нет!
То есть нет природы, а есть одно
Зарядившее рядом, мокредь, сукно,
И тряпье на веревках вместо белья,
И на поле зеленый позор былья.
Ну а если плюнуть на вся и все,
Как в семнадцатом веке плевал Басе,
И направить стопы, верней, стопы,
На такие тропы, где нет тропы!



Г о с т ь

РАССКАЗ

Первый весенний зной, цветут жердёлы. На широкой станичной улице, сплошь покрытой теплой пыльной кашицей, пустынно. Только высокая голая лошадь с белесыми промятыми полосками на боках идет неизвестно куда сквозь лоснящийся воздух, беззвучно ступая длинными ногами по мягкому настилу. Мальчик лет семи, внимательно разглядывавший ее, смотревший ей вслед с недружелюбным любопытством, тут же о ней забывает, как только лошадь скрывается — доходит до того места, где улицу пересекает наискось блестящая мелкая речка и где нельзя уже ничего различить от избытка света в степном пространстве.

— Пошла! Пошла вон! — командует мальчик, когда лошадь вдруг снова появляется рядом с ним, неслышно вернувшись на улицу из степи. Но лошадь его не слушает — не уходит. Ей тоже любопытно видеть мальчика. Всем любопытно видеть его. Он очень чистый, с гладкой светлой кожей, с кудрявыми — до плеч — волосами в цвет топленого масла; на нем черные отглаженные брюки, белая рубашка с длинными рукавами, застегнутыми на запонки, которые сверкают зелеными гранеными стекляшками — точно такими же, как в брошке, приколотой под кружевным воротником. Лошадь хорошо понимает, что мальчик не здешний, не станичный, хотя ей и неведомо, откуда он взялся: она бродила по речке, по каменистой журчащей отмели, разглядывая цветные извивающиеся гольши под водой, в тот утренний час, когда мальчика привез из города на запыленном автомобиле рослый нарядный дед, густо пахнущий водкой и новой тканью. Все утро в одном из станичных дворов — в том, где стоит, окруженный пирамидальными тополями, высокий каменный дом с плоской крышей и маленькими арочными окнами, глубоко утопленными в толстые выбеленные стены, — дед громко хохотал, громко разговаривал, хлопая по плечу другого деду, своего брата, которого он называл Петром. Петр же называл его Алексеем Ивановичем, обращаясь по отчеству и к мальчику — Родион Родионович.

Две одинаково смуглые девочки, одна тринадцати, другая пятнадцати лет, дочери деду Петра, тоже называли мальчика по отчеству. Сгибаясь, прижимая ладони к коленкам, они давились беззвучным смехом, потом глотали, округляя глаза, теплый майский воздух и с готовностью к новому приступу радостного удушья выкрикивали:

— Эй, Родион Родионович! Куда-то вы в курятник полезли? Рубашечку испачкаете!.. Петух брошечку украдет!

Родион Родионович ничего не отвечал девочкам. Им отвечал дед Петр. Он высовывал из круглой, заплетенной вьющимся хмелем беседки, где угощал Алексея Ивановича красным вином и медовухой, аккуратно остриженную голову на длинной шее и злобно сквозь зубы цедил:

— Сонька, Тамарка, стервы! Выпорю!

Девочки мгновенно затихали. Угроза родителя их пугала. Нахмурившись, они быстро шли в дом. Но язвительное любопытство, сулившее им нечаянное веселье, брало верх над привычным страхом. Родион Родионович снова видел их смеющиеся лица — сначала за блестящими стеклами маленьких окон дома, по-

том во дворе, над кустами смородины, сквозь которые просвечивали разноцветные улья, — снова слышал их голоса, смешанные с сочным гудением пчел:

— Родион Родионович, а, Родион Родионович! Вам нельзя в сарай! Там крысы водятся!.. Ботиночки ваши скушают!

К полудню дед Алексей Иванович опьянел. Собравшись уезжать, он долго прощался то с дедом Петром, сжимая ладонями его голову, то с Тамарой и Соней, целуя их в виски. Бережно поддерживая гостя со всех сторон, они вывели его, грузно шатающегося, за ворота, разбудили шофера, беспмятно спавшего на сиденье в автомобиле с запрокинутой головой и открытым ртом, мимо которого смело летали мухи. Когда автомобиль тронулся, увозя Алексея Ивановича, Родион Родионович, все еще не веривший, что дед оставит его здесь, в этом скучном и незнакомом месте, окруженном степью и небом, рванулся было вслед — но тут же остановился, заметив, что Соня и Тамара насмешливо смотрят на него. Он чувствовал, как в глазах его дрожат слезы, от которых дрожало и все вокруг, слышал, как дед Петр виновато ласковым голосом говорит: «Да вы не сердитесь, Родион Родионович... Погостите у нас маленько, а дедушка за вами приедет, приедет... или шофера пришлет...», и совсем другим — злым и требовательным — голосом: «Хватит вам пялиться на него! Ступайте во двор!»

Какое-то время, оставшись на улице один, Родион Родионович смотрел с бездумной сосредоточенностью себе под ноги, где нескончаемой извивающейся цепочкой ползли, переваливая через пыльные барханы и старательно огибая мелкие камешки, муравьи. Они спускались на землю из дупла старой сливы, продвигались сначала вдоль ее выступающего на поверхность корня, потом — мимо ботинок Родиона Родионовича через прохладную равнину, усеянную лепестками сливовых цветов, и дальше — к своей цели, к выщербленному валуну, видневшемуся в знойном и ярком свете за пределами тени от густой кроны дерева. Они были заняты этим дружным походом, и им не было никакого дела до Родиона Родионовича, до его обиды и грусти, до его обременительно нарядной одежды, до его имени и отчества. Он был слишком огромным для них, чтобы они замечали его существование.

Глядя на муравьев, Родион Родионович и сам перестал замечать себя — перестал испытывать обиду и грусть, помнить, во что он одет, как он выглядит и как его зовут. Он присел на корточки, чтобы видеть получше слитное струящееся движение маленьких тел, и просидел так очень долго, сооружая препятствия из щепок и листьев в разных местах на пути муравьев. Солнце уже сдвинулось к западу, удлинив тень от сливы, когда его кто-то окликнул:

— Эй!.. Ты девчонка?

Родион Родионович поднял голову и, даже не разглядывая босого, бритого наголо мальчика, стоявшего в десяти шагах от него посреди улицы, коротко ответил:

— Нет.

— А чего же у тебя — брошка? И волосы такие?

Родион Родионович встал, отряхнул брюки и, резко нагнувшись, протянул руку к земле — будто за камнем. Он знал, что это движение пугает собак. Оно подействовало и на мальчика. Тот быстро, не оглядываясь, побежал к реке. В воздухе осталась висеть только мелкая искрящаяся пыль, поднятая его босыми ногами. Едва она улеглась, по улице прошла та высокая лошадь, которую Родион Родионович провожал долгим недружелюбным взглядом. Как и мальчик, лошадь скрылась в ослепительно светлом пространстве за рекой, но вскоре вернулась и теперь стояла так близко от Родиона Родионовича, что он хорошо видел в ее черном зрачке свое выпуклое отражение. Он дважды скомандовал ей «Пошла вон!», потом отстегнул брошку под воротником и с размаху кинул ее в бок лошади. Лошадь отшатнулась всем туловищем в сторону, быстро переставив с места на место длинные ноги, перепачканные засохшей глиной, но не разозлилась на Родиона Родионовича, не испугалась — осталась стоять неподалеку, кося на него огромным глазом. Родион Родионович перешел на другую сторону улицы — лошадь поплелась за ним и остановилась только тогда, когда он,

пройдя вдоль ветхого забора, свернул в неухоженный, заросший пестрыми травами двор, заметив в его глубине через распахнутую калитку гроб. Во дворе никого не было. Тесный и сумрачный от разросшихся деревьев, он был весь затоплен сладким духом разогретых цветов, осыпающихся в траву со старых, искривленных жердёл, обвитых плющом. Таким же старым и искривленным был деревянный дом, глубоко осевший одним боком в землю; рельефные ставни на его окнах, под которыми тянулись гнилые доски балясника, были наглухо закрыты; собачья будка пустовала. Гроб стоял на двух табуретках недалеко от крыльца. Обитый новой бирюзовой материей, он был самым ярким предметом в этом безмолвном дворе, где все потускнело от времени и где, казалось, сам воздух пропитался пепельно-серым цветом, каким светилась здесь повсюду омертвевшая древесина. В гробу лежала старуха. Родион Родионович еще на расстоянии увидел над бирюзовым бортиком, окаймленным по краю черной волнистой лентой, ее нос и лоб, наполовину закрытый белой косынкой.

Приблизившись вплотную к гробу, от которого исходил такой же сладковатый запах, каким веяло от цветущих деревьев — но только он был не летучим, не наплывающим, а ровным и неподвижным, как прохлада в погребке, — Родион Родионович вытащил руку из кармана, положил ее, будто чужую, будто для того, чтобы она привыкла лежать так, на широкую подушку, занимавшую все изголовье гроба, потом дотронулся указательным пальцем до лба старухи. Желтый, в сиреневых подтеках, он был до того холодный и твердый, что Родион Родионович даже кончиком пальца ощутил глухую каменную тяжесть маленькой головы, затянутой в косынку. Он отдернул руку, спрятал ее в карман и, уже не дотрагиваясь до старухи, смотрел в ее лицо, стараясь понять, знает ли она, что он теперь стоит рядом с нею; и что по ее серым, плотно сжатым губам ползет упавший с дерева паук; и что в небе светит яркое солнце; и что в душном саду носятся над кронами деревьев, соединяя разнообразное жужжание в усыпляющий гул, тысячи пчел, шмелей и ос; и что завтра будет новый жаркий день, — скучно ли ей быть мертвой?

Старухе было не скучно и не весело. Превратившись в тугое безответное тело, не замечающее ни паука, ни Родиона Родионовича, ни далекое солнце, она лежала в дырявой тени полувysохшей акации, и все ее лицо — просторные глазницы, уже захватившие в свои провалы брови и тонкую кожу с висков, большие овальные ноздри, светлые и чистые внутри, подбородок, распластавшийся по шее, — говорило, что она навсегда сроднилась с той спокойной и властной силой, которая придала ей к днищу гроба, и даже сама была теперь этой силой, не желающей знать ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне.

Родион Родионович набрал воздуха в легкие и его упругой струей, округлив щеки, сдул паука с губ старухи, потому что ему стало жалко ее — жалко, что она ничего не знает. Ему захотелось убить паука, чтобы тот впредь никогда не ползал по онемевшим губам. Обойдя гроб, он принялся искать его в высокой траве. Но найти его было трудно среди множества других живых существ, таких же невесомых и проворных; они ползли, выпрыгивали, вылетали из потревоженного укрытия. Раздвигая траву руками, Родион Родионович увидел в ней большие ножницы из темного шершавого металла. Он подобрал их и, вытащив из кармана носовой платок, отрезал от него угол. Ножницы резали хорошо, хотя и были очень старыми. С минуту Родион Родионович внимательно разглядывал их, словно собираясь запомнить и бросить назад в траву, но не бросил — еще раз опробовал толстые выщербленные лезвия, надрезав в двух местах атласную ленту, окаймлявшую гроб, потом зашагал к распахнутой калитке, на улицу, не выпуская из рук находку, — по пути состригал яркие головки репейников, листья с кустов и уже у самой калитки, быстро присев на корточки, отрезал кончик шнура на своем ботинке.

...И СЕМЬ ГНОМОВ*

Красавчик позвал Плешивого; Плешивый привел Крота; Крот свистнул Прусаку; Прусак пригласил Счастливого; Счастливчик порекомендовал Придурка; Раввин напросился сам; всего семь гномов.

Однажды Красавчик позвал Плешивого в длинную коммунальную квартиру, в комнату с камином, облицованным старыми изразцами. На изразцах по белому полю вились синие цветы. Правда, потом Плешивый иначе излагал всю историю. Он вспоминал, будто Красавчик приехал к нему в Сочи, где Плешивый отдыхал со своей белоснежкой, арендовав какую-то лачугу. Будто бы лил дождь. Спустя годы Плешивый писал: «Со страху *сами знаете перед кем* мы переговаривались на пустынном пляже тут же сжигаемыми записками». Здесь, просим прощения за это слово, контаминация: испуг был не столь силен, записки пошли в ход позже. Да и был ли пляж, коли лил дождь? Впрочем, общие очертания Плана действительно нарисовались тем сентябрем.

Плешивый привел Крота; они принесли много водки. Топили камин, который не дымил; от него лишь потягивало запахом тлеющей сырой древесины. Прикинув и подсчитав, сговорились, что нас будет семеро.

В этой самой комнате в длинной коммунальной квартире Красавчик временно проживал у Красивой Дамы, которую узнавали на улицах. Дама работала на телевидении, где зачитывала новости, поэтому на улицах ее узнавали. Зачастую продавщицы гастронома продавали ей без очереди дефицитные продукты. А в цветочной лавке отпускали цветы с заднего хода, красивые цветы, которые Красивая Дама очень любила. Она так любила цветы, что в отсутствие живых любовалась каминными изразцами, синими холодными разводами, напоминавшими ледяной узор на морозных стеклах.

В те времена, как и во все последующие, телевизионных новостей было много, и Красивой Даме что ни день приходилось зачитывать одни и те же. Впрочем, старые новости почти всегда лучше новых новостей. Почти всегда.

Камин Красивая Дама и временный Красавчик топили тонкими досками от разбитых ящиков из-под продуктов; продукты изредка подвозили в соседний магазин и давали Даме без очереди. А ящики грузчики выбрасывали в грязный двор.

В других комнатах длинной квартиры каминов не было. Это была старая квартира в старинном доме, и в ней когда-то жила одна-единственная семья состоятельных людей. Состоятельная семья занимала всю квартиру: у них была

* Из книги «Далее везде».

гостиная с эркером, в ней нынче жила чета дворников-удмуртов, детские, где тоже жили теперь случайные заволжские люди, и спальная комната, которую занимал холостяк-журналист партийной газеты; по субботам он выпивал много водки и, пока здесь не поселился Красавчик, раз в неделю по воскресеньям предлагал Красивой Даме выйти за него замуж.

Комната с камином, где жила Дама, у которой теперь жил Красавчик, некогда служила кабинетом состоятельному хозяину; тот курил трубку, прислуга разводила в камине огонь; тогда топили не досками от ящиков из-под продуктов, а сосновыми поленьями, ровными блестящими от смолы брусочками, которые прислуга покупала неподалеку, на Сухаревке. И состоятельного хозяина, сидевшего в вольтеровском кресле с шотландским пледом на коленях, звуки потрескивавших в камине сосновых дров заставляли благородно мыслить о том, как бы ловчее разрушить собственный комфорт. В те годы в России было немало людей, недовольных своим положением состоятельных, и, поскольку это были люди в большинстве умные и образованные, им впоследствии удалось достичь своих целей. Квартиры у них отобрали, но они не жаловались; ведь теперь им больше не приходилось мучиться чувством вины перед другими, менее состоятельными и хуже образованными людьми. А в их гостиных с эркерами стала жить прислуга, потомки той самой, что некогда разводила огонь в камине, облицованном красивыми изразцами с синими разводами на белом фоне.

Красавчик, Плешивый и Крот пили водку; Красавчик гордился перед приятелями, что живет в комнате с камином у Красивой Дамы, которую узнают на улицах; и тем, что телевизионная Дама подает к водке закуску как простая милая хозяйка. Дама время от времени покидала комнату и уходила в самый конец длинной коммунальной квартиры. Там на кухне была газовая плита; на плите стояла кастрюля. Дама пробовала вилкой, сварилась ли в кастрюле картошка: корнеплоды, три килограмма, она принесла домой в большом бумажном пакете накануне вечером, прочитав с экрана телевизора очередные старые новости; картошку ей дали с черного хода гастронома, во дворе которого в тот вечер горел большой красивый огонь. В лавке цветов не было. Дама почистила картошку еще утром, потому что ее Красавчик сказал, что после обеда зайдет Плешивый. И подновила лак на ногтях.

Здесь к месту сказать, что Красивая Дама не всегда жила с камином и читала новости на телевидении; когда-то она служила просто красивой продавщицей филателистического магазина. Там в магазине ее увидел инженер-филателист и полюбил за красоту. Он привел ее в длинную квартиру, в комнату с камином, но вскоре умер от сердечного приступа. Не потому, конечно, что некогда вся длинная квартира принадлежала состоятельным предкам инженера-филателиста; просто умер, поскольку у него была сердечная недостаточность. Но ко времени его женитьбы на красивой продавщице заморских и отечественных марок все его предки тоже умерли по разнообразным причинам; быть может, филателист устал продолжать жить с чувством вины перед родственниками за собственное долгое жительство, и его сердце остановилось. Ведь все его родственники в определенном смысле тоже умерли от чувства вины, пусть и по причинам разнообразным, и это чувство было у инженера наследственным. Но, еще не умерев, он успел свою жену пристроить в дамы на телевидение, где у него были связи и куда Дама прошла по конкурсу, потому что была красивой и умела отчетливо произносить разные слова, чему научилась за многие годы, разговаривая с филателистами из-за прилавка своего магазина. И Дама на время досталась Красавчику, потому что стала одинокой вдовой и всегда любила талантливых ничего-себе молодых людей и чтобы они не собирали марки. Красавчик некогда собирал

марки, но недолго, лет до девяти, а, значит, это было достаточно давно и успело забыться.

Обычно Красавчик выходил за досками вечером после наступления темноты: он называл это *отправиться за валежником*. Он прихватывал маленький острый металлический топорик — разбивать ящики, разрубать опутывавшие доски жестяные ленты, — и пробирался во двор гастронома, заваленный порожней деревянной тарой, таясь. Время от времени грузчики из магазина сжигали ящики в этом же дворе, чтобы получился большой костер. Но Красавчику все равно надобно было умыкать тару крадучись: злые грузчики побили бы его, когда б увидели, что у них крадут дрова, из которых можно развести большой и красивый огонь, те самые дрова, что Красавчик называл *валежником*.

У нас ведь никогда не бывает ничего лишнего; даже если это ровным счетом никому не нужно, что-нибудь кому-нибудь да стодится. А зачастую и не один раз.

Когда Красивой Дамы не бывало дома, Красавчик включал телевизор в ожидании новостей, которые его Дама в который раз сообщит ему с телеэкрана, пристально и нежно глядя прямо на него своими бледно-голубыми, слегка навывкате, круглыми глазами. Иногда они договаривались, что Дама чуть кашляет в условленном месте, между вестями с полей и известиями о промышленном росте. Чем даст знать Красавчику, как сильно она о нем помнит.

Ожидая покашливания Дамы, Красавчик устраивался на ее диване с книгой «Встречи с Мейерхольдом», заложенной на статье Сергея Юткевича, автора фильма «Ленин в Польше», о докторе Дапертутто. Красавчик собирался написать комедию о своей предыдущей любимой, которая его бросила и уехала за границу с мужем *сами знаете откуда*; комедию в стихах в духе Гоцци и в манере дель-арте; но он не совсем знал, ни что такое комедия, ни что такое дель-арте; теперь ему приходилось самообразовываться, хоть название было уже готово. Комедия должна была называться «Страсть к семи мандаринам», ведь речь шла о неверной и обильнолюбивой женщине, приносящей возлюбленному кислую горечь и едкую сладость. Или лимонам, или грейпфрутам, или просто — *к семи цитрусовым*, но это еще не было решено окончательно; название, ясное дело, до начала работы оставалось рабочим.

Собственно, на почве поэзии Красавчик некогда и подружился с Плешивым и с Кротом; а потом с Прусакон; и со Счастливишкой; и с Придурком; и с Раввином; всего семь гномов... И если б не эта их общая страсть к *Мёду Поэзии*, то ничего бы и не случилось. Жили бы как жили, и все остались бы целы. И любили бы своих белоснежек: каждый свою, а не одну на всех, как потом вышло.

Едва картошка сварилась, Дама принесла в комнату кастрюлю, закутанную в полотенце; она переложила картошку в миску и поставила посреди стола; от картошки шел пар и запах постного масла; Крот как старший разлил по рюмкам водку, которой было много, и сказал, что подумал и *выведет* Прусакон. То есть *приведет*, Крот подчас путал слова. Приведет, хоть и не любит стихи, которые сочиняет Прусак. Точнее, не понимает их. Сам Крот писал длинные хитроspлетенные поэмы, как новый Ариосто, но Прусак считал их старомодными, так что непонимание песен друг друга было у них взаимным. Впрочем, все это выяснилось позже.

В тот вечер они втроем обильно напились водки и были счастливы. Точнее сказать, они были довольны, что все удалось обсудить и обладать. И обо всем договориться. Ибо дело, которое они затеяли, было весьма опасным по тем временам, и приходилось соблюдать осторожность. Но и счастливы были, конечно, как бывают счастливы три симпатичных друг другу русских гнома, когда им удастся сообща славно напиться. Даже если толком договориться ни о чем не удалось. Ведь чаще всего симпатичным друг другу людям договариваться совершенно не о чем.

Когда Плешивый и Крот ушли, Красивая Дама уложила Красавчика на диван, подвинув Юткевича. Она гордилась тем, что знает много штук, приятных талантливым молодым людям ничего-себе; Дама полагала, что тех *женщин-женщин*, которые *хорошо-хорошо* умеют делать такие штуки, талантливые ничего-себе мужчины не бросают *никогда-никогда*. Даже если мужчины еще молоды. Это ее убеждение выдавало тот факт, что, подобно многим красивым дамам, она была далека от Правды жизни; но близка ее Поэзии. Пусть Дама *никогда-никогда* и не читала первый из трех томов воспоминаний иностранного почетного члена Петербургской академии наук Гёте Иоганна Вольфганга.

Но она знала это имя, потому что любила отгадывать кроссворды, и даже имела отдельную подсобную тетрадку с наиболее часто встречающимися пересекающимися словами. В тетрадке значилось и это самое гёте на букву Г...

Пока Красивая Дама проделывала с Красавчиком, глядя чуть голубыми навывкате глазами, всё необходимое для поддержания прочности их союза, Плешивый и Крот добрались до ближайшей станции метро, и Плешивый сказал:

— Ты бы позвонил Прусаку.

На что Крот ответил в том духе, что позвонит, когда доберется до мастерской. При этом он не пояснил, до которой мастерской намеревается добраться: у него была белоснежка — жена Скульпторша и возлюбленная белоснежка Живописец, и каждая имела по собственной мастерской. Но, поскольку у Скульпторши телефона в мастерской не было, Плешивый сообразил, что Крот направляется к Живописцу, поскреб плешь, потербил бороду и сказал:

— Ну-ну.

Они распрощались, каждый ни о чем не забыв и думая каждый о своем.

Да и Красавчик, пока его Дама проделывала то, к чему уж его приучила, ду-мал неотступно о Плане.

Странно, не правда ли, что подчас суетные, в сущности, в сравнении с жизнью леса и неба планы волнуют совершеннолетних гномов мужского пола много больше, чем рябь на воде, или стрекот кузнечиков в поле, или языки пламени в камине, которые непредсказуемы, как судьба. Или облака.

И Плешивый отправился в одну из своих командировок.

Дело в том, что, будучи инженером по образованию, в свободное от сочинения своих виртуозных песен время он подвизался на весьма странном поприще. А именно — разъезжал по всям верхнего мира и заключал с директорами различных предприятий и фабрик договоры на приобретение картин и скульптур всяческих загорелых скульпторов и художников. В порядке выполнения планов, спущенных предприятиям по наглядной агитации и пропаганде. То есть распространял в трудовом народе изваяния Вождя и изображения вождей, что, конечно, несколько не вязалось с его подпольной жизнью и рудной природой.

Но угрызений совести он не испытывал. Все мы жили тогда как бы на двух этажах, а какое-никакое пропитание необходимо и самому непритязательному гному.

Весьма скоро по возвращении Плешивого из его экспедиции, как и обещал Крот, Красавчик, Плешивый, Крот и Прусак встретились в мастерской Скульпторши, именно потому, что там не было телефона; в те времена всякий ребенок знал, что в квартире, где есть телефон, прежде чем приступить к непринужденной беседе, аппарат следует обезвредить; многие для этой цели просто снимали трубку, но это было наивно; ушлые переговорщики поступали иначе, а именно проворачивали диск аппарата и прищемляли его спичкой. Но самые осторожные вообще отказывались разговаривать в помещении, только на свежем воздухе; если же на свежий воздух было никак не попасть, писали на бумажке, обмениваясь с собеседниками лаконичными записками, которые позже следовало съесть или сжечь, — и именно эту-то традицию вспоминал спустя годы Плешивый в своем автобиографическом сочинении. Якобы и на пляже они с Красавчиком переговаривались подобным способом. Нет, память подводит Плешивого, эту традицию завел Раввин, но Раввин появился позже, его тогда еще не было среди нас.

Красавчик, Плешивый, Крот и Прусак сидели в мастерской Скульпторши. Ну вы бывали в мастерских скульпторов: гипс, обломки арматуры, пыль по углам, полутьма, пустые бутылки по полу, какая-нибудь лежаночка, а сбоку — здоровенный стол, на котором какие-то эскизы небрежными стопками вперемежку с немытыми стаканами. В мастерской не было телефона, говорили, как на свежем воздухе, и пили водку. Закусывали остывшими чебуреками, на которых белой пленкой застыли прогорклое масло и бараний жир. Чебуреки продавали рядом, на Сретенке, в двух кварталах от того дома, где Красавчик временно проживал у Красивой Дамы. В те годы, как ни странно, чебуреками, приобретенными в пунктах общественного питания, никак невозможно было отравиться. Особенно если запивать их обильно водкой.

Рядом с чебуречной была и церковь. Не зная ее названия, Плешивый украдкой перекрещивался на купола, коли шел есть чебуреки в мастерскую белоснежки Крота. Украдкой потому, что на улице был еще тот режим, который не крестился. А уж при том, который принялся креститься на фонарные столбы, никакой План уж не имел бы смысла.

Чистая наивность была свойственна гномам тогда. Кто ж не знает, что в мастерских скульпторов — крестись не крестись — обычно очень мало свежего воздуха. И разговаривать там, полагая, что ты находишься *на свежем воздухе*, было верхом прекраснотушия. Но гномы были поэты, а где виданы осторожные и предусмотрительные поэты? Хоть и вовсе нельзя сказать, что судьба наша была предрешена этим околупоэтическим обстоятельством, вовсе нет.

Впрочем, Прусак не пил водку. Он ходил гоголем, штаны заправлены в сапоги, ношенный свитерок, лысинка, очки то и дело ползут по носу. Водки он совсем не пил, то есть ни грамма. Чувствуя, что это вызывает недопонимание его новых друзей, более того, видя, что это их не на шутку интригует, Прусак объяснил, что иногда любит выпить бутылку пива. А водки ему пить никак нельзя из медицинских противопоказаний, поскольку в детстве он сильно хворал. И он спел такой стих:

Вот водочки совсем не пью,
 И Пушкин тоже водки не пил,
 И Лермонтов один шато-лафит,
 И Блок в бокале золотой ай,
 Закусывая черной розой,
 А вот поди ж как любит НАС народ.

Прусаку Красавчик показался эдаким суперменом. Красавчик носил тогда немислимый какой-то костюм со шнуровкой, сшитый, похоже, из тонкой мешковины, — костюм ему прислала из далекой страны, куда она отбыла с мужем, изменщица возлюбленная. Вместе с бутылкой шотландского виски — в порядке компенсации, так надо понимать. Еще Красавчик носил заливчатую клетчатую кепку, которую не снимал и в гостях. И все это: и свитерок, и очки Прусака, и кепку Красавчика, и лысину Плешивого, и тонкое породистое лицо Крота, и густую черную бороду Раввина, и иконописный лик Счастливого, и задвинутую назад нижнюю часть лица Придурка, — можно увидеть сегодня на двадцатилетней давности черно-белой фотографии, сделанной тогда, когда вся команда собралась, но даже Альбом еще не был готов. Пятеро гномов смотрят гоголем, но грусть на лице Крота и грусть на лице Счастливого. Будто они уже все предчувствовали. Эту фотографию сделал один известный в те годы фотограф, но когда события стали разворачиваться так, как они стали разворачиваться, он на смерть перепугался и уничтожил негативы. Зря, сегодня они дорого бы стоили. Так что фотографию эту можно увидеть нынче лишь в смутном фотографическом исполнении в забугорном издании Альбома, которое состоялось-таки. Но это будет много позже.

Итак, Прусаку Красавчик с первого взгляда показался суперменом и весельчаком, что называется, там на свету, — *рубахой-парнем*. Такой мужественный-безрефлексии, какие ж стихи он может писать? В свою очередь, Красавчик видел Прусака лишь однажды на чтениях, сидя в публике. Он не понимал прелести стихов Прусака, удивляясь аплодисментам зала. Ему представлялось, что Прусак лишь более или менее артистично кривляется и острит. Все дело было в том, что в детстве бабушка Красавчика читала ему вслух «Руслана и Людмилу», и «Мцыри», и «Соловьиный сад»; а про Белоснежку говорила, что у той ангельский голосок, всегда чистый передник и она ждет не дождется принца, который должен прибыть с минуты на минуту и взять ее в жены. И что этим принцем он, ее внук, и станет. Красавчик так и пошел по жизни, полагая какой-нибудь трехдольный амфибрахий с однодольной анакрузой не просто *таким сговором* между весельями и свободными людьми, какими они, по слухам, были некогда под небом солнечной Эллады, пусть, мол, вольные граждане, эпикруза сегодня будет двухдольной, но — обязательным условием дыхания чистой Поэзии; а правильное краесогласие — непременным признаком хорошего стиха. Красавчик, что поделать, был слаб в модальной логике, нелюбознателен, ему было и того довольно, что он некогда узнал от бабушки. И ведать не ведал, что такое эпистемический парадокс.

Когда чуть выпили водки и посвятили Прусака в План, тот как-то задумчиво обрадовался, если такое возможно. И почесал в бороде. Друзья ждали, еще разлив, чтоб скоротать паузу. И вот что сказал Прусак:

— Ведь все мы в некотором смысле существа *хтонические*.

И потом:

— И, так сказать, никогда не видели яркого света.

И еще:

— Поэтому *Наш План*, мне представляется, вполне соответствует выше-сказанному...

И даже если бы он не говорил ничего больше, и так было бы ясно, что он согласен. Ведь он произнес слова *Наш План*.

Едва решили, что Прусак приведет Счастливчика, итого уже пять человек, как в мастерскую явилась хозяйка-Скульпторша, белоснежка Крота, а с нею еще три-четыре неизвестных человека. По их загару сразу было видно, что все они оттуда, с яркого света, и уже одно это никак не могло понравиться гномам. Неизвестные дышали здоровьем и были без бород, при этом очень большие, и один такой большой, что друзья его так и называли — Слон. Плешивый, который был самым осторожным, засобирался вон, подтолкнув под столом Красавчика. С сожалением Красавчик тоже поднялся, хоть и оставалось еще много водки и несколько чебуреков, правда, остывших. Но вовремя сообразил, что как раз напротив красивого дома его Красивой Дамы, у которой он временно проживал, есть красивая стеклянная рюмочная, где стаканчик водки стоит вовсе не дорого, а к нему подают бутерброд с селедкой. Он хотел было откланяться, но его задержала довольно забавная сцена: Скульпторша и Прусак стояли друг перед другом в явном замешательстве.

— Ты как здесь? — произнесла Скульпторша, жена Крота, для которого эта сцена тоже была в диковинку.

— Я так, — находчиво ответил Прусак и пощипал застенчиво себя за бороду.

— А, — нашлась и она. И пояснила мужу: — Мы же в одной группе учились.

Прусак в свое время действительно учился вместе со Скульпторшей. Но та заделалась монументалисткой, а Прусак лепил игрушки, был специалистом по малой скульптуре. Как-то ему перепал заказ на изваяние Крокодила Гены для детского сада. Комиссия не приняла работу: кто-то из райкома заметил, что крокодилы не носят калоши. Прусак не стал возражать и калоши с крокодила снял. Потому что должен был зарабатывать на жизнь себе, своей белоснежке, преподавательнице иностранного языка, а также тогда еще маленькому Прусаку-младшему. Хоть и был он одним из нас, хранителем сокровищ, но в те годы разменивать их время еще не пришло...

И Прусак вежливо попрощался с бывшей сокурсницей, и она в ответ небрежно махнула ручкой.

На том все и кончилось, Плешивый с Красавчиком и Прусак с ними покинули мастерскую Скульпторши. А большие загорелые ребята со свежего воздуха и яркого света — помощники Скульпторши, как оказалось, — сели допивать оставшуюся водку в компании Крота...

Красавчик был давно знаком со Счастливчиком. Красавчик вообще был со многими знаком в подпольном мире, такой уж он был веселый и общительный. Правда, со Счастливчиком его *ничего не связывало*; кроме того, что Красавчику очень нравились стихи Счастливчика, хоть и написаны они были вольно; так ведь и Блок, автор поэмы «Соловьиный сад», которую некогда читала Красавчику его бабушка, писал: *вот девушка, едва развившись...* Верлибр, не иначе. Поэтому, когда была назначена встреча уже вдвоем, Красавчик приехал к Счастливчику в Кунцево загодя, и уже вдвоем они поджидали остальных гномов. Приехал не без задней мысли, обаянный нешуточными опасениями, что Счастливчик от затеи откажется.

Опасаться за сговорчивость Счастливчика были веские основания.

Ибо Счастливчик несколько последних месяцев разрабатывал совсем другой план — Жилищный. И уже все продумал. Его небольшая двухкомнатная

квартира имела три окна, и все на одну сторону. В хорошую погоду, нежась на балконе в шезлонге под послеполуденным солнышком, медленно выплывавшим из-за угла, Счастливчик досадовал, что утреннее солнце ему приходится пропускать. Так уж смотрели его окна — на запад. У его же соседки по площадке, живущей за стеной, солнце глядело в окна как раз по утрам. Соседка была простая баба лет под сорок, какая-то диспетчерша, что ли, автобазы, одна воспитывала сына, которому уж стукнуло шестнадцать с половиной и, того гляди, его могли забрать в армию. Собственно, мечтания Счастливчика обращены были не только и не столько к утреннему светилу.

Счастливчик в глубоком и мучительном одиночестве изо дня в день складывал свои виртуозные песни, сидя в кресле и по-женски поджав ноги; он держал на коленях старую школьную чертежную доску, на которой устраивал свой блокнотик. Он писал бисером, буква к буквке, и выходила томительная вязь, которую разгадать мог только он сам. Его одинокие занятия напоминали вышивание по канве. Кстати, одна из его песенок называлась «По канве Рустама». С этим самым Рустамом, гномом, теперь скандально известным и в забугорье — поговаривали, его ценил сам Феллини,— у Счастливчика были связаны какие-то мучительные воспоминания, и иначе как *гад* он его не поминал. А вот песенка, сложенная, видно, в их счастливый период, выжила, и слова из нее уж было не выкинуть.

Счастливчик несколько раз уже приглашал юного соседа и его подружку к себе — как добрый дядюшка-сосед. Он внимательно приглядывался к мальцу, иногда, подавая рюмку или закуску, наклонялся поближе, чтоб вдохнуть запах юношеских подмышек. Девушка его не интересовала. Разумеется, Счастливчик не мог не вспоминать аналог: некогда его предшественник в схожих поисках утolenия запретной страсти женился на матери предмета, вызывавшей в нем лишь жгучее отвращение. Пол предмета, разумеется, не имеет никакого значения — важен сюжет. В ситуациях Счастливчика и Гумберта Гумберта была и еще одна рифма — автомобильная. Ведь, повторим, соседка служила на автобазе, и шанс угодить как-нибудь под колеса у нее был еще выше, чем у мамыши Лолиты.

Так вот, если объединить квартиры — его и соседскую,— пробить стену, то солнцу будет некуда деваться, и оно послушно, идя по кругу, будет освещать обновленное жилище со всех сторон с утра до вечера. Короче, Счастливчик, как и положено сладкоголосому певцу, был немного фантазером. Иногда перед сном, уже закрыв глаза, он воображал, что сделал бы, коли был бы у него миллион. И ничего не мог придумать. Разве что подарить другим гномам много ярких подарков, а остальное раздать восхитительным юношам, блондинам, брюнетам и рыжим, от которых пахнет дворовым футболом, новенькими кирзовыми сапогами и пряниками на меду. Когда к нему заявился Красавчик, Счастливчик все еще мечтал о квартире с окнами на все стороны...

Красавчик, упреждая общий разговор, осторожно изложил Счастливчику суть дела. Он начал издалека, напирая на то, что вот, мол, как было бы хорошо спеть вместе на свежем воздухе, чтоб всех нас услышали загорелые простые люди. Нельзя же до смерти сидеть впотьмах, в спертости, духоте и безвестности. Нельзя же до бесконечности читать друг другу стихи в крошечной тьме пещеры, что дурно отражается на вдохновении. Все это Красавчик облек в форму жалобы, говорил как бы только о себе и собственных чувствах. Но он знал, как безмерно тщеславны все мы, гномы, и что каждый самый одинокий, самый смиренный гном втайне мечтает об известности, а может быть, даже и о славе. Тихой осенней славе, которая только и приличествует среднего возраста гному, поспевшему себя уютным кабинетным занятиям.

Счастливи́чик слушал молча. Он думал о том, что ему скоро сорок и в сорок он будет совсем старик. Иные, из *мужинок*, быть может, на пятом десятке только начинают цвести, а у него уж и теперь морщины. Но морщин ему никак нельзя, юные бестии не любят пожилых, только фырчат и морщатся, норовисто прядают в сторону, коли попытаться ласково погладить их по голове. К тому ж за последние полтора десятка лет он уже спел что хотел. Как он сам же и написал когда-то:

А не расплакаться ли нам...

Вот именно — нам! В одиночку он никогда бы не сунулся на яркий опасный свет. Но в доброй компании таких, как сам, гномов, отчего б не дерзнуть?.. Так говорил сам с собою Счастливи́чик, когда раздался звонок и в квартире очутились еще трое.

Слово, после того как все пятеро гномов церемонно друг с другом расла-нялись, взял самый старший — Крот. Обрисовав в общих чертах План, Крот выразил уверенность в успехе предприятия. Соображения его были таковы. Страх загорелых, мускулистых людей перед нами, гномами, — следствие чистейшей воды предрассудков и древних смешных суеверий. В самом деле, какую мы, гномы, с нашими песнями можем представлять опасность *их* стройному мощному распланированному солнечному миру? А ведь мы там, наверху, можем оказать-ся весьма полезны. Наша задача: выйдя на поверхность, заставить *их* понять это...

Позже мы все ломали головы: верил ли сам Крот в то, что говорил в тот знаменательный день? И повторял потом не один раз. Вплоть до того, когда разворот печальнейших событий не оставил гномам места ни для каких иллюзий.

Или Крот лишь пытался подогреть решимость остальных?

Гномы загалдели, едва дав Кроту закончить. Самым непримиримым оказался Красавчик. Он, жестикулируя и кипя, говорил, что никогда еще они, подпольные гномы, не шли ни на какие компромиссы с верхним миром, полным моральных соблазнов. «Вы же знаете, какие там поют песни! — восклицал Красавчик. — И появившись мы на свет с такой вот соглашательской программой, *они* в лучшем случае заставят нас петь, как все...» Красавчик так и выразился — соглашательской, откуда-то с университетских семинаров по славной истории верхнего мира залетело к нему, должно быть, это словцо.

— А в худшем? — спросил Прусак невинно.

И тут все пятеро немного помолчали и поправили колпачки. О худшем нам тогда не хотелось думать.

— Худшего не будет, — заявил Крот, — *они* ждут от нас как раз такого шага — навстречу. Да, на известный компромисс мы вынуждены будем пойти. Но — и это моя основная идея — мы и не будем просить петь на площадях и стадионах. Мы попросим для себя лишь скромную площадку — так и назовем ее: Площадка Гномов. В конце концов *они* тоже любят нашу Белоснежку. И знают, как верно мы ей служим.

— Положим, у них одна Белоснежка, у нас другая, — заметил Плешивый, чеша в бороде.

Но слово за слово — и все пятеро достигли согласия. Тактика Крота была принята за основу реализации Плана. Оставалось лишь привлечь двух остальных участников, за которых волноваться не приходилось. Сговорились: Раввина берет на себя Плешивый, Красавчик оповещает Придурка.

Раввин был очень крупный гном. И борода у него была крупная, черная, с проседью. Он говорил, что она отросла, когда ему сравнялось три года, а уже к семи в ней появились серебряные нити. Раввином его звали за то, что писал он свои песни на манер псалмов. Причем были у него весьма причудливые произведения, которых никто из гномов толком не понимал. Скажем, такое:

Вечерняя молитва Ложкомой
Ты слышишь, слышишь меня,
Ложкомой мой правды моей,
Дал мне силы домыть,
Так помилуй.

Понимать никто не понимал, никто не ведал даже, кто такой Ложкомой, но чудилось в песнях Раввина нечто значительное, крупное, как он сам. Легкомысленный Красавчик, правда, во хмелю задорно утверждал, что Раввин — самый обыкновенный графоман, и тогда Плешивый сердился и ворчал, что не нам судить ближнего своего, что и без нас судей там, наверху, найдется, хоть отбавляй.

Как и Прусак, Раввин водки тоже не пил. И тоже — по здоровью, у него была язва. Зато он всегда носил с собой бутылку кефира и пакет чищенных грецких орехов. Раввин очень-очень любил всяческих белоснежек, как правило, из своего же НИИ, где служил младшим научным сотрудником, хоть и имел степень кандидата химических наук, — гномы вообще, как известно, очень сноровисты по дамской части. Раввин беспрестанно жевал орехи — для повышения потенции. При всем том это был прекрасный и нежный семьянин, отличный муж, заботливый отец и внимательный сын. Семья из четырех человек — Раввин, его хрупкая жена с несколько трагическим взглядом терпеливой козы, прыщавый сын-школьник и большая теща — занимала вполне приличную по тем временам кооперативную пещеру, всю пропахшую особым настоявшимся домашним духом: это были запахи лекарств, застарелых болезней, лежалого белья и старенькой мебели, которую протирали уксусом.

Здесь была и еще одна особенность — тут и там стояли ветхие, ободранные чемоданы, баулы, тюки, а между ними связанные в пачки книги по электрохимии, справочники по электротехнике и англо-русские словари. Все это увидел Плешивый, едва переступив порог жилища Раввина, и его слегка замутило с непривычки.

С Раввином была связана какая-то смутная история: однажды он решил было покинуть подземный мир да и вообще саму нашу страну, но, кажется, передумал. Он говорил, что однажды ночью проснулся в испуге и понял, что если там, наверху, его песни никому не нужны, то и за океаном вряд ли кто-нибудь будет их слушать.

Все это припомнилось Плешивому, и тот подумал, что это нагромождение — следы сборов к несостоявшемуся отъезду, следы, которые еще не успели стереться.

Едва Раввин вывел Плешивого на улицу — он не доверял и стенам собственного дома, — как схватил приятеля за рукав. Плешивый еще и слова не успел произнести, как Раввин выпалил:

— Надо что-то срочно предпринимать!

И это притом, что Раввин был очень рассудительный гном, не склонный к авантюрам. Но что делать: по-видимому, псалмы требовали выхода, рвались наружу, ведь даже самым осторожным гномам в какой-то момент становится невтерпеж спеть как можно более громко, чтобы их услышали далеко за пределами их подпольной обители.

У Раввина была одна особенность: если он говорил возбужденно, то изо рта у него летели маленькие фонтанчики слюны. Вот и теперь, когда он прокричал

в лицо Плешивому *надо что-то предпринимать*, несколько капелек Раввиновой слюны застряли у Плешивого в бороде. Плешивый тайком утерся; ему стало ясно, что Раввин готов присоединиться к Плану хоть сию минуту.

Красавчику с Придурком было и вовсе легко. Едва он произнес первые, вводные слова, как у того загорелись глазки и он чуть было не бросился Красавчику на шею. Он заставил еще и еще раз перечислить состав участников, и было видно, как он польщен, — Придурок вообще был невероятно тщеславен. Дело в том, что и в сладком сне он помыслить не мог, что когда-нибудь окажется в такой компании, где были и Плешивый, и Крот, и Прусак, и Счастливчик. Впрочем, это был начинающий гном, *молодой певец*, он сравнительно недавно уже в солидном возрасте спел свою первую песню. Причем нельзя сказать, что это получилось у него слишком благозвучно. И Красавчику еще пришлось уговаривать остальных согласиться на эту кандидатуру — впрочем, в разговоре с Придурком он об этой своей роли скромно умолчал. Тем более что Плешивый, скептически относившийся к неوفитам, предложил сначала послушать, что Придурок *покажет*, а там уж и решать. Так что Придурок был приглашен, так сказать, с испытательным сроком. Забегая вперед, скажем, что позже главным защитником песен Придурка оказался, как это ни удивительно, самый рафинированный из нашей компании — Счастливчик. Впрочем, парадокс объясним: Придурковы песни были вульгарны, а противоположности, как всем известно, тянутся навстречу одна другой.

Одно смущало Красавчика. Хорошо зная характер Придурка, *демонстративный*, как сказали бы врачи, трудно было рассчитывать на Придуркову осторожность. Наверняка он примется бахвалиться перед посторонними Планом, а значит, все быстро станет известно *сами знаете кому*. Кроме того, Придурок был женат на очаровательной белоснежке, хрупкой, но сильной характером актрисе, причем довольно известной, правда, несколько пьющей. Это объяснялось тем, что вся родня ее из поморских крестьян, оказавшись в Москве, сильно зашла. А кое-кто — скажем, старший брат — и вовсе сгорел в алкогольном пламени — как свеча на ветру истории переселения великого крестьянского народа.

Так вот, любая придурковатая неосторожность могла сильно навредить его белоснежке; скажем, ее могли перестать пускать на гастроли в иноземные места, даже в те, где царила народная демократия, а то и вовсе не давать новые роли.

Но что поделывать, все мы тогда рисковали — не только собой, это-то был наш добрый выбор, но и благополучием близких. Даже хороших знакомых, такие уж были времена...

Здесь пришла пора сказать пару слов о том, зачем вообще мы составили тогда столь рискованный План. И вот вам весьма забавный с точки зрения наших дней документ — не будем цитировать его слишком подробно, — подписанный именами трех гномов-затейников: Красавчика, Крота, Плешивого, — по-видимому, соблюдался алфавитный порядок. Адрес — ЦК КПСС. Начинается документ так: «Союз песен не имеет ни одной экспериментальной творческой студии, не выпускает ни одного журнала или альманаха, посвященного исключительно опытам и исканиям гномов различных поколений». И, чтобы у ЦК не возник соблазн вольного толкования, следует разъяснение: «Термин «экспериментальное» мы употребляем в широком смысле, подразумевая песни, носящие новаторский характер как по применению новых средств, так и по использованию нового материала, нового угла зрения». Смешно, какие же еще у гномов там, под землей, могли быть средства, которые на свету не оказались бы

новыми... Характерен и стиль послания, он выдает наивное желание гномов говорить с верхним миром, подражая его языку, чтоб лучше донести смысл, ведь друг с другом гномы никогда бы так не заговорили. Так что, как видим, поначалу идеи Крота были ведущими, Крот заразил остальных своей убежденностью, что с *ними* можно договориться.

Прежде всего аккуратные и предусмотрительные гномы изготовили четыре красиво оформленных экземпляра Альбома, в который поместили избранные песни всех семи участников. Процесс изготовления происходил в квартире Придурка: тот с удовольствием взял на себя техническую работу по перепечатке текстов, желая подчеркнуть свою незаменимость в реализации Плана — не мог не чувствовать, что покамест в компании он на птичьих правах. Едва экземпляры Альбома были готовы, а гномы отправили уже цитированное письмо, приложив к нему в качестве образца один из экземпляров, их всех охватила странная эйфория. С самого начала зарождения Плана все семеро пребывали в приятном возбуждении — как ни крути, но этот стговор привнес в их подпольную грустную жизнь привкус опасного приключения. Кроме того, живя до того всякий более или менее сам по себе, теперь каждый почувствовал себя членом общества себе подобных, выпренье выражаясь — плечо друга, а это в подземном мире дорогого стоит. Да и в надземном, кажется, немало.

И Белоснежка незримо все время была где-то рядом.

Так вот, почувствовав приподнятость, помноженную на новое чувство спянности, гномы решили все вместе отметить свершение Плана. Причем не дома, в пещере, а — что с ними нечасто бывало — в ресторане. Заведение подсказала белоснежка того же Придурка — театральный ресторан, ведь была она, как сказано, актрисой.

В тот вечер Придурок чувствовал себя прямо-таки премьером. Во-первых, это он собственными руками изготовил экземпляры Альбома. И в собственном же доме. Во-вторых, это его собственная жена договаривалась с метрдотелем о столике, и она же делала заказ, поскольку ее здесь все знали, а обслуживавший их столик официант был с ней на «ты». Так что если остальные гномы были лишь приятно возбуждены, то Придурок пребывал прямо-таки в экстазе.

Худшие опасения Красавчика оправдались в тот же вечер.

Едва Придурок выпил рюмку коньяка, он захмелел и вовсе перестал сообщать. А хмелел он сразу же, пить совсем не умел, впрочем, и трезвел через пять минут, причем у него тут же начинала раскалываться голова. Так вот, захмелевший Придурок стал скакать от столика к столику — у него, *по жене*, так сказать, водились знакомства в театральных кругах — и шепотом, *по секрету*, возбужденно рассказывать полужнакомым людям, какой замечательный План он придумал. С друзьями, конечно. И вот Придурок добрался до столика, за которым сидел славный мудрый гном, известный своими прелестными, не без едкости, впрочем, песнями, которые он под гитару исполнял в узком кругу. Мудрый гном попросил Придурка успокоиться. Он попытался вникнуть в сумбурное хвастовство полупьяного гнома, потом острым глазом обвел зал ресторана, положил Придурку ладонь на плечо и сказал только два слова: «Ждите обыска».

Ждите обыска.

На следующий вечер гномы запланировали сверхважное мероприятие. Дело было в том, что идея компромисса, которую выдвинул Крот, хотя и была взята на вооружение, но остальных все-таки не покидали сомнения. Да и предупреждение опытного гнома-барда, имевшего богатый опыт контактов *сами знаете с кем*, этот скепсис лишь подтверждало. И было решено подстраховаться. Тем более что так издавна поступали многие славные гномы — от Пастернака и Гроссмана до участников «Метрополя», — так что это была сложившаяся традиция: таким способом распорядиться песнями, сложенными в подполье.

Итак, на другой день после праздника в ресторане ВТО один из экземпляров Альбома был положен в машину Раввина — у него одного из всей компании была машина — с тем, чтобы отправиться на встречу с одним иноземным господином, который должен был переправить Альбом *за бугор*, как тогда выражались. В операции принимали участие Плешивый, Красавчик, Придурок и, как сказано, Раввин. Машина стояла во дворе дома Придурка под парами, а Плешивый отлучился к ближайшему телефону-автомату, чтобы сделать контрольный звонок этому самому господину, — из квартиры звонить было неосторожно. Едва он скрылся за углом, как машину Раввина с двух сторон зажали две черные «Волги». Из них вышли вальяжные господа в темных пальто и шляпах и не спеша стали приближаться. И тут Красавчик, мигмом все сообразивший, с ужасом вспомнил, что к экземпляру Альбома было приложено письмо Крота к забугорному потенциальному издателю. Красавчик правой рукой нащупал папку с Альбомом, развязал тесемки, взял верхний листок — письмо лежало сверху, — скомкал его и сунул в карман: выбросить времени уже не было, темные господа окружили машину, а один проверял у Раввина документы. Представившись работниками МУРа, двое втиснулись на заднее сиденье, еще один сел от Раввина справа, на место, на котором только что сидел Плешивый, и поступила команда трогать. Приехали к ближайшему отделению милиции. Когда гномов вели затылок в затылок в околоток — господин, шедший впереди, аккуратно нес папочку с Альбомом, изъятую из автомобиля, — Красавчик изловчился незаметно выбросить скомканный листок в полную мусора урну, стоявшую перед входом в отделение.

Впрочем, как выяснилось, это была пустая предосторожность — личного обыска не проводили. Гномам объяснили, что в районе произошла кража, а по приметам автомобиль Раввина точь-в-точь похож на описание машины злоумышленников. Впрочем, наверное, произошла ошибка. И гномы могут расходиться по домам. *А как же наша папочка?* А папочка пусть побудет у нас, потом получите.

Зачем был весь этот камуфляж? Отчего эти *сами знаете кто* представились милиционерами? Наверное, тем, кто *там* служит, присущ известный артистизм: ведь их работа связана с псевдонимами, переодеваниями, мимикрией и постоянным лицедейством.

Забавно, что, едва они вышли из *ментовки* и Красавчик рассказал друзьям о судьбе опасного письма, осторожный и всегда рассудительный Раввин предложил вернуться и на всякий случай эту самую урну у входа в отделение поджечь. Его едва отговорили.

Вернулись на квартиру Придурка, актриса открыла дверь. Обычно грустная, как Пьеро, сейчас белоснежка Придурка была чуть под банкой, возбуждена и весела. «*Они* только что ушли! — сообщила она радостно, хотя чему здесь

было радоваться.— Обшарили весь дом. Но — *не нашли!*» — И она торжественно, блестя глазами, как после удачной премьеры, вытащила из-под матраса заветную папочку с экземпляром нашего Альбома — этот-то экземпляр вскоре все-таки и пересек границу верхнего мира и ушел в намеченном направлении.

«События, произошедшие буквально через два дня после вручения нами письма по адресу, — писали все семеро гномов уже наутро в ЦК на имя тов. Зимянина, — обескуражили нас». «Обескуражили», конечно, было сказано для красного словца, подобные жалостливые обороты входили в правила игры.

Ответ последовал незамедлительно — *вежливый* ответ. Многочасовой обыск прошел на квартире Красавчика, который к тому времени уже покинул комнату с камином, хотя еще и посещал время от времени Красивую Даму. У него вынесли все до единой бумажки, включая пачку чистой бумаги. И две пишущих машинки.

Случился обыск и в пристанище Плешивого. Он со своей белоснежкой квартировал тогда в пещере, служившей мастерской одному старому-старому гному, занимавшемуся резьбой по дереву. Это был обаятельнейший мудрый гном, много повидавший на свете такого, что и в дурном сне не приснится. Он видел пересылки, тюрьмы и лагеря, едва не умер под Воркутой, куда зеки тянули тогда в лютые заполярные морозы железнодорожную ветку. И при всем том это был веселый гном, не без жовиальности даже, и это в его-то возрасте. Он с великолепной лихостью охмурял барышень на бульваре, годившихся ему во внучки, не предлагая, конечно, платной любви, а лишь свое безмерное обаяние. Некогда он дружил с Платоновым, а когда Красавчика впервые привел к нему один гном — автор кабацких песен, старик старательно вырезал на деревянной чурке профиль Владимира Владимировича Набокова. Он был иной породы и прежнего поколения, крепкий, как столетний пень, при этом нежный, добрый и романтичный. Лагерные привычки переплавились в нем в какую-то уютную безбытность, и, помнится, только в его мастерской было так вкусно закусьивать водку квашеной капустой, беря ее щепотями со старой, расстеленной на рабочем столе газеты.

Так случилось, что, когда *они* ввалились, в мастерской самого Плешивого не было, только его белоснежка и сам хозяин-скульптор.

Как стало известно об обыске Красавчику — нам невдомек. Но так или иначе он среди ночи примчался в пещеру скульптора на такси. *Они* уже ушли, конечно, — как ни странно, но в те годы соблюдались известные формальности, в частности, по правилам обыски не могли проводиться позже одиннадцати вечера. В данном же случае это правило было нарушено: обыск шел почти до трех ночи. А под утро явился и Плешивый: как оказалось, почуяв неладное, он в мастерскую не пошел, а ошивался до утра где-то поблизости, опасаясь ареста. Вчетвером они дождались открытия магазина, купили водки и весело позавтракали. Здесь одна психологическая странность: никто не чувствовал никакой подавленности. Даже белоснежка Плешивого, вскоре ставшая его женой — на всю жизнь. И это при том, что дело принимало скверный и опасный оборот.

По-видимому, в воздухе уже витало предчувствие крутых перемен. И уже сам этот запах надвигающейся новой эпохи будоражил и пьянил. Кроме того, каждый поодиночке, быть может, и впал бы в грех уныния, но нас было семеро, и одновременно много больше, и было еще живо единство всех складывавших вольные песни, всех, алкавших меда Поэзии, гномов тогдашнего подземного мира.

Счастливи́чика не обыскивали. Но в те же дни к нему в дом явился участковый милиционер. Не искушенный в играх с властью Счастливи́чик открыл на звонок дверь. Увидев перед собой сапоги и мундир, он грохнулся в обморок. Быть может, это был микроинфаркт, на один шагок приблизивший его к ранней смерти. Очевидно, Счастливи́чик несколько отступил назад, оторопев от вторжения, потому что, падая, разбил локтем стекло кухонной двери. И здесь нужно понять, сколько мужества он проявил, присоединившись к Плану, — при его-то незащищенности и чувствительности. Счастливи́чик был воистину смелый гном. Гном чести, если можно так сказать.

И начался форменный фарс. После всех этих обысков и визитов власть принялась играть с гномами в странную игру. С одной стороны, некие инстанции, призванные управлять песенным процессом верхнего мира, вызывали зачинщиков, подписавших первое письмо — Красавчика, Крота и Плешивого, — на беседы о сладкопечестве. Кстати, на одной из таких бесед кромешный номенклатурщик — позже его сняли за взятки — воскликнул: «Да как же вы хотите устроить Площадку Гномов, когда среди вас есть такие, как Раввин?!» Тогда-то мы и узнали, что Раввин все это время лукавил — он не оставлял своего намерения *свалить*, хоть нам об этом и не говорил. Кстати, вся эта история с Альбомом ему очень помогла, и уже через месяц он был выкопан из подполья, к которому, кстати, принадлежал номинально, и к его восторгу выдворен в несколько суток именно туда, куда так рвался и куда его, как выяснилось, уже два года как не отпускали. А ведь он рассказывал, что отказался от своего намерения сам, по зрелому размышлению. Впрочем, никто не затаил на него обиды, и остальные гномы устроили ему веселые и дружеские *проводы*.

Так вот, с одной стороны, верхние власти вели с гномами мирные переговоры. С другой — каждого гнома по отдельности то и дело вызывали на допросы *сами знаете куда*. Допросы эти сводились к профилактическим беседам, в которых угрозы чередовались с посулами. Одному пообещали *не перекрывать кислород*, то есть не лишать средств к существованию, — он подвизался внутренним рецензентом одного толстого журнала. Другому посулили, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет пределов родины и не увидит *забугорного* мира. Третьему сделали комплимент, что, мол, мы знаем, чего стоят ваши песни, и высоко их ценим, но, что делать, вы попали в наше поле зрения, когда были еще совсем юны, и у вас очень плохое досье. И так далее. Все эти беседы кончались одинаково: каждого из гномов просили подписать бумажку вполне анекдотического содержания. Называлась эта филькина грамота, не имевшая никакой юридической силы, Протокол Предупреждения. Суть сводилась к тому, что такой-то предупрежден и в случае повторения соответствующих деяний им будет заниматься прокуратура. Кое-кто из гномов подписал, кое-кто отказался, причем, никакого значения это не имело.

Не вызывали для бесед только Раввина, и это понятно, поскольку тот уже находился со всем семейством в славном городе Вене, столице вальсов и Моцарта, а заодно перевалочном пункте для соплеменников Раввина, навсегда покинувших здешние кущи. Многие из них никогда не покидали черты оседлости и везли с собой на всякий случай кошерных кур, которых ощипывали в туалете венского отеля. К полному недоумению хозяина приюта. И Раввин теперь беседовал с совсем другими ведомствами, ибо вовсе не стремился попасть в Вечный город, а глядел только за океан. Впрочем, впереди его ждал и другой вечный город, в который, как известно издревле, ведут все дороги. И, отдохнув на берегу моря, Раввин попал-таки в антиподы. Забегая вперед, скажем, что мечта его сбудется, он будет жить в Нижнем Манхэттене на улице Саус-энд. И из окна

его квартирки ливинг-рум, плюс бед-рум, плюс *половина ванной*, душ по-нашему, будет видна статуя Свободы.

И сбудется мечта каждого из гномов, вот только у некоторых лишь после смерти.

Потому что, если точно знать, о чем мечтаешь, наверняка достигнешь цели. И каждый получит свое, только ему предназначенное. Не сомневайтесь — каждый. И это с какой-то стороны даже грустно, ибо несбывшиеся мечты краше и пронзительней любых состоявшихся надежд...

И не вызывали Придурка, что было странно, но очень скоро логично объяснилось.

В некотором смысле План гномов сработал. И они действительно вышли на свет Божий, кое-что получив в верхнем мире, впрочем, не совсем то, на что надеялся Крот. А именно то, чего каждый из них в душе так опасался. Впрочем, во всем есть своя солнечная сторона, и песням гномов оказалась обеспечена бесплатная и добротная реклама. Ибо к ним стали захаживать забугорные корреспонденты, а их творения петь забугорные *голоса*.

Умер Счастливчик.

Первым из семерых.

Его сердце не выдержало, и он умер на улице от сердечного приступа. Он шел по улице, нес подмышкой свое последнее сочинение — машинистке для перепечатки. Вдруг зашатался, прислонился к стене ближнего дома, медленно сполз вниз и сел на грязный тротуар. Самые пронзительные минуты его сорокалетней жизни вспомнились ему. Он выронил рукопись, и листочки полетели по улице, как маленькие белые флажки, и раскатился по мостовой бесценный бисер. Это была счастливая смерть настоящего Гнома. И Белоснежка невидимо миру поцеловала его в остывающее чело.

Красавчик и Придурок, едва узнав о случившемся, проникли в опустевшую квартиру Счастливчика — его тело уже свезли в морг — через балконную дверь. Она оставалась открытой, потому что стояла страшная июньская жара, и многие люди, слабые сердцем, отдали тогда Богу души. Красавчик и Придурок залезли в эту богомную нору, каким-то образом подобравшись с крыши, и с болью еще раз оглядели убогое жилище своего покойного друга. Они оба его очень любили. И их сердечки щемило, когда они новыми глазами, в отсутствие — уже окончательное — хозяина, смотрели на нищую обстановку, две продавленные тахты — по одной в каждой комнате, размалеванные одной из сумасшедших поклонниц, самодеятельной художницей, стены, треснутый чайник с заплесневелой заваркой на кухонном столе, полуразрушенное кресло наконец, в котором и сочинял Счастливчик, по-женски поджав ноги. Письменного стола у него никогда не было. Зато было пианино, на котором Счастливчик не умел играть, но в которое исправно засыпал махорку, чтобы предохранить струны от нападения моли... Прослезившись, Красавчик и Придурок дрожащими руками собрали тетрадки с бисером Счастливчика и ушли тем же путем — через балкон. Они хотели опередить *сами знаете кого*, с тем, чтобы сохранить этот тощий, но бесценный Архив. Тщетно, вскоре всё, что они с волнением и риском унесли в пещеру Придурка, прихватили на обыске *сами знаете кто*. И Красавчик потом сто раз пожалел, что не отвез архив Счастливчика в свою берлогу. Потому что в тот же день, сразу после второго обыска, Придурка забрали.

На отпевании и на похоронах Счастливого было всего пять гномов. Из семи. Но была огромная толпа тех, кто, оказывается, любил его при жизни. Остается удивляться, сколь одиноко живут некоторые гномы да и некоторые загорелые люди, тогда как по смерти у них обнаруживаются толпы поклонников, поклонниц, неутешных бывших любовей, друзей, учеников. Где, где мы все бываем, когда ленимся лишней раз поднять телефонную трубку? Где мы, когда те, кому так плохо без нас, немо называют наши имена?

Отпевание проходило в большой церкви на Ордынке. Под треск свечей в клубах ладана тянулась мимо гроба нескончаемая очередь желавших проститься. И каждый из пяти гномов приложился губами к бумажке на лбу покойного. Счастливчик был на себя не похож, ведь стояла жара, а в морге не было кондиционера. Но даже оплывшее его лицо, синее, страшно измалеванное пошлым гримом, излучало, казалось, покой, будто и в смерти не покинуло его чувство радости, что ему удалось завершить свой Труд и свой Путь.

В том, что арестовали Придурка, прослеживалась некоторая симметрия: самые слабые певцы из всей семерки были примерно наказаны: Раввина выслали, Придурка посадили. Причем оказалось, он тоже подвирал своим товарищам по Альбому, отправляя тайком от них за *бугор* свои песни явно политического содержания. В них он осмеивал святых верхнего мира, и главное его святотатство было в том, что он оплевывал мумию главного фараона, а заодно высмеивал и его самого.

Вот на него-то гномы рассердились. Ибо светлое и бескорыстное их дело Придунок профанировал, к тому же *подставляя* остальных. Теперь в новом свете представились его рвение при подготовке Альбома и постоянное заискивание — особенно перед Кротом и Плешивым, гнева которых он явно побаивался. Только Красавчик проявил к арестанту жалость и сочувствие, и вместе с актрисой Придурка носил тому передачи, на последние деньги покупая сигареты и сухую колбасу. Актриса взяла заключенному мужу теплые носки. После посещения узлища актриса и Красавчик шли в шашлычную на Таганке, где и надирались. Что ж, тюремная очередь к окошку, где раз в месяц принимали передачи, и впрямь грустное место.

Придунок тем временем сидел в двухместной камере, почитывал книги из тюремной библиотеки, всегда славившейся своим богатством, и писал эротическую повесть по заказу какого-то торгаша, соседа по камере, с которым к тому же всякий вечер играл в шахматы. На здешней суровой пище он похудел, построил и забыл про свой гастрит. И все бы хорошо, когда б не допросы, на которых Придурка неприятно поражало равнодушие следователя. Как будто тот не мог взять в толк патетичность ситуации, не понимал, что перед ним на стуле герой и борец за нашу и вашу свободу. Следователь был ленив, несведущ, лжив. То он говорил по телефону с кем-то о содержании *заказов* к празднику: мол, зачем мне сливочное масло, нельзя ли заменить на балык. То врал, что ему нужна служебная машина, потому что они работали весь день с видеоаппаратурой. Неправда же, ни с какой аппаратурой они не работали. Эти будничность следствия, приземленность самого дознавателя были самым неприятным переживанием Придурка за все время ареста. К тому ж за шахматами и во время трапез торгош донимал его страшными рассказами о жизни на зоне: того, по его утверждению, *дернули* из лагеря на доследование. Впрочем, когда Придунок сломался, торгош из его камеры исчез.

Чтобы закончить эту тему, скажем, что дело кончилось для Придурка плачевно — не в физическом, а в моральном плане. Из Лефортово его через несколько месяцев выпустили, но плата за свободу была велика: он написал покаянное письмо, которое в день его освобождения было напечатано в одной из столичных газет. Писал Придурок приблизительно так: «Объективно оценивая спетое мною, по поводу шумихи за бугром могу сказать, что мои сочинения не представляют настоящей художественной ценности». И еще: «Сейчас, движимый глубоким раскаянием, я мучительно продолжаю размышлять о причинах, приведших меня на преступный путь... Проще всего объяснить это моим легкомыслием, результатом дурных, но, надеюсь, поддающихся исправлению черт моего характера: цинизма, болезненного самолюбия, желания выдвинуться на видное место с минимальными затратами сил, не брезгуя порой недостойными средствами». И еще: «Я принял участие в подготовке Альбома... Начавшийся вокруг него шум сразу же привлек внимание забугорных корреспондентов... И сладкий дым тщеславия застил мне глаза». И все в таком духе. Следует ли удивляться, что никто из гномов больше не подавал Придурку руки. Разве что Красавчик, чувствовавший некую вину за то, что вовлек тщеславного Придурка в исполнение опасного Плана, зародив в его глупой душе неоправданные надежды и не прислушавшись вовремя к собственным сомнениям. И уж вовсе понятно, что гном, публично отрекшийся от своих песен, больше ничего никогда не спел. Впрочем, вскоре он ушел в верхний мир, занялся компьютерами и на этой ниве добился впечатляющих успехов. Однако все перечисленные им самим качества его характера остались, конечно же, при нем, разве что еще более раздулись. Но гномы его больше никогда не видели.

А потом умер Крот.

У него обнаружился рак. Скоротечный. Впрочем, когда он был еще в больнице, Плешивый навестил его. И был приятно удивлен, что, едва он отворил дверь, из постели Крота прыснула медицинская сестричка, на ходу оправляя подол халата. «Ну, дело идет на поправку», — подумал Плешивый. Но это было не так. Крота действительно скоро выписали, но не потому, что он выздоравливал. Ровно наоборот. Крот еще убедил жену свозить его на пару недель в деревню и там пытался писать. И чуть раздумялся, как убеждала его жена. Но это были одни утешения. Когда они вернулись домой, стало особенно заметно, как за эти две недели он почернел и усох. Его навестил Красавчик, принеся по просьбе Крота бутылку. Сам Крот теперь, конечно, не пил, но любил, когда у его постели трапезничают товарищи. Едва войдя в кабинет Крота — с огромным старым письменным столом, с коллекцией курительных трубок на затянутой сукном столешнице, — Красавчик не смог подавить выражения жалости и испуга. Так он был поражен видом Крота, которого месяц не видел. «Что, я так изменился?» — спросил Крот с грустной улыбкой, и Красавчик никогда себе так и не простил, что не смог тогда сдержаться... У постели Крота неотлучно сидели то Скульпторша, то Живописец, держались стойко. А когда Кроту стало совсем худо, они сидели у его одра вместе, обнявшись, поддерживая одна другую. Крота вообще очень любили дамы. И друзья. Его нельзя было не любить. И, может быть, поэтому страшная его болезнь воспринималась как что-то несусветное, как вопиющий нонсенс, как высшая несправедливость. Ведь он поздно начал петь и, по сути, лишь ступил на заповеданный ему Путь, стремительно совершенствуя свое искусство.

Он умер в декабре, и его опустили в промерзшую землю. И остались из семерых гномов лишь трое. Потому что один пребывал уже на совсем других берегах, второй предал свой дар и, замолчав, покинул мир гномов, а двое пересе-

лились в ту местность, о которой оставшимся неведомо: сохранятся ли там их маленькие храбрые души? Переселились туда, куда мы все обращаем свои тайные молитвы, когда нам все-таки становится страшно и когда мы втихомолку плачем, в минуту слабости не справляясь с нахлынувшим вдруг одиночеством.

И в такие минуты лишь Белоснежка тихо и незаметно гладит нас по волосам, и эти прикосновения напоминают нам, что мы еще не до конца прошли путь и выполнили долг призвания. И что никакие жертвы не напрасны, если они принесены — дару, от которого, раз его получив, ни один гном не вправе отступить...

А потом в верхнем мире вышли перемены. И наступили другие времена. И гномы повылезали на поверхность, с тем чтобы запеть свои песни полными голосами. Можно сказать, это — счастливый конец этой маленькой сказки.

Но в жизни всегда имеет место эпилог.

Поэмы Крота вышли посмертно в свет, и были признаны, и переиздавались. И имя его осталось в анналах.

К Красавчику не раз обращались за интервью иностранные корреспонденты — из Италии, из Франции. Всякий раз Красавчик ожидал, что интересуется им он сам, но корреспонденты были ярко выраженной гомосексуальной ориентации и говорили с Красавчиком только о Счастливчике, жадно цапая самые мелкие подробности. Постепенно Счастливчик стал классиком жанра, и лет через десять выйдет хороший двухтомник, в первом из томов которого — авторские тексты, второй сплошь состоит из воспоминаний о нем. Есть там и эссе Красавчика.

Круто изменилась и жизнь Прусака. Он пел в Германии и за океаном, получал престижные премии и немалые гранты, о нем писали статьи и монографии. Он выпустил свои песенники в нескольких странах. Верхний мир рукоплескал, но сам Прусак оставался тем же: милым гномом с бородкой, в очочках, улыбочивый. И продолжал носить все тот же поношенный колпачок. И по старой памяти рисовал карандашом — для себя и друзей. Но никаких крокодилов, конечно, больше не ваял.

И вот такая картинка: Красавчик и Плешивый, встретившись в Нью-Йорке — они порознь читали лекции в университетах разных штатов, — переночевали в квартирке Раввина в Нижнем Манхэттене. Вспоминали, конечно, времена Альбома, который, к слову, давно был издан в той же Америке. Поудивлялись под шведский «Абсолют», что вот ведь могли ли они во времена своей подпольной жизни и помыслить, что будут вместе выпивать в городе Большого Яблока в непосредственной близости от Тринити Чердж, прямо напротив Уолл-стрит, оказавшейся уже московской Петровки.

Они сидели до зари, и Раввин рассказывал о своем житье-бытье. Он говорил, что написал бы роман с продолжением для «Нового Русского Слова» — о жизни большой американской компании. Он, брызжа слюной, рассказывал старым друзьям, что порядки у американцев хуже и гаже, чем в их давнем верхнем мире тех времен, когда гномы еще были в подполье. Что доносительство цветет пышнее, чем при любом тоталитарном порядке. Что подсиживание беспощадно. Что увольняют за мельчайшую провинность. И что, чем больше ты получаешь зеленых денег, тем сильнее стресс. Ведь ты весь в долгах, кредитах, моргиджах.

Но пересесть на более дешевую машину ты не можешь — твое положение в фирме определяет все, вплоть до марки автомобиля.

Красавчик и Плешивый лишь посмеивались. И втайне радовались, что в свое время гнали от себя самую мысль взять да и махнуть на все рукой. И уехать за океан вслед за Раввином.

Рано утром невыспавшийся, хмурый хозяин поспешил на службу, а гости вышли на берег с видом на статую Свободы. Они говорили о том, что, пока пребывали в антиподах, с родины то и дело доходили неутешительные вести. Будто бы Белоснежка совсем пропала. Якобы попала она в дурную компанию и водит дружбу с одними литературными критиками. И толстые журналы печатают лишь одного знаменитого затворника, тоже некогда из гномов — старшего поколения. А кое-кто, только приехав из России, шептал, будто Белоснежку видели лежащей в канаве; была она облеванная, без своего нарядного передника, и цвет лица у нее стал совсем серый, уж трудно сказать, как такое могло случиться.

Но мы, конечно, всему этому не верили.

Март 2001



Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Смуглый ангел пустыни

* * *

И горы облаков, и кактусов отары,
Двугорбый божий бомж над папертью песка...
Здесь так чисты цвета... И мы еще не стары.
И птица на лету касается виска.
О, родина всего! О, пафос Палестины!
О, живопись пустынь — причудливей Дали!
Льдовеющая соль. Блаженные крестины
в Отеческих руках... Купель. И корабли
исчезли. Стерт прогресс. Ни дыма. Ни детали
никчемных наших дней. Вернулся в окоем
первоначальный смысл.

И след Его сандалий
впечатан в твердь воды и солнцем напоен...

* * *

То ли ломится бешеный яркий ландшафт,
то и дело меняясь, в стекло ветровое?
То ли фрески Шагала до звона в ушах
разрослись и смыкаются над головою?
Всё возможно под куполом этих небес,
где в прищуре солдата — печаль Авраама,
где пилястрами стройными лепится лес
и однажды в столетье скворчит телеграмма.
Как лиловы оливки, и как апельсин
нестерпимо оранжев — на зависть Манджурий...
Над спящим песком — паруса парусин
и араб в неизменном своем абажуре...
Все мы родом из этих горчичных земель,
что являют прообраз и ада, и рая,
где, как в детстве бронхитном, палитровый хмель
и восторг сотворенья... И вот он, Израиль!
Я намокшую прядь поправляю крылом
и не ведаю, сколько веков отмахала...
И венчает картину, мелькнув за стеклом,
смуглый ангел пустыни, патрульный ЦАХАЛа...

* * *

...Земную жизнь пройдя до половины,
 верней, почти до самого конца,
 я знаю: в птичьих шапочках равнины
 не заслонили Божьего лица.
 Тому, кто нам наказывал: не целься,
 не обмани, будь страждущему — брат,
 милей и ближе ряженных процессий
 поэт, стихи слагающий в шабат...
 Космополит, что пьет арабский кофе,
 смакуя горечь, сжав до синевы
 осколок моря... Этот на Голгофе
 не отшатнет от плахи головы...
 Да, не любил катания на танках,
 чурался пейзажей, но наверняка
 арабских цифр в швейцарских мутных банках
 не прикрывала алчная рука...
 И если все мы, Господи, повинны,—
 покинь тобой придуманный народ...
 Земную жизнь пройдя до половины,
 я слышу скрежет Дантовых ворот...

* * *

Дождик. Муторно. Жди гостинца
 от безумного палестинца...
 Неужели же всё заране:
 брань соседей и поле брани?..
 Бог — он каждому понемногу:
 флягу влаги и хлеб в дорогу.
 Иудею и христьянину.
 (Износилось белье в рванину.)
 И араба арба палима
 белым солнцем Ерусалима.
 Что же ты натворил нам, Боже?
 Что ни век — то одно и то же:
 взрывы крови, руины мести...
 Люди жить не умеют вместе.
 ... Я вернусь в свои палестины,
 ребятне раздам апельсины.
 А родня мне — борща половник:
 мол, хлебай, отоштал, паломник...
 Шагом-шепотом выйду в город,
 приподняв — от прохожих — ворот.
 Тихо-тихо. После террора
 отдыхает крейсер «Аврора».
 А в парадных того построя
 пьет народ, разоидясь по трое,
 пьет и плачет: «Помилуй, Боже...
 (И жидовскую морду — тоже...)»
 Потому-то и ждать Мессию
 не куда-нибудь, а в Россию,
 где бродяга в лохмотьях ищет
 Книгу Бога на пепелище.
 Скрипка ль плачет? Скрипит телега?
 Острый свет над пустыней снега...

* * *

Храни друзей моих, Господь,
и в Петербурге, и в Нью-Йорке,
и во дворце, и во камерке
крепи их дух, щади их плоть.
Нам не дано предугадать,
где нам даровано свиданье,
на Рейне или Иордане
окатит светом благодать.
Я скрытной верою живу,
что вдруг расступится кромешность,
как тайна жизни, как промежность,
и — в жгучий обморок, в Неву!
Не оттолкнет счастливых слез,
сомкнет утешные объятья...

И встретят в белом сестры, братья...
И впереди — Иисус Христос.

Да, мы и грешны, и слабы,
а всё ж друзей не предавали.
Достойны райских кущ едва ли,
но — взблеска ангельской трубы.

Хотя б за то, что бедовали
и были всюду, где бывали,
лишь бедуинами судьбы...



Алексей ГРЯКАЛОВ

Здесь никто не правит

РАССКАЗ

А правит кто? Цари иль сам народ?
Они номады. Здесь никто не правит.

*Еврипид. Киклоп.
Эписодий первый*

Отсоветовали возвращаться...

Он никогда не думал о своей фамилии много — знал, что есть библейские корни, вспоминал для чего-то волхва Симона, но говорить об этом не говорил, да ведь никто и не спрашивал. Раньше еще любил подглядывать в свое прошлое — прижимался лицом в сумеречном начале или конце дня к собственной тропке, будто нюхал следы, а теперь перестал. Думать — работа для дураков, что надумаешь, не исполнится, а то, чего не знаешь, накатит волной, собьет, объегорит или посмеется: понял, ты понял, умный?

Он и про это теперь не думал, и оно было в прошлом, и прошлое — было же оно, иначе откуда бы взялось настоящее, откуда бы выросло бедное мыслимое будущее, — теперь стало пенкой на молоке, — следили за ним, пестовали, боялись, чтоб не сбежало, готовились кашку варить, а теперь пропало, стало чужим... и чужим, и своим сразу.

Куда гнать коней?

Вот о конях он любил говорить. Всадники, кочуи, номады... Говорил, что дед его командовал казачьим корпусом и будто бы когда внук приезжал в те места, где полуслепые старухи еще помнили генерала, они, пораженные, на голос внука вставали с лавочек, кланялись и тянулись погладить плечико.

Он знал точно, что дед был простым сабельником у красных, но раз придумав историю, говорил, чтоб говорить. Рассказывал, что дедов брат перебежал от белых к красным, а попал к Махно — и тот зазывал на тачанки, а в ответ на молчание полыхнул над головами из маузера. Так и легли! И Нестор Иванович погнал всех... — засранцев таких мне тут не надо!

Смеялся в рассказе старый казак, смеялся внук, обнимал новопроизведенных сотников и подьесаулов, смеялись офицеры, будто бы смеялся и сам Махно, непонятый крестьянский вождь.

Наутро после хмельного вечера, стыдясь, вспоминал, что лег вчера внуком геройского красного генерала, а через день вновь называл себя наказным атаманом вольного казачьего войска на берегах Невы, грозил самозванцам и присваивал звания собутыльникам.

При встрече кричал:

— Есаул Григорьев! Как службица в двенадцатом линейном? Нет ли шпио-

нов иль хитрованов? А то мы тут досидимся. А ну-к служивскую! — И первый начинал высоким голосом:

Не для меня весна придет,
Не для меня Дон разольется!

Красиво вел, потом обрывал после двух строк, будто б слезно затосковал иль плакал невидимыми слезами.

Конь вороной с походным вьюком,
У церкви ржет, кого-то ждет!

Еще две строки вел, и привычные друзья уж начинали догадываться, что дальше не знает, но лицедеили в одном хороводе.

И он сызнава морочил разговорами о старухах, встающих навстречу отпрыску генерала-героя, о девках-красавицах времен верховского восстания, тянувших ружки, чтоб потрогать и перекрестить.

Синел словесный Дон, акварельно зеленели луга в предместьях хохлацкого Богучара, дороги открывались на степное Чертково, верховскую раскольничью станицу Казанскую и на Монастырщину, и на всякой дороге попадался слободской еще казак, прущий на взгорок от Дона с вложенными в переплет от «Капитала» листками апокрифа Еноха. Машины выли, подползая к понтонам, горизонт гладил танковый полк, охранявший новограницу с хохлами, а старик шествовал, не отводя глаз от листа.

...И все устрашится, и стражи содрогнутся, и великий страх и трепет обоймет их до пределов земли, поколеблются возвышенные горы, и высокие холмы опустятся и растают, как сотовый мед от пламени.

Пересказывал атаман все, будто бы различенное им с высоты седла, и цыганята залиманского Богучара, вживленные в разговор, потешались над нелепым всадником и над брехуном, не веря ни в одну книжку и ни в одну строку. И тихо-тихо еще сообщал атаман, что и в эти дни бродит по Дону ходок с Запорожья — всякого встречного вымерит взглядом, угадывая среди нынешних наследников злых исполинов, которых числом два ста:

...Семгъяз, Уракибарамеела, Акибеела, Рамуела, Армерса, Цакебе, Марксела, Фрейдела, Кравчара — и прочих всех из двухсот, которые зачали и родили ростом в три тысячи локтей великих исполинов, согрешающих по отношению к птицам и зверям, достающих главою неба и дурно поступающих с людьми.

Ведь во все доброе внедряется Ариманово зло — кометы, ветры, нечистый огонь, яды в растения, свирепые и кровожадные звери, которые суть наказания духа смерти.

— Надо бдить, господа! Ш-ш-ш! За литературной шпионологией будущее! Братья сербы все уж там испытали, все поняли. А у нас тут свой хазарский словарь! О-о, не открывайте, братцы, свой цвет... Даже рогатый не знал, где патриарх строит ковчег!

И вот разговоры эти и рассказы потихоньку, полегоньку, зыбкой рысцой-трясцой, с песней, с истинно пьяной слезой становились особой жизнью. То, что вправду было, того не было, а то, чего не было, утверждалось в правах и пело песни, требовало знаков первородства и наследства и баб завлекало, и женщин, и доверчивую провинциалочку приклоняло к плечу — и находило слова.

— Господин наказной атаман! — кричали ему от столов.— Подойдите... Покорнейше просим!

И он подходил.

— Господа офицеры! — вздергивал вверх словами, и новообращенные сотники, подъесаулы и хорунжие тянулись, признавая игру. Было мало денег, было дорогое вино, было много слов и много знакомых, и всем нравились строчки давних казачьих. Как комары, толклись разговоры о том, как помыслить немислимое, и еще больше нравились слова донских старинных.

Не для меня весна придет,
Не для меня Дон разольется.

Не для меня — я никогда не видел его ни в разлившейся вольной стихии, ни в тихом подледном сне, — он один раз показался мне, когда поезд прогромыхал по мосту в Ростове и внизу масляно колыхалась затравленная вода.

Не жил тем, что было, не хотел жить — а что было? Детство и юность — и все богатство, а потом сотни книжек, чистая бумага, беспутство; не потому так жил, что ускользал от праведности, а потому, что пути не знал, не познал. А кто его знает, скажи?

Сидел за последним столом в аудитории, кривил рот, подгонял дни к дорогому будущему, когда напишется лучшее, проживется — праведное и войсковая походная будет доведена до конца.

А может, праведности и нет?

Так шло — ползло и летело, просыпалось и засыпало — с каждой осенью все трудней, тело отдыхать не успевало, будто во времени где-то была пробита дыра и жизнь утекала через отверстие. Так жилось — проживалось, пелось — пропивалось, так заканчивалось — обрывалось. Слова не унеживали и не утешали.

Жизнь проходит? У всех проходит. Неправильно проходит? А у кого правильно?

Мутнела и зацветала вода в Неве и в каналах, уменьшалось небо, придавленное окраинами, голова не поднималась от земли, сердце не хотело идти в церковь. Музыка не радовала, песни не пелись. В фильме про царя и царицу смотрел на бравый проход атаманского полка и забывал сказать себе, что односумы деда идут.

После фильма долго стоял у решетки детского дома, представив себя в неволе. С той стороны загородки молодая нянька по очереди давала палец детишкам и каждый ходил вокруг песочницы, где валялись зеленые кони. Одному неудалому казачонку не достало времени для похода — он заплакал и не мог успокоиться. И тогда нянька запоздало повела его одного по кругу, и он пошел в счастливых слезах.

Когда дети скрылись в дверях, атаман подал кому-то невидимому руку. «Любить... значит постоянно говорить другому — ты никогда не умрешь», — под случай вспомнил из книжки и двинул вокруг песочницы, косясь на окна.

Нянечка с порога смотрела на захворавшего атамана.

— Слушай... — протяжно сказала. — Тебе воды принести?

«Слушай! — Гарцевавшему вокруг песочницы атаману вспомнился другой голос. — Давай с нами... знаешь же что? Знаешь? Пойдем с нами в окопы. Знаешь же? Знаешь?»

Ему было двенадцать лет. С девочками-соседками он не пошел в окопы. Убежал тогда и долго шатался один, представляя себе девочку, которая никогда так не скажет.

Атаман поднял заплошавшего строевого конька и вправил на место хвост. Серьезная нянька Катя смотрела на него из окна и не смеялась. Замахали по ее

слову дети из всех окон приюта, и она улыбнулась ему давно не целованными губами.

Оглядываясь, он уходил со двора, почему-то вспомнив, как в подмосковном Переделкине трава, и ночью не останавливавшая рост, пропарывала прошлогоднюю листву. Случайное и странно возникшее прикосновение переворачивалось и пропадало, просекаемое ярим побегом. Он смотрел тогда на ее окна, которые вдруг погасли, и знал, что там происходит... Жажущий жизни стручок страстно пропарывал прошлогодний лист. И еще раз вспомнил, как подросшие соседочки зазывали на мягкий спорыш окопа — знаешь же, знаешь? — а он пятился и убегал, представляя прекрасную девочку, которая никогда так не скажет.

За углом скрылись приютские окна, а в загородке у Николая Морского двое бьют, уходят от кулаков, защищаются — бьют и бьют, возносясь к будущей славе, бьют. Липнувшие друг к другу хохлы-боксеры сошлись, и нищий случайный зритель разглаживал бумажный цветок, что прибило ветром.

Атаман уж слова украинской мовы припомнил, чтоб толковать про шлях и про сало, — *едет по полю козачий Сократ — старец Скворода, биться готовы в корчме об заклад: старец заглянет сюда. Девки, дорогу, пожалуйста сесть, сала сюда да вина. Будет философ до одури есть, будет он пить допьяна...* — уж гукнуть хлопцам хотел, да они двинули в сторону физкультурного гуртожитка.

— Да воскреснет Бог... Да расточатся врази Его! — забормотал нищий, взглядывая на мордобойцев. — Сколько предательства, сынок, сколько измены! А дальше будет хуже! — гудел за спиной у атамана. — Купи цветок... Богато живешь?

Белая собачка с разорванным ухом нюхала линияющую розу.

— А ты... богато? — Атаман испугался бродяги.

— Ничего... протрезвело! — Купец бумажных цветов перекрестился на купола. — Брат ты мой, сколько измены! Иду на Садовую... Садовая и Гоморра! А дальше будет хуже-ей! — тянул последнее слово, и собачка кинулась следом с цветком в зубах.

И впрямь протрезвело. Атаман не страдал больше от выпитого вчера вина, но в черную воду канала глядеть без дрожи не мог. Болото... душа, появится что-то живое и пропадет, пузыри всплескивают, все в бучиле потопнет.

— Что там? Глыбь... глыбь петербургская, а? Что там, отец?

— Ничего там нет, — отворачивался нищий и гладил собачку.

Ничего своего — а было ль? — и чужое, привычное, всегдашнее тоже пропало — измена.

Скорей к другим — к кому-нибудь, скорей в «Борей», чтоб задели иль чтоб погладили. Молчит город... Нет естества, чтоб шевельнулось попавшейся на глаза гадюкой или позвало вверх. Он задрал голову, звон расслышав, и глаза различили точки двух невозможных коршунов, кругами кривших Коломну — мещанский район бывшей столицы.

В самом себе — нет ничего. Обнимают других, чтоб хоть что-нибудь, чужой запах, чужое тепло. Жалость — с другим, любовь — с другим, страх смерти — другими рожден. Себя жалко, на себя глазами другого глянешь, и жалко себя.

Другие так вошли в меня, что они — я. Отец горел в танке, кричал ночами, дрожал от гнева. И я вслед за ним научился гневу и злости и думал; злость — чтобы выжить. И я ругался, как он, учился скрипеть молочными зубами, если обижали нашу собаку. Но, когда отец повесил собаку, я не видел, мне потом расска-

зали,— ужас и отстраненность были в глазах тех, кто рассказывал, но я думал, что так можно, другим нельзя, а ему — и мне — можно и так.

Бог есть и тогда, когда его нет?

Мать плакала, и я понимал, что женские слезы всегда есть. И это вошло в меня, и теперь оно живет мной.

Чужая сила живет вокруг, злость выплескивается, страх всегда был, оторопь поджидала чуть ли не за каждым углом, мог пожар полыхнуть в каждом дне — все вошло в меня и живет через меня, а я — на перепутье слов и словечек, оборванных строк, молитвы «Отче наш», единственной, которую помню.

У каждого есть свой ангел и свой демон, который не спит.

Но нет в остальном ничего своего, все — получено, взято, я у всего в плену и, чтоб спасти существование, придумаю несуществовавшего казачьего генерала, в которого сам начинаю верить!

Убожество выдумки... убожество без божества. Куда кинет казачий корпус неведомая мне воля другого? И что во мне своего? Трепыханье человеческое, я знаю, житейский бунт, а непринадлежность себе — знак времени или знак всех времен?

Но прорывается сквозь сети не отданное никому переживание, не доверяющее словам. И в нем стоит на пороге младая пара, и рядом рвет меха растерявший от частых гуляний кудри яровой гармонист — как попрощаться с ними, как обнимать-целовать? Да я ж все это досконально прошел!

Блестящий хром, и жаркое сукно выходного костюма, и цветы на платье, и цветы на щеках молодой, и люди, ждущих поезжанья, чтоб поймать щедро кинутое в пыль серебро. И уж через три дня поблекли цветы на щеках и жених стоял с сидорком за плечом, стриженный наголо, казался жалким пасынком — все было единственным и не знало удвоения и плена. И все еще было правдивым — и сидор из серой матери-требушки, и руки, вылезавшие из рукавов, и затуманенное лицо молодой — бледное с пунцовыми губами, и привычный взрык военкома, поднявшийся над голосами, но уж случилась покража, утрата, уж вмешались чужие — и повели.

Молодая молодого со службы не дождалась — сошлась с молчаливым человеком, которого звали так же, как молодого.

Потом молодой вернулся, выучился на электрика, обнимал когтями мертвые деревья опор, карабкался к проводам. Висел над дорогами, свистел песни, ветер всвистывал в проводах, монтерские «кошки» железно вгрызались в дерево, вылушивая щепочки,— не веря людскому существованию, электрик будто бы ладил гнездо на столбе, как аист...

Его и убило на столбе. Трясло, он кричал, внизу бегали люди и не знали, что делать.

Молодая, теперь чужая жена, выскочила за ворота, когда провозили мимо. Упала в откос канавы... потом пошла к машине, выставив перед собой ладони в зеленой зацветшей воде. А сверху махала мать убитого, чтоб не подпускали, и тогда молодая поползла на коленях, и люди расступились. Кто-то посадил ее, чтоб глянула на своего молодого,— и мать потянула ее к себе, умирая от слез на груди бывшей невестки, кричала, кричала...

Потом я встретил его мать на похоронах другого человека. Она ходила всех провожать.

— Не верю, что его нет.— Она светло посмотрела снизу.— Нет... Я не верю.

Духовые сделали перерыв, железно заклекотали клавиши, когда музыканты цедили капли из захлебнувшихся труб.

— Не верю, что Мити нет... Нет! — Она отошла от меня и нагнулась за гор-

стью песка.— Он здесь, он здесь, как и раньше, он зависает над дорогами, как не знающий устали охотник-кобчик.

Корыстно веруя в историю про казачьего генерала, зеваки крадут ее у меня. И мое вранье в отместку кинет каждому из них в сон дикоглазого коня-дончака, готового стоять под любой стрельбой, но неподвластного сну,— и пусть, просыпаясь, в страхе каждый подумает, что чужой конь вынесет и спасет. Будто бы у каждого дед дослуживался до корпусного и каждый своим предком был с детства обучен рубке и тайному знаку: клинок — сверху к гриве, потом отмах в одну сторону, потом — в другую.

Рассыпаться лавой! И ма-арш!

Атаман вынес перед собой руку, шел и не опускал, чтоб тяжестью налилась — вправо-влево качнул клинок и бросил к невидимой гриве.

Рассыпаться лавой! Ма-арш!

— Господа офицеры! — через час вскидывал друзей из-за стола.— Самое страшное в жизни — это неверие. Пятый кубанский кавалерийский казачий корпус... Дед! Расскажу семейное предание, господа. Прабабушка моя отдыхала возле Ливадии. Семнадцать лет ей, невеста. По горной дороге, на смирной лошадке, навстречу авто — *а нельзя ль по морю, шофэр, а на луну?* Красотка, лошадь так звали, Красотка в испуг! Рядом обрыв... Тогда из авто вышел, внимания прошу! Красотку — под уздцы и провел мимо авто. Государь-император! И — прошу встать! — в автомобиле вся семья царская. Царевны смеялись чему-то, потом перестали... а то бабушка б на свой счет. А вы говорить смеете! Я дед да в обиду не дам. Генерал-майор Семенов! Есаул Григорьев, вам хватит, пить хватит... *откуда у еврея эта прыть...* цитирую вашу собственную строку. Так значит... недоверие атаману?

Так вы полагаете, что казаки перевелись? Да я казака по взгляду узнаю, казачку — по стати... Так ты говоришь, что я Дон не видал, перед собором в Новочеркасске не плакал, не знаю, как стремянную пьют, как казачку милуют? — встал атаман.— Какой я станицы рожак? Не твое мещанское дело!

Ормузд живет в вечном свете, Ариман — во тьме, Ормузд строит, Ариман обжигает землю кометами.

И стаканом тонкого стекла с маху бьет атаман по столу, руку вверх подымает, и стёкла, впившиеся в ладонь, в свете люстры дрожат.

— Эх да не люблю я вас, господа! Крови боитесь и к крови тянетесь. Про кровь книжки... про смерть — монографии, а что про Россию? Закордон книжками тешите, а почему... почему автора нет ни в строю, ни тут за столом? Какая такая французская смерть автора? Кого он там опять курирует, курва?

Официантка за скатерть замаранную требует платы сполна. Много вас тут таких, мышинных жеребчиков... нитчанцев-гумункулусов!

— Господа офицеры! — Атаман тихо и доверительно говорит и руку сжимает с капающей из кулака кровцой.— Кто смеет не верить? Кто неверием пойман, про смерть тут курлыкает? Вранье, что нет истин, не отданных смеху. Дорога к смерти! Степной поход... На Дон!

И по Невскому — мимо коней на мосту, мимо дворцов, где на барельефах кони, на гербах земные и небесные всадники, мимо полуночного окна, за которым с утра редко тверезый войсковой старшина императорского конвоя в безденежье рождает «Смерть танатолога», мимо манежа для выездки неуков-универсантов — Публичной библиотеки, мимо домов, где походным порядком давным-давно не проходили сотни.

По Невскому — через мост, снова вернуться, чтоб заглянуть в серо-синий подвал, и снова на мост, где кони. Рука... в крови, белая майская пара — в крови, ладонь порезанная болит, ни слез не вытереть, ни клинка не сжать.

Вода в Фонтанке мертво течет. На мосту склонюсь — вдруг донская прихлынет, унесет и боль, и печаль, и ненужность мою.

Не для меня Нева течет,
Не для меня Фонтанка плещет.

И когда невоготу станет над пролетом, рыкну своей изготовленной к броску сотне: «Марш-марш! Дели-ись!» — Меж двух избегнувших гибели рукавов пропустить без урона чужие слова и толки.

И через минуту оба живых рукава в неукротимой стремнине слить.
Руби-и?

А на другой вечер сквозь смех: «Простите, господа, нервы! Сиреневое бланманже? — не знаю. Я светский человек, господа. А вы, текстоед, хорунжий... текстовед, простите, просто зануда. Логик, уж сказано, не может быть сыном степей».

Приснилось, привиделось, вычиталось... откуда?

С чем рифмуется «бланманже»? Рифмуется... рифмуется с «пьян уже»! Простите, господа, каламбур. Ничего больше не знаю. Штаб — опустел, в канцелярье — бардак. Эпиграф — номад... не мой и не обо мне. И смеяться я не люблю. Я люблю радоваться! Ничего больше не знаю. Я вольно отпустил коня странствовать... То скачет, то оступается, то вплавь спасаемся через поток.

Прошу наполнить!

И отправимся странствовать на моем верном. Покуда не упадем!



Владимир КАНТОР

Русский философ в эпоху безумия Разума

1. *Русский немец или немецкий русский?*

Сама биография его и удивительна, и поучительна. Немец по крови, родившийся в России, учившийся в Хайдельберге у Виндельбанда, основатель направления неозападничества в России, издатель российско-немецкого журнала по философии культуры «Логос», русский артиллерийский прапорщик, сражавшийся на германском фронте и написавший об этом блестящие очерки («Из записок прапорщика-артиллериста»), начальник политуправления армии при Временном правительстве, поначалу уцелевший и ставший театральным режиссером, а затем все же изгнанный большевиками из России в 1922 г. С этого момента и до самой смерти (1965) — житель Германии, равно не принимавший коммунизм и нацизм (нацисты запретили ему преподавать за проповедь «жидо-русофильских взглядов»), и страстный, как говорили в старину, пропагатор на Западе русской культуры и философии. Не забудем и того, что в 20-е и 30-е годы он активный участник двух самых знаменитых журналов русского зарубежья — «Современные записки» и «Новый град» (он был и соиздателем последнего вместе с И. Бунаковым-Фондаминским и Г. Федотовым).

До последнего десятилетия Степун был больше известен в Германии, нежели в России. Философ и писатель, он одинаково блистательно писал на обоих языках. Основные философские книги второй половины жизни изданы по-немецки. «Язык Гете и Ницше. Степун владеет им, как артист и мыслитель» (Г. П. Федотов). Немцы ставили его в ряд с весьма значительными западными мыслителями — П. Тиллихом, М. Бубером, Р. Гвардини. Но главная его тема — Россия, ее духовные достижения и трагическая судьба. Немцы признавали его как своего, но одновременно он был для Германии символом свободной русской мысли. Он принадлежал тому культурно-историческому типу людей (Пушкин, Тургенев, Вл. Соловьев, Бунин, Милюков, Вейдле), который в научной литературе именуется *русскими европейцами*, где прилагательное не менее важно, чем существительное.

Кредо его философии истории, как он сам писал, — «Божье утверждение свободного человека как религиозной основы истории».

2. *Стиль русского философствования*

По словам русских историков философии XX века, Степун мог бы стать русским Витгенштейном или Хайдеггером, но стал лишь немецким Степановым. Школы он в Европе не создал, последователей не взрастил. Но школы не создали ни Бердяев, ни Франк, ни Шестов, ни Федотов, ни даже самый академичный Лосский. Стиль российского философствования как раз предполагает, с одной стороны, общение, с другой — экзистенциальное соло. «В противоположность немецкой философии 19-го века русская мысль представляет собой не цикл замкнутых систем, а цепь вот уже целое столетие не прерывающихся разговоров, причем разговоров, в сущности, на одну и ту же тему» (Степун). И в этой цепи, можно смело сказать, он остался не немецким Степановым, а русским Степуном.

В XX веке тема русской судьбы для Степуна усложнилась понятием общеевропейской катастрофы. Русской философии, полагал он, не хватает кантовского раци-

онализма, критического разума, она слабое звено в духовной цепи России: «Русская мысль бессознательно двигалась в направлении к хаосу и, сама хаотичная, ввергла в него и всю остальную культуру России» (Степун). Сам он романтик, вернувшийся к Канту и прошедший школу неокантианства. Неприятие Канта русской мыслью (от Флоренского до Ленина) означало архетипическую близость большевизма антирациональным тенденциям русской культуры. Победа иррационализма в Европе разрушала «понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума», — писал великий философ XX столетия Э. Гуссерль.

Стоит вспомнить старый спор русских мыслителей о поразившей их формуле Гегеля, что «все разумное действительно, а все действительно разумно». Искренний и истовый Белинский сразу же восславил николаевский режим, потому что это была самая что ни на есть, на его взгляд, действительность, а стало быть, она была разумной. Споры продолжались до тех пор, пока Герцен не понял и не разъяснил хитроумие формулы, заметив, что не всякая действительность действительна, т. е. находится в пространстве разума. Страна настолько действительна, насколько разумна. За пределами разума начинаются хаос, внеисторическое существование и «тьма кромешная». И если Россия неразумна, она и недействительна, ибо находится вне сферы исторических законов. И с этой недействительностью, неразумностью надо бороться. К несчастью, Герцен в своей борьбе стал опираться на мистически понятые идеи общинности как специфической российской сути, неподвластной западноевропейским рациональным расчислениям. Волей-неволей он сошелся идейно со своими прежними оппонентами — славянофилами, даже превзошел их, увидев в *отсталости* России ее великое преимущество, позволяющее обогнать Запад.

А Россия и в самом деле оказалась первопроходцем в этом кризисе, в этой катастрофе. Россия и русский иррационализм мышления и самопонимания оказались тем самым «слабым звеном в цепи», за которое ухватился Ленин, чтобы свалить буржуазную Европу. И свалил, но прежде свалил Россию — в сатанизм и «в преисподнюю небытия» (Степун), за ней последовала и Западная Европа.

3. Марксистский рационализм и большевистское безумие

В России на тот момент было популярно учение имяславцев, видевших в имени Бога самого Бога, что наполняло это имя духовной силой. Кое-что они угадали. Не случайно Степун назвал большевиков «марксистами-имяславцами». Ведь когда имя подменяет Бога, то вполне можно Его имя подменить другим именем и направить на него ступок энергии верующего народа, которая будет заряжать это имя энергией, а потом народ сам от этого имени (от своей же энергии) будет подпитываться. Так и случилось. «По целому ряду сложных причин заблужшая революцией Россия действительно часто поминала в бреду Маркса; но когда люди, мнящие себя врачами, бесильно суется у постели больного, выдают бред своего пациента за последнее слово науки, то становится как-то и смешно, и страшно». Но бред-то был, и имя Маркса наполнилось невиданными энергиями, иррациональной энергией масс.

А кто мог им противостоять, кто мог понять, что, в сущности, произошло с Россией, и откуда, и о чем были ее бред и ее бунт? — задавал вопрос Степун. Дело не в марксизме как научной теории. Для Степуна совершенно ясно, что к научному марксизму происшедшее в России не имеет ни малейшего отношения. Он не раз противопоставлял *коммунистический рационализм и большевистское безумие*. А дело было в том, что русская религиозная философия совпала в своих интуициях с атеистическим бунтом. Мало общей с Лениным нелюбви к Канту, в самом Ленине и в большевизме коренилось нечто, отвечающее программным требованиям националистической православной философии. Социалистическое дело — разумно, считает Степун, а здесь произошло противное разуму: «Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи сходит с ума сам разум». И Ленин не был ученым, каким, безусловно, был Маркс, Ленин «был характерно русским изувером науковерия».

Поэтому «все самое жуткое, что было в русской революции, родилось из сочетания безбожия и религиозной стилистики». Россия и Запад вопреки обывательскому мнению весьма тесно связаны. И если в какой-то мере большевистская революция была результатом западных влияний, то последствием Октября была страшная европейская революция справа — *национал-социализм*. «Достаточно указать на то, — писал Степун в статье «Чаемая Россия», — что все социальные революции на Западе и все национальные на Востоке так или иначе связаны с большевизмом и что большевизм, очевидно, является создателем некоего прообраза всех новейших идеократических диктатур». Против всех и всяческих идеократий, против большевизма и фашизма в совершенно безнадежной, казалось бы, ситуации отстаивали русские европейцы-эмигранты позицию *правды личности и ее свободы*.

4. Консультант по Германии

Россия была впереди Германии на пути кризиса западного рационализма, ибо не выработала защиты от иррационализма. Но и в Германии произошла победа нацистского иррационализма. Возникла новая — сатанинская — близость этих двух стран. Проблемы Германии не могли не волновать изгнанную из своей страны русскую интеллигенцию. Слишком много общего с большевизмом находили эмигранты в поднимавшемся национал-социализме. Русские и немцы слишком тесно сплелись в этих двух революциях — от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует идеи Геббельса, что «Советская Россия самою судьбою намечена в союзницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой «еврейское учение Карла Маркса» уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского «панславизма»».

Содержание *немецких статей* Степуна: обзоры современной немецкой литературы (о Ремарке, Юнгере, Ренне и т. п.), анализ политических событий (выборы президента и т. п.). Но второй смысл — сравнение двух стран с такой похожей судьбой: слабость демократии, вождизм, умелая спекуляция тоталитарных партий на трудностях военной и послевоенной разрухи. И прежде всего отказ от рационализма и подыгрывание иррациональным инстинктам масс: «Как всегда бывает в катастрофические эпохи, в катастрофические для Германии послевоенные годы стали отовсюду собираться, подыматься и *требовать выхода в реальную жизнь иррациональные глубины народной души* (курсив мой.— В. К.). Углубилась, осложнилась, но и затуманилась религиозная жизнь. Богословская мысль выдвинулась на первое место, философия забогословствовала, отказавшись от своих критических позиций».

Замечая, что, несмотря на самообольщение молодых национал-социалистов, думающих о возврате страны в средневековье (христианское по своей сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство, Степун пишет, что *идеократический монтаж Гитлера* с утверждением свастики вместо креста, германской крови вместо крови крестной, с ненавистью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа Лессинга и Гете» *родился «не в немецкой голове, а в некрещеном германском кулаке»* (курсив мой.— В. К.). Философское богословствование, лишенное критической силы рационализма, по Степуну, не есть препятствие для падения христианства. А отсюда, как и в случае падения краткосрочной российской демократии, ставится проблема «как-то обновить и углубить формы современной демократии». Переключка с предреволюционной российской ситуации очевидна.

И самое главное и в том и другом случае — отказ от христианства.

5. Демократия немислима без христианской основы

Говоря, что в России наступил подлинный сатанизм, Степун готов был согласиться, что «некоторые (весьма отрицательные) свойства большевицкой психологии окажутся в исторической перспективе прямыми причинами возрождения русской государственности». Но даже готовые идти на компромисс деятели культуры, верившие, что черт (т. е. зло) в конечном счете может послужить благу, признавали, что режим этот не божеского, а дьявольского происхождения. Именно такое парадоксальное подтверждение дехристианизации страны показано в романе о визите дьявола в Советскую Россию. В гениальном сочинении М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Христос уже не Иисус, а Иешуа Га Ноцри, он просто добрый человек, хотя как-то и связан с высшими силами мироздания, и ему симпатизирует дьявол. Более того, нам дается и блистательно написанное жизнеописание Христа, но... в представлении дьявола, так сказать, евангелие от Воланда. *В этой стране* (отныне его епархии) *только в памяти дьявола остается образ Христа*. Народ же полностью дехристианизирован.

Оправдание Христа через дьявола — предел духовного падения культуры. У Степуна были свои объяснения произошедшей катастрофы. Началось с Запада, который испытал явный кризис христианства (Ницше как симптом), но, быть может, он преодолел бы его, если бы некоторые разрушительно-атеистические идеи не подхватила Россия.

В борьбе с демократией тоталитаризм отрицает христианство, несущее в себе элемент закона, договора (Ветхий и Новый как договор с Богом). Опасность, однако, в том, что тоталитарные режимы перехватили у демократии *контакт с высшими ценностями*. Степун увидел: большевики и национал-социалисты прикоснулись к вечным истинам, о которых забыла демократия. «Большевики победили демокра-

тию потому, что в распоряжении демократии была всего только революционная программа, а у большевиков — миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта самими большевиками естественно отрицаемая связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях».

По его словам, элементарно лубочную и новоявленную идеологию РКП надо строго отличать от сложного, древнего и типично русского явления большевизма. Культурное бессилие русской религиозности на поверку оказалось страшной разрушительной силой, оно слилось воедино с безрелигиозностью западноевропейской культуры. В результате случилось религиозное утверждение ницшеанско-марксистского атеизма, т. е. тот типичный и в точном смысле этого слова сатанинский анти-теизм, который является невидимой для самих большевиков осью всего их дела.

Спасение демократии и свободы личности в одном — в придании культурным ценностям религиозной санкции. Но для этого и Церковь должна быть свободна, а не раздираться конфессиональными ссорами, тем более не пачкаться сервильным угождением сильным мира сего. А многообразии политических мирозерцаний само требует демократической, а не диктаторiallyно-фашистской организации политической жизни.

Это был идейный шанс. Но не туда смотрела Клио. Роль творцов идей, определявших судьбу человечества, досталась большевизму и фашизму. Русские европейцы, видевшие крах родившегося пять столетий назад в Возрождении христианского гуманизма, чувствовавшие надвигающееся новое средневековье, пытались найти идеологию, чтобы сызнова пробудить пафос подлинно всеевропейского Возрождения. Задача по-своему грандиозная. Но решать ее приходилось в ужасе войны и гибели людей, в зареве пожаров домов и книг, в очевидной перенасыщенности интеллектуального пространства смыслами, которым уже никто не верил. Они попали в ситуацию, как называл ее Степун, «никем почти не осознаваемой *метафизической инфляции*».

6. Послевоенное признание

После разгрома гитлеризма Степун получает кафедру в Мюнхене. Если для своих российских соплеменников он выступал как представитель германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Его историсофская книга «Большевизм и христианская экзистенция» (1959, 1962) вызвала буквально шквал рецензий в немецкоязычной печати. Их смысл (усвоенный у Степуна) был прост: Россия — не азиатский аванпост в Европе, а европейский в Азии. А затем Степун глубоко уходит в прошлое, пытается понять свой век и причины его катастрофы. Душой и памятью он снова жил в России, писал свои блистательные мемуары, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя «философа-художника». Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров сам сделал русский двухтомник («Бывшее и несбывшее») и сумел его опубликовать.

Эта книга своими идеями еще раз подтвердила его право на пребывание среди избранных умов Европы. Такое избранничество решается не прижизненной сумасшедшей славой (политической или шоумейкерской), а сложным переплетением культурных и исторических потребностей, которые сохраняют подлинные, экзистенциально пережитые идеи. И мыслителю, быть может, достаточно, что он произнес свое Слово.

В немецких некрологах писали: «Волевым актом он из своей собственной ситуации как из некоей модели сделал историсофские выводы и отправился на поиски Европы, в которой Восток и Запад находятся в одном ранге и, в сущности, должны быть представлены как однородные части Европы». Степун был столь же блестящ, как Герцен, и внешне его судьба напоминала герценовскую, но по сути, по позиции — его полным антиподом. В отличие от революционного мыслителя прошлого века, мечтавшего, чтобы Россия обогнала Европу и показала ей пример, Степун говорил о возможном единстве Восточной и Западной Европы на основе христиански-человеческих, демократических норм общежития. Эти его стремления понятны нам сейчас. И более чем понятны. Их воплощение необходимо, чтобы избежать новой катастрофы. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос, сможет ли наконец наша действительность стать разумной, т. е. и в самом деле действительно, а не очердным фантомом.

Идея России и формы ее раскрытия

Пореволуционный клуб обратился к ряду русских писателей и ученых, в том числе и ко мне, с просьбой дать хотя бы краткие ответы на следующие вопросы:

- 1) Считаете ли Вы, что всякий великий народ имеет некую историческую миссию, свою национально-историческую идею?
- 2) Как, по Вашему мнению, правильнее всего формулировать российскую национально-историческую идею?
- 3) Какова должна быть ее «проекция на действительность» — государственную и социальную — пореволуционной России?

Понятие идеи непрестанно менялось в истории человеческой мысли. В своих размышлениях я исхожу из понимания идеи как Божьего замысла о сущностях вещей, людей, времен и народов. Так как весь мир замышлен Богом, а не кем-либо иным, то необходимо признать, что все народы, великие и малые, таят в себе свои идеи, как бы сокровенные духовные зерна, из которых растет и развивается душевно-физическая плоть народа, становится и слагается его судьба.

Сомневаться в величии русского народа, с особенною глубиною философского и художественного раздумья мучившегося над вопросами своей сущности и судьбы, русским людям не приходится. Ясно, что у него есть свои великие идеи и своя трудная миссия. Двух ответов на первый вопрос, по-моему, быть не может.

Иначе обстоит дело со вторым вопросом: «Как правильнее всего формулировать российскую национально-историческую идею?» Первое, что хочется ответить на этот вопрос,— это: не надо; не надо формулировать идеи. Идея, как я только что сказал, это зерно, это «путь зерна», это органический рост и цветение, нечто изнутри каждому, причастному идее, ведомое, но одновременно тайное, сокровенное, а потому и неизреченное. Француз ощущает француза, русский русского как своего, но как сформулировать сущность русского человека? Можно указать: русские люди — это Татаев и Дмитрий Карамазов,— но ведь это имена, а не формулы.

Я понимаю, что не отвечаю на поставленный мне вопрос, а сопротивляюсь ответу. Но я уверен, что без внутреннего сопротивления отвлеченному раскрытию русской идеи обязательно переусердствуешь в ее формулировке; а это весьма опасно не только для теории, но и для политической практики. Постараюсь уточнить и хотя бы кратко развить свою мысль.

Идея народа есть, согласно вышесказанному, образ Божьего замысла о народе. Эта идея может жить в народе или бессознательно, сокровенно, или сознательно, в форме рационально раскрытой и упроченной миссианской историософии. Против теоретического раскрытия идеи, поскольку оно не искажает ее, иметь ничего нельзя. Но надо твердо знать и неустанно помнить, что в процессе теоретического раскрытия идеи отвлеченно формулирующий разум легко отрывается от ее живой конкретности, что неизменно приводит к подмене Божьего замысла о мире (т. е. идеи) произвольными домыслами и выдумками о нем (т. е. идеологиями).

Я не скажу ничего нового, а лишь по-новому повторю старое, если, исходя от противоположения идеи и идеологии, «сформулирую»: идея и миссия России заключается в том, чтобы стоять на страже религиозно-реальной идеи и всюду и везде, где только можно, вести борьбу против ее идеологических искажений.

Против такого ответа на второй вопрос, против такой формулировки русской идеи возможно, как мне кажется, только одно возражение: что она слишком широка, что в соответствующих вариантах она применима ко всем нациям, ко всем народам и даже к отдельным мыслителям, художникам, ученым. На первый взгляд, такое возражение кажется верным, но оно кажется верным опять-таки только потому, что идея, сокровенная жиздательница народной жизни, неуловима в отвлеченной формуле. Ее раскрытие требует не формул, а тщательной *живописи* исторического пути и лица России. Дать хотя бы набросок такого портрета на нескольких страницах ответного письма, конечно, невозможно, но, быть может, до моих вопрошателей дойдет моя основная мысль, если я укажу на то, что Божий замысел о России, т. е. идея России, мне представляется весьма существенно озаменованным тем, что православная церковь была, в противоположность католической и протестантской, прежде всего призвана к ревностному блюдению *образа* Христа и *опыта* христианства, зачастую в ущерб богословскому и религиозно-философскому углублению в проблемы христианства; что Россия не была в своих недрах столь глубоко взволнована Реформацией и Возрождением, просвещенством и индивидуализмом, как Запад, почему и осталась мыслью и жизнью верна своему убеждению, что «высшая идея есть единство всех идей». Все подлинное, глубокое и органическое русское творчество, как философское, так и художественное, запечатлено этой идеей, откуда действенность и жизненность даже и слабых, даже и малооригинальных русских мыслей. Чем дольше живешь в Европе и чем глубже проникаешь в ее культуру, тем яснее становится, быть может, единственное преимущество русского человека: его *первичность* и *настоящность*. Европейцы последних десятилетий, включая и немцев, которых католики-латиняне считают восточными варварами, люди совсем другого склада, лишь в редких случаях отмеченные этой настоятельностью. В их зрелой, тонкой, точной, всеохватывающей мысли, в их художественном восприятии мира и в их искусстве, в их социальных инстинктах и даже просто человеческих отношениях очень много вторичного, производного, отраженного, мыслей от всех тех мыслей, что уже были продуманы человечеством, искусства от пантеона искусств, социальных форм от общественно-политических теорий, человеческих чувств от очень большого, хотя и малоосознаваемого одиночества. Вся культура Запада — культура *обратного пути*: не первичного восхождения идеи к жизни, а вторичного нисхождения идеологии в жизнь. Этим стилем западноевропейской культуры, связанным, быть может, с ее зрелостью и древностью, и объясняется некоторая *ненастоящность* высококачественной западноевропейской души и почти полное отсутствие на Западе людей типа русских «самородков». Оба понятия тесно связаны между собой. Чтобы вырасти в *настоящего* человека, человеку необходимо расти из глубины, из своей собственной идеи, неподатливой на соблазны идеологических выдумок, неустанно преследующих современного человека на всех его путях.

Я, конечно, ни на минуту не забываю подстерегающей все мои размышления опасности; не забываю того, что сейчас нет в мире страны, до такой степени охваченной, опутанной и пронизанной беспочвенными выдумками, как Советская Россия, где попораны и преданы все первичные идеи, где изничтожена всякая возможность самозарождения личности, где все сорвано со своих мест и устоев, где в результате дикого идеологического запоя страна вот уже 15 лет бьется в бреду рационалистического утопизма. Все это так; все это я прекрасно знаю, а потому и понимаю, до чего труднозащитима моя формула, что идея России заключается в защите Божьих замыслов (идей) от человеческих выдумок (идеологий) и в блюдении себя как главной твердыни на фронте идей. Перед лицом большевицкой действительности иностранцам и западнически настроенным русским скептикам такое понимание сущности русской идеи не может не казаться непростительной идеологической выдумкой. Но

ведь я не к иностранцам обращаюсь и даже не к русским западнически настроенным скептикам, а к представителям национальной пореволюционной молодежи. Ей, думается, как и мне, должно быть ясно, что факт большевизма моего понимания русской идеи не оспаривает. Во-первых, потому, что большевизм не русская правда, а русский грех, — и это очень важно, — потому что Россия даже и в большевизме, даже и в измене своей идее в известном смысле, осталась верна себе. Знаком этой верности «от противного» являются страстность ее саморазрушения, безоглядность ее идеологизма и неопикуемость ее страдания. Попасть на путях веры в разум, науку, технику и организацию в такое безвыходное положение, в какое попала Россия, только и могла страна, рожденная не для того пути, на который свернула. Так и большевизм свидетельствует все о том же: о том, что идея России в блюдении Божьего замысла о мире и лика Его в каждом человеческом сердце. Это старо, но верно.

Христианская культура Европы находится сейчас в очень критическом состоянии. Ее отточенная мысль, ее глубокая наука, ее изумительная техника, все формы ее политической и социальной жизни, все это с головокружительной быстротой передается (в смысле цивилизационного процесса) более молодым и энергичным народам, настроенным далеко не всегда дружелюбно к старой Европе. Для мирового духовного и политического положения сейчас весьма характерно восстание вооруженных европейской цивилизацией народов на *душу* Европы. Прекрасно видя это, Шпенглер в качестве выхода предлагает европейцам римски-героическую позу презрения к жизни и притятия смерти. Выход внешне эффектный, но внутренне, конечно, пустой; в сущности, вообще не выход. Подлинный и единственный выход — в другом: в углублении христианской памяти европейской культуры, в творческом оживлении ее христианских корней. На этих путях Россия, попавшая в такой страшный тупик безбожной выдумки и отвлеченного идеологизма, и может и должна еще сказать свое слово.

Перехожу к третьему вопросу, к вопросу о проекции русской идеи на государственную и социальную действительность пореволюционной России. И тут наиболее важным представляется мне *воздержание от идеологически-отвлеченного прожекторства*. Если идея России в защите идеи от идеологий, то ясно, что она не может быть раскрыта на тех идеологических путях, на которых сейчас гибнет христианская душа Европы и с которых она должна сойти, чтобы спастись. Думаю, что нам в этом отношении необходимо стать гораздо более трезвыми, чем были наши предшественники — славянофилы. Москва — третий Рим, община — первоячейка социального христианства, Россия — третья сила, которой суждено примирить безбожного человека Запада и бесчеловечного бога Востока, союз России и Англии как орган христианизации Востока, Россия — единственный оплот против западноевропейской революции — вот несколько примеров того, чего больше не надо, что потерпело страшное крушение, отчего становится как-то стыдно при взгляде на Советскую Россию и на нашу собственную вину и немощь. Что же, однако, спросят меня, надо? Как защищать и как осуществлять русскую идею, если ее даже и высказать нельзя? Отвечаю — высказывать русскую идею и можно, и должно, но только надо озабоченно и неустанно помнить, что такое высказывание должно заключаться в русском, т. е. конкретном, предметном, христианском высказывании по вопросам текущей и грядущей русской жизни, а не в отвлеченных построениях русскости вообще и русских исторических задач в частности. Русскость есть качество духовности, а не историсофский, политический и идеологический монтаж. Русская идея в своей проекции на действительность заключается таким образом в том, чтобы всем нам, отбиваясь от наступающей на нас в эмиграции денационализации и от цивилизаторски-идеологического варварства большевицкого марксизма, осознавая, растить в себе и, растя, осознавать подлинную природу русской духовности и своеобразный стиль русской культуры. Основными «категориями» этой духовности в ее положительном полюсе я считаю: Лик, лицо, око, глаз, глазомер, святость, предметность, действительность, конкретность, трезвость, соборность. Я не настаиваю на полноте моего перечисления и заранее соглашаюсь, что эта неполнота сужает, а может быть, и искажает об-

раз русской духовности. Но сейчас для меня важно не столько полное раскрытие образа русской духовности, сколько указание правильных внешнеидеологических путей этого раскрытия. Быть может, то, что я хочу сказать, будет понятнее, если я сопоставлю систему русских категорий, в которых пореволюционное движение должно, по-моему, мыслить будущее России, с системой других, назову для примера — германских категорий. Верховною категорией германски-протестантской духовности является не Божий лик, а метафизическая идея (в германской мистике — идея безликого Бога). Снижаясь, идея превращается не в лицо человека (образ и подобие Божье), а в человеческую мысль. На этом пути нисхождения абсолютного в относительное глаз превращается в точку зрения, в глазомер, т. е. опыт глаза (интуиция), — в теоретическое доказательство. В духовно-практической сфере жизни высшей нормой германски-протестантской культуры является не святой, а герой. Сущность святого в самопреодолении, сущность героя — в самоутверждении. Самоутверждение же — источник всех воспалительных, иллюзионистических и утопических процессов в жизни. Культуры, основанные на метафизической идее и самоутверждающейся героической личности, могут быть культурами творчески весьма глубокими и богатыми, исполненными подлинного прометеевского пафоса, но не могут быть культурами религиозно-трезвыми и духовно-предметными.

Я знаю, что все время кружу в своем ответе вокруг одной и той же точки и все не перехожу к тому, чего от меня ждут мои вопрошатели, т. е. к указанию конкретных форм или, по крайней мере, основ русской пореволюционной государственности. Надеюсь, что после всего сказанного такая моя медлительность в переходе к частностям должна быть понятна. Я уверен, что по сравнению с тем, что мне, надеюсь, все же удалось сказать, все чисто государственные и хозяйственно-правовые формы лишь производные детали, которые в значительной степени будут определяться развитием внешних событий в России. Я уже писал и снова настойчиво повторяю, что *верховная* задача пореволюционного движения не в выработке программ и конституций, а в работе над образом пореволюционного русского человека и в выработке форм его коллективной, в пределе соборной жизни. Это отнюдь не означает толстовского нигилизма в отношении всех государственно-политических вопросов как таковых и перенесения пафоса жизнеустроительства включительно в сферу личного нравственного самоусовершенствования. От такой постановки вопроса я бесконечно далек. Новоградцы все скорее сверхсоловьевцы, чем полутолстовцы. Требование «оправдания добра» государственными, политическими, хозяйственными и социальными положениями и учреждениями для нас непреложно. Это требование — основной пафос пореволюционного сознания всех оттенков и направлений. Если я все же говорю, что вопрос государственно-правовых и социально-хозяйственных форм — вопрос вторичный и производный, то я этим хочу сказать лишь то, что в каждую минуту исторического развития должны утверждаться те формы политической жизни, которые несут в себе гарантию максимального «оправдания добра». Русская идея как идея религиозная, а тем самым и конкретная, несовместима с отвлеченно-идеологическим доктринерством. Такое доктринерство было самой большой ошибкой дореволюционной интеллигенции. В этом отношении от пореволюционного сознания требуется коренная перемена духовной установки. Как христианская этика личной сферы есть этика совета, а не этика закона, так и общественная этика христианства требует, чтобы общественно-политическая жизнь была заботливо, внимательно и осмотрительно *удумана*.

Защита то что бы то ни стало раз навсегда утвержденных принципов такому удумыванию может только мешать.

Политической формой, в которой наиболее легко будет удумать русскую жизнь согласно русской идее, мне на ближайшее после падения или низвержения большевиков время представляется республика с *очень сильной* президентской властью. Президент выбирается всенародным голосованием на пятилетний срок. На этот срок он получает диктаторские полномочия. Назначаемый им совет министров

не требует утверждения со стороны высшего органа народного представительства. Вся полнота ответственности падает на президента.

Высший орган народного представительства — назовем его «советом советов» (вопроса его избрания и состава не касаюсь), — организующий и выборы президента, в переходный период имеет только совещательный, но не законодательный голос. Государственная власть гарантирует ему свободу совести и слова. Смысл его периодических, не слишком частых собраний — всестороннее освещение деятельности правительства, предупреждение президента и совета министров от ложных шагов и подготовка общественного мнения к выборам нового президента.

Поскольку в основу будущего строя России должны будут лечь, с одной стороны, свободно выбранные советы, а с другой — сильная президентская власть, его можно охарактеризовать как строй *авторитарной демократии*. Слово «демократия» должно получить в пореволюционной России новый, *металлический* звук. Пореволюционному поколению необходимо сердцем продумать и жизнью понять, что идея подлинного народоправства сводится всего только к двум положениям: во-первых, к утверждению абсолютной ценности всякой человеческой личности, которая, принадлежа Богу (так аргументировал еще в 1687 году Локк), а не себе, может лишь делегировать свои права другому человеку, но не может отдать себя в его полное распоряжение; а во-вторых, к утверждению народа не как атомизированного коллектива, а как соборной личности, т. е. как коллектива, собранного в живую личность Божьим замыслом о нем. Я очень хорошо понимаю, что такое ощущение демократии чуждо как беспозвоночному европейскому демократу-парламентарю, не помнящему в своей душе религиозных корней своего собственного учения, так и жестокый фашист, склонному к цезаристскому обожевлению диктатора; но я уверен, что оно лишь по недоразумению может отрицаться русским религиозно-национальным пореволюционным сознанием, исповедующим реальность Божьего лица, лицо человеческое как образ и подобие Божие и соборность как внутреннюю сущность и истину всех коллективных форм человеческого общества. Я уверен, что вне формы авторитарной демократии русская идея неосуществима. Всякий героический цезаризм и исторически, и мистически абсолютно чужд России.

Само собою разумеется, что при таком понимании демократии не может быть и мысли о допущении демократической борьбы против демократии. Пореволюционная авторитарная демократия и может, и должна быть лишь *демократией для демократов*. Против ханжества своих врагов ей приличествуют все формы действительной самообороны. Нельзя забывать, что демократия обязана защищать не только свободу мнения, но и *власть свободы*. Если эта власть не защитима словом, то ее надо защищать мечом. Это, по нашему времени, положения элементарные и очевидные.

Какова должна быть проекция русской идеи в социально-хозяйственной области? И тут необходимо, в первую очередь, повторить уже сказанное. Самое важное — радикальный отказ от трактования хозяйственной сферы как сферы символического означивания какого бы то ни было общего мирозерцания, какой бы то ни было идеологии. От такого, пусть бессознательного, понимания хозяйства и такого отношения к нему большевиков гибнет сейчас Советская Россия. Такая же мертво-отвлеченная идеология «святой собственности» мешает и Западной Европе выбраться на новый путь. Ни коллектив, ни собственность сами по себе не святы и не ценны. Смысл хозяйства прост и ясен. Внешний, первичный смысл его заключается в том, чтобы устроить человека на земле, чтобы укрыть, обути, одеть, согреть, напоить, накормить и защитить его от всяких неожиданностей и опасностей; далее, смысл хозяйства заключается в создании того экономического избытка, который дал бы возможность обществу и государству пробудить и удовлетворить культурные потребности человека. К этому первичному и ясному смыслу хозяйства надо, однако, присоединить еще второй, более глубокий и сокровенный. Рациональное хозяйствование только тогда праведно, когда хозяйственный труд не расхищает, а строит как душу трудящегося человека, так и образ преображаемой трудом земли. Праведен всякий труд только таящимся в нем творчеством. Сущность же творчества в раскрытии *лич-*

ности творца на путях оличения обрабатываемого материала. Такие мысли не раз высказывались религиозными мыслителями и древних и новейших времен. Не надо, однако, думать, что религиозность, или «мистичность», мысли означает ее непримиримость с жизнью или хотя бы только далекость от нее. Как раз наоборот: чем религиознее мысль, тем она, в сущности, ближе действительности. На примере истории немецкого законодательства об охране природы (*Naturschutzgesetz*) можно, к слову сказать, очень наглядно проследить хозяйственный смысл мистически-религиозных положений. Так, опыт насаждения лесов, с чисто экономических точек зрения, оказался экономически невыгодным. Сосновые, еловые, как и все остальные виды не смешанных, т. е. противоприродных, лесов оказались под бойкотом пернатого населения и никакими искусственными средствами не защитимыми от паразитов. Сейчас лесничества мучаются над искусственным насаждением естественных, т. е. природных, лесов, дабы повысить доходность лесоводства. В том же направлении движутся современные исследования о недостаточности специализма для успешного разрешения экономических проблем. Специалисты всюду необходимы, но, в сущности, лишь в качестве одушевленных вещей, машин. Во главе же больших предприятий, в частности в Америке, стоят специалисты по широкому кругозору жизни, знатоки людей с хорошим глазомером и жизненным опытом, т. е. личности.

Говорю обо всем этом мимоходом и, конечно, лишь приблизительно, с единственной целью показать, откуда, по-моему, пореволюционное сознание должно подходить к разрешению экономических вопросов.

Основной вопрос: возвращаться ли к единоличной собственности или продолжать линию коллективизации, оставаться ли при плановом и огосударственном хозяйстве или возвращаться к анархизму капиталистического производства,— сам по себе неразрешим. Надо будет делать то, что будет по силам трудящемуся русскому человеку, что окажется на уровне его духовных возможностей, *на путях к созданию его внутренней личности*. Никакого объективного социально-хозяйственного безумия в большевицких плано-коллективистических идеях и затеях нет. Все безумие заключается только в том, что эти планы осуществляются не в порядке вольно-трудового взращения высшего типа человеческой личности, а в порядке насильнического разрушения исторически выросшей личности, русского крестьянина. Если бы субъект советского колхоза был соборною личностью, хотя бы в самой обмирщенной форме, т. е. просто-напросто трудовую артелью, в которую каждый член вступал бы по своей доброй воле, т. е. по вольному усмотрению подлинного добра в коллективном труде, то все было бы если и не в порядке, то все же на пути к возможному порядку.

Из этого следует, что идея личности как в антропологической, так и социологической проекциях русской религиозной идеи отнюдь не совпадает с идеей индивидуализма. Наоборот, индивидуализм, расцвет которого начинается в Западной Европе с эпохи Возрождения, скорее враждебен христианской идее личности, чем созвучен ей. Конечно, и отдельные человеческие особи могут быть гнездилищами религиозного начала личности (за последние столетия они только ими и были), но в такой же, если не в еще большей степени могут ими быть коллективы всех ступеней и направлений. Не подлежит никакому сомнению, что мы приближаемся к эпохе, стремящейся к расторжению старой связи личности и индивидуума и к осуществлению новой связи личности и коллектива.

Россия может и должна стать во главе этого мирового процесса, хозяйственный аспект которого мы называем социализмом. Смысл и правда социалистического коллективизма и социалистической плановости не могут заключаться ни в чем ином, кроме как в освобождении религиозного начала личности из тисков своекорыстного индивидуализма. В этом смысле верно положение, что христианская душа по природе социалистична и что хозяйственной проекцией русской идеи должен быть потому признан социализм, а не капитализм.

Я вполне понимаю, что многим представителям пореволюционного течения, видящим цель своей жизни в борьбе с большевизмом, слово «социализм» неприятно

и что они стремятся заменить его каким-либо другим, например, трудовизм. О словах можно, конечно, не спорить, хотя я лично думаю, что отказываться от традиционных словесных обозначений определенных духовных устремлений на том основании, что они были преданы жизнью, неправильно. Если руководиться такими соображениями, то надо будет по примеру некоторых радикальных протестантских течений отказаться и от таких слов, как догмат, церковь, таинство, на том основании, что они скомпрометированы реакционным клерикализмом. Но, повторяю, спорить о словах не буду. Скажу только, что слово «трудоизм» представляется мне на том основании недостаточным, что оно ничего не говорит о субъектах труда и о формах его осуществления. Трудоизмом можно назвать и нравственный пафос Толстого, и трудовой аскетизм пуританского предпринимательства. Слово же «социализм» сложнее, но и точнее. Оно означает *и труд, и устремление коллективного труда к соборной личности*. Но, конечно, чтобы слышать так, надо совершенно непосредственно ощущать, что большевицкий марксизм, этот отработанный пар капитализма, имеет очень мало общего с социализмом.

Вот все, что могу в кратком письме сказать о проекции русской идеи на государственную и социальную действительность пореволюционной России. В дальнейшем постараюсь дать анализ русских пореволюционных течений с высказанной мною точки зрения на идею России и возможные формы ее исторического воплощения.



Александр МЕЛИХОВ,
Андрей СТОЛЯРОВ

Небесное и земное

Александр Мелихов. Популярная среди уголовников наколка гласит, что губят человека карты, вино и женщины. Неудержимая тяга к водке давно, а пристрастие к игре недавно, но все-таки вошли в перечень психиатрических диагнозов. Однако неукротимая страсть к женщине болезнью все еще почему-то не считается. Разве что высокой. Хотя судеб она сокрушила побольше всех рулеток, включая русскую. И следить за ее развитием — дело неизмеримо более увлекательное, чем наблюдать за везением и невезением в картах.

Андрей Столяров. Любовь для писателя одновременно и губительна, и целебна. Целебна она потому, что излечивает, по крайней мере на время, от бессмысленности существования. Любое творчество — это, как правило, обращение к смыслу. Зачем мы живем и как мы живем — вот единственное, чем в действительности занимается литература. Смысл жизни — это предмет любого повествования, любой истории, любого прозаического или стихотворного произведения. Смысл — это внутреннее содержание творчества, не всегда отчетливо формулируемое, но ощущаемое сквозь самые вычурные словесные построения. Серьезная литература тем и отличается от коммерческой, что всегда обращена к смыслу. И вот здесь проявляет себя обратная сторона творчества, потому что чем ближе и чем смелее подходишь к пониманию этого смысла, чем отчетливее и вместе с тем недоступнее проступает он на жизненном горизонте, чем больше пройденный путь и чем меньше оставшийся, тем сильнее, к сожалению, чувствуешь тщету и никчемность любых усилий. Человек приходит из небытия и уходит в небытие. Человек рождается, и человек умирает. И принадлежит он не времени, а именно небытию: время — лишь очень краткая форма его земного существования. Бессмысленность — вот что угнетает почти каждого писателя прежде всего. А любовь — и в этом, видимо, ее главное свойство — именно и придает жизни необходимый смысл. Любовь — это смысл сам по себе, смысл в чистом виде, и в отличие от сиюминутных бытовых устремлений она не нуждается в оправдании. Напротив, любовь сама является оправданием. Она делает жизнь — жизнью, а не просто «формой существования» неких «белковых тел». Вот почему писатели, как мотыльки на огонь, неудержимо летят к любви, и вот почему это для них действительно нечто вроде «высокой болезни».

А губительна любовь потому, что, работая с эмоциями (а творчество — это в первую очередь работа с эмоциями, вне эмоций никакое творчество невозможно), писатели воспринимают мир гораздо острее, чем люди других профессий. Это не есть достоинство, как иногда считают, возвышающее писателя над остальными, но это и не есть недостаток, ввергающий автора, как тоже иногда полагают, в патологическую ущербность. Это просто особенность профессионального творческого состояния. Особенность, достаточно неприятная для носителя такого профессионального состояния и, однако, необходимая — иначе подобного состояния у автора вообще не будет. Вот в чем тут дело. То, что для человека всякой другой профессии, уже, как правило, защищенного опытом жизни от лишних переживаний, является лишь неприятностью и потрясения не вызывает,

для писателя, который, чтобы остаться писателем, вынужден жить эмоциями, сокрушительно и зачастую представляет трагедию. А поскольку счастливой любви у писателей опять же, как правило, не бывает, то трагедия — почти неизменный признак литературной судьбы. История литературы полна таких примеров: Пушкин и Наталья Гончарова, Фицджеральд и его жена Зельда, трагическая влюбленность Достоевского, Абеляр и Элоиза, Блок и Любовь Менделеева. Все это хорошо известно даже людям, не слишком интересующимся литературой. Кстати говоря, многим и в самом деле известно только это.

А. М. В советское время туристов в Париже непременно таскали по ленинским местам. Нынешняя свобода позволила нам ездить на поклонение оторвавшимся от российской почвы творцам русской культуры, «припадать к корням», — вот только метафору эту экскурсоводши стали понимать излишне прямо. Или, наоборот, излишне криво: у каждого знаменитого надгробия на кладбище Сен-Женевьев де Буа они повествуют исключительно о том, с кем покойный спал, а с кем поневоле бодрствовал, и почему. «Иван Алексеевич Бунин. На склоне лет завел роман с собственной секретаршей. Но она изменила ему с другой женщиной». Хоть бы прибавили: «Но мы любим его не только за это», — нет, у нас же свобода, эх, эх, без креста! Нравоучение следует в том же роде: «Запомните, мужчины, никому, кроме ваших жен, вы не нужны».

И такой теплый вздох глубокого понимания пролетает над группой. Нет, не вздох злорадности: ага, он так же мал и мерзок, как мы; напротив, похоже, нехитрая мыслишка «все-то мы люди, все человеки» уменьшает благоговение, но повышает доверие и симпатию. Хотя хватает и черни, которая выискивает пороки гениев, чтобы защитить свое право и на них поглядывать свысока.

Однако в неудержимой тяге к интимной жизни классиков — всегда ли за ней стоят только суетные причины?

А. С. Подлинные причины, по-моему, лежат гораздо глубже. Жизнь современного человека, как ни странно, бедна страстями. У нас множество неприятностей, в том числе и таких, которые мы воспринимаем очень болезненно, но у нас мало подлинных переживаний, связанных с основными категориями бытия. Жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и трагедия вытеснены безвкусными поведенческими суррогатами. Вместо жизни — существование, вместо смерти — инфаркт или онкологическое заболевание, любовь заменена связью, ненависть — неприязнью в форме склоки на коммунальной кухне. Счастьем становится мелкое материальное достижение, а трагедией — недополучение каких-либо материальных благ. Современному быту не хватает собственно бытия, а отсюда — такой интерес к чужим трагедиям. Что прежде всего показывают по телевидению? Смерти и катастрофы. Что более всего вызывает у людей интерес? Кто из известных в истории персонажей — с кем, как и когда. Это паразитирование на чужих эмоциях. Свою трагедию, подлинную, переживать, естественно, никому не хочется, а вот чужую, да еще сидя в упоительной безопасности домашнего кресла, с удовольствием, а часто даже и с наслаждением. Ибо чужая трагедия вносит в существование привкус жизни. Эти категории, разумеется, можно воспринимать и через культуру. Ведь культура — это и есть непрерывное очищение вечности от сиюминутного. Однако, чтобы испытывать катарсис, например, при чтении классической литературы, требуется не только привычка читать, но и определенное эстетическое усилие. А вот чтобы воспринимать интим, бытовые сплетни, никакого эстетического усилия не требуется. Интерес к интимной жизни писателей — признак собственной недостаточности.

А. М. Не только. Мне кажется, просто знать, кто и с кем, — ничего не знать. Но психологические нюансы писательских романов — не тех, что печатаются в типографиях, — в принципе способны углубить наше понимание их творчества. Фрейд полагал, что неудовлетворенное либидо прямо-таки и есть истинная причина творчества, но я думаю, что это если и не полная чушь, то, во всяком случае, полная бездоказательность. Хотя в подкрепление ей можно подобрать кое-какие суждения и самих писателей — правда, наверняка шуточные.

Молодой Пушкин писал в частном письме, что другие, мол, влюбляясь, марают простыни, а он пишет стихи. Чехов — тоже в письме — сетует, что Левитана «истаскали бабы», — «восторг невозможен, когда человек обожрался». Вот если бы он, Чехов, был пейзажистом, то «употреблял» бы раз в год (а ел раз в день). В этом же духе и другая выдержка: «Разве половая способность есть признак настоящей жизни, здоровья? Все мыслители в 40 лет были уже импотентами, а дикари в 90 лет держали 90 женщин». Писалось это в возрасте Иисуса Христа, за семь лет до освобождающего срока. Думаю, Бунин в свои восемьдесят возразил бы ему очень горячо: неправда, половая способность есть признак настоящей жизни и здоровья! Бунин, возможно, не согласился бы даже и с тем, что воспитанному человеку, а «особливо художнику» от женщины нужна «способность быть не ..., а матерью».

А. С. Честно говоря, терпеть не могу писем писателей. Все, что автор хотел людям сказать, он сказал в своих книгах. А письмо пишется не для публики, жаждущей пикантных подробностей, но для конкретного человека и более ни для кого. Зачастую оно пишется под влиянием настроения, которое скоро проходит, под влиянием ситуации, о которой сейчас мы уже ничего толком не знаем. Автор в эту минуту мог быть, например, раздражен по какому-то совершенно иному поводу, мог быть чем-то обижен, мог устать после целого дня работы. В конце концов он мог просто торопиться куда-то и в спешке выразиться не так, как хотел. За редчайшими исключениями письмо пишется вовсе не так, как литературное произведение: оно не обдумывается специально, не выстраивается «под сюжет», не правится много раз, чтобы добиться слияния текста и замысла. В книгах автор, как правило, выше себя, потому что в книгу он собирает лучшее, что в нем есть; в письмах же он не то чтобы ниже себя или намного хуже, но — нередко сообщает подробности, которые предпочел бы не выставлять на публике. Подробности, во всяком случае, не эстетизированные. И потому я лично просто не хотел бы знать некоторых вещей, которые, скажем, Пушкин говорил о своей жене. Вообще не хотел бы знать, изменяла она ему или нет. Разумеется, мне это до некоторой степени любопытно: обывательское пристрастие к такого рода делам присутствует почти в любом человеке. И все же я лично предпочел бы не знать. Если сам Пушкин считал, что повод для дуэли достаточен, значит, именно так и есть. Тут я целиком полагаюсь на его мнение.

Что же касается процитированного тобой замечания Чехова, то, конечно, любовь и секс — вещи принципиально разные. Любовь — это изначально притяжение человека стремление к идеалу, а секс — нечто вроде обеда, который необходим, но редко вызывает эстетические переживания. Поэтому любви всегда мало: она испаряется, и удержать ее практически невозможно. А вот обедать чаще, чем требуется, действительно вредно. Сытость — это уже не духовное, а чисто биологическое состояние человека. Не зря Хемингуэй говорил, что утренняя близость с женщиной оплачивается страницей хорошей прозы. И диетологи не случайно советуют вставать из-за стола немного голодным. Для творчества, как и для любви, необходима некоторая аскеза. Пост — не прихоть религии, а победа духа над плотью. Воспитание личности начинается именно с самоограничения.

А. М. И умения преодолевать ограничения. Впрочем, я тоже считаю, что любовь и секс — разные вещи. Возможно, даже не имеющие между собой почти ничего общего — как соседи, случайно поселившиеся в одной коммуналке. «Возможно»... Насколько проще выразаться от лица своих героев, чем от себя лично, — героям можно отдавать самые крайние мнения, не делая никаких оговорок. В романе «Горбатые атланты» один мой персонаж утверждал, что столь страстное, избирательное и длительное влечение отдельных мужчин к отдельным женщинам, совершенно излишнее для биологического продолжения рода, происходит оттого, что мужчины и женщины выполняют разные социальные функции, их по-разному воспитывают, постоянно при этом подчеркивая, что их ценность во многом определяется отношением другого пола: «Мальчики не должны пла-

кать — девочки будут смеяться, девочки не должны так скакать — мальчики не будут любить...» Действуя таким образом, можно было бы вызвать любовь между блондинами и брюнетами. В последнем моем романе герой опять-таки твердит то, на что я сам без оговорок бы не решился: человек (а тем более — писатель, творец фантомов по профессии) способен по-настоящему обожать лишь собственный фантом, и если даже на поверхностный взгляд он обожает реальный предмет, то все равно видоизменяет его своей фантазией иногда до полной неузнаваемости. Обожаемая женщина — разумеется, существо реальное, с паспортом и пропиской, но можно быть уверенным, что никто другой не видит ее такой, какой она видится влюбленному.

А. С. Да, конечно, любовь — это фантом. Это самое ее удивительное и самое странное свойство. И действительно вера в фантомы — то, что выделяет человека из мира природы. Человек лишь постольку является человеком, поскольку он способен пленяться иллюзиями. Он начинается там, где начинает работать воображение, и становится по-настоящему человеком, только осознав его ценность. Именно так возникают цивилизации и культуры. Именно этому обязаны своим появлением литература, музыка, живопись. Именно потому идеи оказываются иногда весомее жизни и для того именно дано человеку то, что мы с тобой сейчас обсуждаем. Конечно, любовь — это фантом. И как всякий фантом она почти не существует в реальности. Попытки претворить фантом в жизнь всегда заканчиваются катастрофой. Идеал нежизнеспособен, и его конкретное воплощение оказывается искаженным до неузнаваемости. Так было с социализмом, в замысле представлявшим собой рай на Земле, а в реальности обернувшимся лагерями и преследованием инакомыслящих. Так было с церковью, первоначально основанной на стремлении к Богу и заканчивающейся сейчас спором конфессий: чей Бог лучше? И точно так же, вероятно, происходит с любовью. Любовь, что бы ни говорила по этому поводу литература, бывает только «небесной». «Земной» любви нет, есть лишь плотское, весьма слабое, кстати, ее отражение. Оно изредка дает представление о том, что такое любовь, но самой любви не приносит практически никогда.

А. М. Смело. Впору отдать литературному герою — от собственного имени я не решусь выступить столь безапелляционно. Но в чем я уверен, так это в том, что романтическая, то есть истинная, идеализирующая любовь, не ищущая своему идеалу никакого прагматического употребления, желающая лишь длить и длить сладостное (психологическое) переживание, — что эта любовь — продукт не биологии, а культуры. То есть той системы коллективных иллюзий, условностей, мнимостей, которая доставляет нам высокие переживания, не связанные с нашими личными удовольствиями и неудовольствиями. Романтическая любовь, подозреваю, есть следствие разделения человеческой природы на высокое и низкое — только после этого разделения могло возникнуть стремление создать образ, совершенно свободный от низкого. Эти идеальные образы — фантомы — начали дарить людям переживания небывалой красоты и интенсивности, но они же начали входить в противоречие с реальной, смешанной природой человека. И я готов вынести на обсуждение следующую гипотезу: отношение писателя к женщине является косвенным индикатором и его литературной романтичности. То есть пропорции отвлеченных и обыденных мотивов в его произведениях, соотношения выдумки и реальности, склонности вмешиваться в реальность или ограничиваться переживаниями по ее поводу...

Ну, скажем, Пушкин (если упростить, а иначе наспех не получится): похоже, для него женщины служили источником прежде всего захватывающих лирических переживаний, а относится к ним как к существам, требующим заботы и ответственности, он, кажется, был не склонен. Сходным образом он и в поэзии своей беспрестанно преобразовал будничное в прекрасное — и чаще всего довольствовался этим. Хрестоматийный пример Белинского: скучное мощение улиц у Пушкина звенит и сверкает — «Но уж дробит камня молот, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный город, Как будто кованой броней». Чудо! Но

призывов мостить улицы у него днем с огнем не найдешь. Разве что, «авось, дороги нам устроят»... Да, «не для корысти, не для битв». И в собственной жизни, как ни старался он обрести счастье на проторенных путях, как ни называл свою «мадонну» в письмах «женкой» и «хват-бабой», но так и не сумел слиться со своим — не совсем шуточным — идеалом: «Мой идеал теперь — хозяйка, Мои желания — покой, *Да щей горшок, да сам большой*».

А. С. Повторю: претворение идеала в жизнь всегда заканчивается катастрофой. Достижение идеала приводит к тому, что он перестает быть идеалом. Обретая земную материальную форму, он становится чем-то иным. Замысел неизбежно и очень существенно отличается от своего воплощения. Уильям Фолкнер, написавший, если не ошибаюсь, семнадцать романов, признавался, что каждый его роман — это сокрушительное поражение. А ведь Фолкнера в отличие от многих других нобелевских лауреатов читают до сих пор. И поэтому любовь тоже почти всегда заканчивается катастрофой. Любви можно достичь, но, как я уже говорил, ее нельзя удержать. Любовь — это очищение страстей, катарсис, это счастливое, но все-таки наивысшее напряжение всех человеческих сил. А человек не может вечно пребывать в состоянии катарсиса, хотя в этом, по-моему, и заключается суть профессии литератора — все время находиться в состоянии катарсиса. Любовь выдыхается, растворяется в бытовых отношениях, низводится на уровень обыденности. Романтизировать же обыденность невозможно. Нельзя, как бы страстно этого ни хотелось, «ревновать только к Копернику». Это бывает исключительно в литературе, но не в реальной жизни. Тот же Маяковский констатировал это в довольно-таки неудачной, на мой взгляд, строчке: «Любовная лодка разбилась о быт». Катарсис иссяк, силы кончились, и вместо иллюзии открылись вокруг бесплодные земли.

Разумеется, трагедия любви для писателя плодотворна. Счастье, как и собственно сытость, делает человека невосприимчивым к жизни. Счастье писателю необходимо, потому что оно создает обязательную для творчества «вертикаль ощущений», и одновременно счастье губительно, потому что оно отсекает от человека трагическую сторону бытия. Счастливые не просто «не наблюдают часов», они не наблюдают ничего вообще. Счастье самодостаточно, ему не требуется ничего, кроме счастья. Чувственный же диапазон трагедии значительно шире. Он простирается от преисподней эмоций до наивысшего их состояния. Это обусловлено разницей двух эмоционально противоположных стихий: трагедия помнит о бывшем счастье, а у счастья памяти нет.

А. М. Это индивидуально: есть счастливицы, которые помнят только радости.

Но я продолжу о любви как индикаторе романтичности. Самый романтичный из наших гениев — Достоевский, чьими героями постоянно владеют какие-то далекие от обыденности грандиозные идеи и страсти, — у него и в личной жизни любовные терзания носили весьма небудничный характер. «Неестественный», — сказал бы Толстой. О жене семипалатинского учителя-пропойцы М. Д. Исаявой он пишет своему тогдашнему другу А. Е. Врангелю: о, если бы знали вы, что такое эта женщина! А Врангелю кажется, что он и знает, что она такое: довольно образованна, любознательна, добра, необыкновенно жива и впечатлительна, но «необыкновенность» эту явно следует понимать не как уникальность, а как простую замену слова «очень». Да и маловероятно, чтобы прямо-таки единственная в мире поджидала его именно в Семипалатинске. Скорее всего Врангелю можно верить и в том, что она ссыльному нищему солдатику, страдающему падучей, только сострадала — «человеку без будущности». И вот ее мужа переводят в Кузнецк «по корчменной части», Достоевский рыдает, «как ребенок», спадает с лица, томится, а в ее письмах, переполненных жалобами на страшное одиночество, все чаще мелькает имя молодого учителя рисования Н. Вергунова. Достоевский терзается ревностью, рискуя своей относительной свободой, тайно скачет на свидание за триста верст в Змиев — ей же вырваться не удается: у мужа ухудшение здоровья, и приехать не на что... Словом, ужас и отчаяние. Но как

при этом Федор Михайлович отзывается о сопернике? «На коленях готов за него просить», «он мне дороже брата родного».

Наконец муж-разлучник умирает, Достоевский добивается руки Марии Дмитриевны, увозит ее в Россию — и через год-другой начинает ей изменять. А затем «при живой жене» — умирающей — заводит опять-таки роковой роман с «нигилисткой» Аполлинарией Суловой, впоследствии сильно исковеркавшей жизнь и В. В. Розанову. Снова бездны, надрывы, не сразу прекратившиеся даже в пору счастливого брака с легендарной Анной Григорьевной. Для Толстого, по крайней мере в теории, это была бы идеальная женщина, и она действительно внесла в жизнь Достоевского относительный порядок, покой и достаток. И он привязывается к ней, скучает, но в романы его, написанные на бумаге, этот тип женщины — доброй, терпеливой, преданной, деятельной — так и не проникает, в них по-прежнему царят психопатки, сжигаемые уязвленной гордостью. Власть обыденности в творимых Достоевским мирах — фантомных, для любого писателя не менее важных, чем реальность, — укрепляется весьма незначительно. Если вообще укрепляется.

А. С. Жены писателей — это вообще тема особая. Никакой любви — романтической, роковой, страстной, ну и так далее, здесь быть, по-моему, не должно. Жениться по любви — это худшее, что писатель только может придумать. Любовь, как бы первоначально сильна она ни была, все равно испарится, превратив недавнее счастье в трагедию. Но если мучительно не сложившийся (в жизни) роман еще можно как-то прервать — например, усилием воли, просто перестав видеться с той, что порождает теперь только страдание, — то прервать законно оформленный брак, сцементированный законами, общей квартирой, детьми, уже гораздо сложнее. Даже чисто технически эта ситуация довольно громоздкая. Она опутывает человека таким количеством почти неразрешимых проблем, что буквально годами приходится биться за долгожданное освобождение. С одной стороны, это вроде бы и неплохо, потому что стабилизирует брак: кризис может быть преодолен, и тогда семья вновь приобретает устойчивость на долгое время, но, с другой стороны, писатели — люди, как правило, нетерпеливые, и такая техническая невозможность получить все немедленно, «здесь и сейчас», только усугубляет трагедию.

Писателю, по-моему, нужно жениться холодно, по расчету, предварительно осознав, что ему с его темпераментом требуется именно налаженный быт, на женщине ни в коем случае не принадлежащей к миру литературы, на такой, от которой заведомо ничего не ждешь в смысле романтических или роковых страстей. Чем прозаичней жена писателя, тем лучше. Страсти, в том числе и самые возвышенные, следует оставить литературе, а семья для писателя должна быть прежде всего надежным убежищем, где он может спастись от «невыносимой легкости бытия». И потому главное качество для жены писателя — это терпение. Она должна терпеливо ждать, пока муж добьется признания (если он, разумеется, добьется признания вообще), она должна без каких-либо жалоб переносить бедность и опять-таки терпеливо ждать, пока муж начнет зарабатывать деньги на литературе (кстати, этого также можно не дожидаться вообще никогда), и, конечно, она должна терпеливо сносить все причудливые «повороты», которых у писателей множество и которые сами они, как правило, контролировать не способны. В идеале жена не должна читать рукописи или книги мужа и, конечно, никогда не высказываться по поводу того, что он пишет. Потому что даже хвалить писателя надо уметь. Иногда уж лучше как следует раскритиковать, чем похвалить не за то. Вот какими качествами, по-моему, должна обладать жена писателя. В этом смысле идеальной женой, конечно, является уже упоминавшаяся Анна Григорьевна. Любопытно, что все писатели, как правило, об этом догадываются, но еще любопытней, что поступают они, опять же, как правило, с точностью до наоборот.

А. М. Зато у Толстого, который из вещи в вещь стремится продемонстрировать превосходство чего-то простого, «естественного» и проверенного вре-

менем над вычурным, искусственным и новомодным, — у него влюбленность перетекала в женитьбу в формах куда более обыденных, чем у Достоевского, хотя, возможно, не менее мощных — как лишенный экзальтации патриотизм в «Войне и мире». «Главное, кажется, так впору: ни страсти, ни страху, ни секунды раскаяния». Это из его дневника. Хотя на следующий день: «Не то, не то, не то. А накануне я не спал ночь, так ясно представлялось счастье». Тридцатичетырехлетний Лев Николаевич не спит до трех часов, «как 16-летний мальчик», и даже доходит до кое-каких экстравагантностей — пытается объяснить с Софьей Андреевной при помощи начальных букв, но в отличие от Левина «напрасно».

Опять бессонная и мучительная ночь, «я чувствую, — я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь». «Был у них вечером. Она прелестна во всех отношениях». Да, Лев Николаевич был способен на страсть (хотя на склоне лет после очередной ссоры размышлял: зачем я женился, я ведь даже не был влюблен). Но «прелестна» и «необыкновенна» — все-таки не одно и то же. Толстой, мне кажется, отличался от Достоевского тем, что умел восхищаться обыденным. Трудно представить, чтобы он мог хотя бы в экзальтации назвать соперника братом. Хотя... Хотя и он не избежал «достоевщины» — интимный дневник, показанный невинной девушке, поступок, впоследствии названный ею «излишней добросовестностью», «страх, недоверие и желание бегства» перед свадьбой, мучительные допросы, достаточно ли она его любит... Но все это, пожалуй, не выходит за рамки «естественного». Однако очень характерно, что ибсеновская Нора бросает семью, чтобы духовно вырасти, а толстовская Анна, покинув «естественную» семью, наоборот, примитивизируется. И лишь потом погибает.

Но, разумеется, не стоит все натягивать на заданную схему — достаточно убедиться, что в ней что-то есть. Скажем, Чехов если когда-нибудь и испытывал всепоглощающие любовные страсти, то уж точно не обнаруживал их внешне. Даже самые близкие к нему люди расходились, кто была его Она — Авилова или Мизинова, — и была ли она вообще. При том, что сохранившиеся письма к ним обеим не более чем дружески приветливы. Зато и в сочинениях его женщины бывают, самое большее, милыми, но довольно бестолковыми созданиями, которым можно симпатизировать и сострадать, но опираться на них, а тем более боготворить — невозможно. В собственной жизни Чехова мы не находим упоительной любви — и в творимых им мирах тоже нелегко разглядеть что-нибудь упоительное.

А. С. Просто любовь бывает разная: и роковая, когда человек, охваченный страстью, как будто проваливается в темную бездну, и романтическая, вызывающая желание совершить какой-нибудь подвиг во имя любви, и возвышенная, при которой как-то даже неловко думать о физической стороне отношений, и мучительная, и сладостная, и зачастую — все это одновременно. И писателю, если на секунду забыть, что он еще и страдающий человек, нужно именно все. И возвышенность, и сомнения, и романтичность, и роковые переживания. Вплоть до ненависти, которая гораздо ближе к любви, чем думают. Вплоть до ужаса, который иногда охватывает человека при осознании совершенной ошибки. Если писатель — настоящий писатель, у него все идет в дело.

А. М. Не всегда. Есть писатели, которые несут в литературу только светлое, скажем, Паустовский. А есть те, что несут только черное.

Брак — вот язва и ужас современной жизни, брак — это погибель и людей, и детей и только одну пользу может принести — познакомить человека с высшим мучительством, какое возможно испытать, — так писал о браке в записке, не попавшей в печать, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Пользовавший его знаменитый врач Боткин отзывался более амбивалентно: «Семейная обстановка Михаила Евграфовича по-прежнему ужасна, она медленно, но верно убивает его, но убрать от него семью или хотя бы только Елизавету Аполлоновну — значит убить его сразу».

Отношение брюзгливого Михаила Евграфовича к инфантильной Елизавете Аполлоновне напоминает отношение гениального Н. Щедрина к России: «Дура, дура, дура, дура,— безостановочно рычит он — и пугается, когда «дура» под холодным дождем едет кататься в легкой кофточке: — Ну, куда ее понесло в этакую погоду! Как за малым ребенком смотреть надо... Уж будьте добры, пошлите ей навстречу какие-нибудь теплые вещи». И гонит из дому лучшего друга, когда тот принимает его сторону в отчасти заслуженных ругательствах по адресу Е. А.

При этом Елизавета Аполлоновна, хотя и в отличие от образованной России не рукоплещет его проклятиям, но сносит их на диво кротко: «Ах, Мишель, ах, Мишель!» — и все. Конечно, эта вечно щебечущая, изображающая девочку, однако практичная кокетка, устраивавшая близ одра умирающего супруга блестящие сборища гвардейцев всех видов оружия, стремившаяся воспитать детей в идеалах светской пошлости, знала, на что шла. Еще перед замужеством мать отговаривала ее: «Что ты делаешь, Лиза, ведь у него ужасный характер!» — на что Лиза убежденно заверяла: «...никто и никогда не услышит от меня ни раскаяния, ни сожаления». И действительно, лишь лет за десять до смерти мужа она начала говорить ему: «Хоть бы ты умер поскорее!»

То, что Щедрин был способен так вляпаться, означает, что и он не всегда мог устоять «пред мощной властью красоты» — хотя в зрелых его произведениях это очень трудно разглядеть. А еще более вероятно, что его очаровали именно детская наивность, «детский лепет» хорошей шестнадцатилетней дочки мелкого помещицы, но когда эта «наивность» растянулась на десятилетия...

А. С. Писатели на самом деле часто тянутся именно к инфантильным женщинам. Это понятно: мир сложен, а от сложности устаешь как ни от чего другого. Временами так хочется предельной ясности и простоты, но простота, как, впрочем, и ясность, бывает двоякого рода. Есть простота от скудости, которую, вероятно, точнее было бы называть примитивностью, душевная бедность, сведенность переживаний к самым элементарным эмоциям. Эта простота основана на биологических качествах человека. Природе ведь не нужны сложности, ей чем проще, тем лучше. И есть совершенно другая, чрезвычайно трудно дающаяся простота, та «неслыханная простота», о которой говорил Борис Пастернак. Простота от сложности, простота, сквозь которую просвечивают некие «вечные истины». Эту простоту обычно называют мудростью, и приходит она, если вообще когда-то приходит, только как результат упорной духовной работы. Интересно, что в женщинах обе эти принципиально разные простоты естественно совмещены: женщины духовно и очень бедны и одновременно чрезвычайно богаты. Вот такое у них совершенно удивительное состояние. Правда, это только если говорить о женщинах в целом. В каждом же конкретном случае обычно преобладает что-то одно, причем внешне, по крайней мере в бытовых своих проявлениях, не отличающееся от другого. Если человек хочет быть обманутым, он обманется. А никто так легко не обманывается в сфере любви, как писатели. И потому, стремясь к женской мудрости, они получают вместо нее эмоциональную примитивность, а надеясь на простоту — еще большие сложности и полное человеческое непонимание. Это тоже одна из издержек творческого состояния, и, по-видимому, такая, которая из творчества неустранима.

А. М. Довольно часто именно трагические, противоречивые натуры ищут в женщинах столь недостающей им гармонии — пусть даже в форме инфантильности. Или обедненности, без которой невозможна цельность натуры.

Байрон, этот Люцифер, довольно упорно добивался руки добродетельной Аннабеллы Милбэнк — чтобы немедленно возненавидеть в ней именно эту уравновешенную готовность принимать самые оскорбительные несправедливости Божьего мира.

Саркастический Гейне любил повторять, что главное достоинство его французской женушки, огненноглазой толстушки Матильды, заключается в том, что

она не имеет ни малейшего представления о немецкой литературе. И не прочла ни одной его строки. Несмотря на то что, по его словам, он истратил десять тысяч франков, чтобы научить ее читать и писать. Хотя скорее всего в душе он предпочитал, чтобы она оставалась чем-то вроде забавного зверька.

Блоку «гордая лень» его Прекрасной Дамы вначале представлялась, по-видимому, чем-то неземным, хотя, судя по всему, Любовь Дмитриевна вовсе не желала быть небесным существом, обойденным земными радостями. Однако вряд ли она заслуживала и тех скрежещущих ненавистью убийственных слов, которыми поэт, не требуемый к священной жертве, под горячую руку награждал ее в своем дневнике.

А. С. Бессмысленно критиковать женщину за то, что она женщина. И бессмысленно ненавидеть ее за то, что она не соответствует твоему идеалу. Более того, когда я был моложе и, видимо, намного глупее (хотя не поручусь, что за истекающие годы я хоть сколько-нибудь значительно поумнел), я в разговорах с девушками изрекал такую сентенцию: «Женщине не обязательно быть умной. С нее достаточно, если она красива». Потом я и в самом деле, наверное, несколько поумнел и от этой сентенции, считая ее ошибочной, отказался. Но вот теперь, по прошествии многих лет, я снова вижу в ней определенный смысл. Все-таки предназначение женщины — украшать. Разумеется, у нее могут быть и другие, не менее важные цели существования: материнство, семья, просто жизнь, некое собственное призвание. И тем не менее «украшать» мне почему-то кажется главным. Женщины достойны только непрерывного восхищения, а если они приносят в наше краткое пребывание здесь еще и любовь, следует быть благодарным им, не требуя ничего более. Правда, высказать подобную мысль гораздо легче, чем руководствоваться ею в жизни.

А. М. Писателям очень часто свойственно кидаться из крайности в крайность, и от женщин, связавших с ними свою судьбу, требуются огромная — не только любовь, но еще и ум, выдержка, чтобы не превратиться в истерических психопатов, в коих наш брат весьма склонен обращать своих возлюбленных.



Светлана ВАСИЛЬЕВА

Первый встречный

ВОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ «СЛОВО И ТЕАТР»

*Посвящается моим театральным
и литературным учителям*

История взаимоотношений литературы и театра многообразна и поучительна; особенно в сфере бытования вечных сюжетов классики, в самой наличной возможности — репродуцировать высокое поэтическое слово в условиях современной художественной практики.

Написанное и «зафиксированное» во времени, на сценических подмостках слово каждый раз меняет свои очертания и границы. Оно получает дополнительные полномочия — воздействовать на нас *здесь и сейчас*, безо всяких посредников. Но посредники на самом деле есть — это и режиссер, и живая природа актера, и, конечно же, мы, зрители, активно включаемые в очередное новое прочтение. Все мы — творящие искомую обратную связь между словом и жизнью, идеалом и всевозможными «перевертышами».

Заповедник классической литературы просто обречен на наше вторжение — вне зависимости от культурного багажа тех, кто присутствует в театре, невзирая на приобретенную словом инерцию. Именно «скудные пределы естества», которые Н. Гумилев в своем известном стихотворении пророчески увидел барьером на пути к изначальному Слову (Логосу — как «смыслу» и как «музыке», ритмической соразмерности бытия, в которой скрыты формообразующие потенции) — именно эти пределы в театральном действии раздвигаются. «Мертвые слова» имеют шанс перестать «душно пахнуть».

Таким образом, притягателен сам творческий процесс, в результате которого в наше сознание вторгается новый звук — новый смысл, — несомый «старыми» словами в спектакле или оперном действе, где музыка и «текст» порой бывают нераздельны.

Не случайно В. Астафьев, действующий классик отечественной литературы, постоянно подчеркивает эту глубинную, звучащую основу слова: «То, что названо в анкете (писательская анкета журнала «Вопросы литературы». — С. В.) «ритмом прозы», Бунин в свое время просто и точно назвал — «звуком». Слова без звука, как известно, нет... Прежде чем оформится замысел, вещь должна «зазвучать», влиться в единую мелодию, навеянную внутренней потребностью автора и самой жизнью».

Предлагаю вслушаться в некоторые из таких «мелодий». По воле их авторов они исполнены в пушкинском ключе, связаны с поэзией Пушкина и тайной его личности. В этом выборе ясно прочитывается «слуховая» потребность каждого мастера. Но и общекультурная потребность театра — быть моделью некоего *читающего* устройства, которое рождает свои формы и образы не по произволу, а руководствуясь словом.

Экспозиция

Удивительна в нем эта способность быстрой и как будто даже опрометчивой дружбы, простого и легкого общения с людьми, равно великими и малыми, с Гоголем и Ариной Родионовной, с императором Николаем, Баратынским, Дельвигом, Языковым и Бог весть еще с кем, чуть ли не с первым встречным.

Д. Мережковский

Пройдя от площади Восстания по Поварской, что памятью народной именуется Воровской, мимо усадьбы бывшего правления СП СССР, мимо славного Жилярди, средоточия мировой литературы, — входим в подъезд дома. В гости к театру Анатолия Васильева, уже сравнительно давно обосновавшегося тут, под плоским плафоном, украшенным произведениями монументально-декоративной живописи и скульптуры. Стараниями добрых богатых русских краски над головой сияют, обнаруживая под своим свежим покровом эффект иллюзорного прорыва в открытое пространство. Подъезд действительно параден. Человеческие фигуры изображены в сильных ракурсах. Но воспоминание подсказывает: здесь имеются *те еще* квартир-ки — со сводчатой высотой, с настоящими домашними «хорами».

Мы будем смотреть тут спектакль про Пушкина, с посвящением неизвестному лицу.

Наверное, это нам посвящается — то, что в программке названо по-французски: «ТЕАТР И КОНЦЕРТ».

Похоже, истинным ценителям пушкинской поэзии по мере просмотра придется несладко. Привыкших к музыкальной, гармонически ритмизованной манере чтения стихотворных текстов ждет не то что разочарование, а просто шок, попытка звуком. Происходит битва — слова с его песенной, светской интерпретацией. В результате этого взаимоуничтожения побеждает сильнейший: сцена. Но... как писал другой поэт, «лучше петь в раю, чем врать в концерте...» (И. Бродский). А в этом концерте нам сознательно врут, комикуют и шаржируют до боли знакомые пушкинские строки, как могли бы это, наверное, делать в какой-нибудь «Бродячей собаке» или «Привале комедиантов». Сам высокий поэтический строй подвергается экзекуции — единство пушкинской строфы заново сбивается в отдельные кучки, ловко распределяясь между барышнями, счастливыми обладательницами нежно заштрихованных поэзией «альбомов», чей стиль заведомо усреднен. Строка без жалости членится, выпадая в осадок материализованными львами, скажем, во фразе «слыхали ль вы?». Смысл произнесенного отпускается гулять на воле — в пределах этой отдельно взятой комнаты-зала, где на деревянных скамейках, под ложно-классическими барельефами сидим мы.

Перед нами неглубокий арочный портал — как вход в отсутствующее пространство, белоснежные пилоны с бумажной, во всю длину этих отнюдь не «тесных врат», бахромой. Или — *лапшой?*..

Воистину, как выразился В. Набоков, комическое от космического отличает одна шипящая согласная. А в спектакле согласные шипят и рычат, гласные обнаруживают безвольную протяженность... Спой-ю-у-у-у!.. И волевой порыв героя «Каменного гостя», и во мраке усыпальницы уверенного в том, что на свете «нет такого места, чтоб голос мой не возносился», — он лишь телодвижение из одноименной оперы Даргомыжского.

Словом, полное несоответствие сути и манеры исполнения. Доказывающее, впрочем, что никакой такой особой «манеры» вообще, наверное, существовать не должно — если стоять лицом к реальности. К реальности слова в том числе. Суть и форма всегда едины. И если претерпевает страдание форма, обычно что-то не в порядке и с содержанием. Не пушкинским — в этом театр и не пытается нас утвердить, а с нашим собственным.

Нам предлагается: побыть собой, таким, как ты есть,— меж словом и звуком, между Пушкиным и его «репрезентантами». Посмотреть. Послушать. Быть может, вспомнить. Имеющий уши пусть услышит.

...Почему бы не вспомнить, как на излучине восьмидесятых, в пору полного, «антимузикального» отвердевания всех и всяческих идей, мы отправлялись на «Взрослую дочь...» и «Серсо», проходившие у критиков по разряду «эстетизации быта». Театр тогда вообще удачно обслуживал зрительный зал многовариантностью сценических «ситуаций». Но у Васильева творилось особое: драматический механизм приводился в действие именно «музыкой». И как нам было это не праздновать, когда у нас оказывалась столь счастливая возможность — возвратиться к заданной теме и путем ее многократного повтора и разработки взять да и переиграть все. Станцевать, спеть свою жизнь заново... Но героям тех нехитрых историй не всегда удавалось уловить свой единственный, ускользающий ритм. Празднество оказывалось не прикрепленным ни к психологии, ни к идеологии — как заведомо скомпрометированным. Только «звукоряд» помогал, как ни странно, воссоздать не укрепленное ничем пространство человеческой души. Персонажи искали не столько новую пластику, сколько какой-то тайный и общий язык, понимаемый всеми и заражающий каждого. Казалось, нет ни говорящих, ни слушающих, а лишь участники одного бесконечного музыкального высказывания, одержимые чувством ритма.

Неужели мы тогда действительно так верили — что «ничто на земле не проходит бесследно», что жизнь и есть самое надежное хранилище собственной энергии?.. (Верили, несмотря на то, что уже была нам спета песня из кинофильма «Июльский дождь», слова и музыка Окуджавы: «Не верьте, не верьте... когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои...»)

Так-то оно так, но только театр Анатолия Васильева еще тогда изнутри отстраивал свое «средневековое» пространство, в духе той «культуры памяти», о которой Д. С. Лихачев писал: «Древнерусский человек ощущал себя эхом вечности и эхом минувшего, «образом и подобием» прежде бывших персонажей мировой и русской истории. Жизненная установка на повторение и подражание... была общепринятой ценностью. Каждый откровенно, в отличие от ренессансной и постренессансной эпохи, стремился повторить чей-то уже пройденный путь, сознательно играл уже сыгранную роль» («Смех в Древней Руси»).

Согласно такой логике, слабо теплящееся слово отечественной драматургии, а вслед за ним долгое «проговаривание» иноземных героев Пиранделло у Васильева должны были неминуемо смениться чем-то другим. Казалось, далеко, в шуме времени, на его отдельной полке осталось «прочитанное» слово Вампилова о *не братском* состоянии мира, о той молодости, которой «изменяли мы всечасно» и которая «обманула нас». Это нарастание пушкинской темы — *незнанья жалкая вина* — как-то разрешится, по признанию самого Васильева, в «трагические дни растерзания» готовившегося спектакля «Иосиф и его братья»... Потеря труппы и в придачу всего советского прошлого, дни второго октябрьского переворота... А в 1993 году «лишний воздух» театра будет разорван тишиной «Плача Иеремии», вслед за которой потекут уже совсем другие слова и другие звуки.

Композитор В. Мартынов, организовавший библейский текст по принципу распева, писал: «Все телесное, двигательное-мускульное, острохарактерное, изобразительное было отстранено, а это значит, что были отстранены песенная периодичность, танцевальная упругость, маршевая поступательность и все то, что только могло вызвать телесно-мышечные ассоциации». Тогда же был сформулирован и магистральный принцип: «Чинность жизни рождает мелодический порядок или распев; бесчинность жизни рождает мелодический произвол или концерт, ибо распев и концерт есть не только различные принципы мелодического формообразования, но и различные способы или образы жизни».

Неужели это *мы* сидели в том зале под тихое биение голубиных крыл? И это нам выносили на руках чудесный маленький храм...

Неужели те же «мы» присутствуем спустя всего семь-восемь лет на сегодняшнем представлении, сильно напоминающем придуманный Козьмой Прутковым жанр «естественно-разговорного представления с прологом»? И это нас хотят убедить, как в пьеске «Опрометчивый турка, или: приятно ли быть внуком?», в том, что «Ивана Семеновича уже не существует... и все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним!»

Между нами — пушкинским словом и всей нашей сегодняшней «наличностью» — действительно стоит посторонняя тень. Пресловутая «новая реальность», вроде гидры стоголовой, под рыночное копошение которой тонет и тонет столь взыскуемый нами град Китеж культуры... И вот вам вместо мистерии — раек, игрушечная мистерия. Сцена ведь и есть «здесь и сейчас» «и на самом деле», — как утверждал Мастер, Анатолий Васильевич Эфрос, которому Васильев благодарен за свое становление.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Пушкин. Сильно напоминающий того же Козьму Пруткова, только еще не подросткового, не забронзовевшего. Пушкин-школяр, Пушкин — поп-звезда, чьи знаменитые широченные фалды расцвечены красивенькими ядовитыми цветами, а лицо — благодушной тупостью. «Внук» явно чувствует себя очень и очень приятно, как и полагается герою гимназического и школьного фольклора в стиле наших отечественных «концептуалистов», вот уже который год составляющих (но все никак не могущих завершить сей титанический труд) реестры тем, образов, а также слов классической русской литературы, чтоб, изрядно погуляв «на обломках самовластья», создать свой собственный, универсальный «язык всех времен и народов».

Поначалу мерещится, что тут действительно не обошлось без концептуализма. Глядя на придуманное театром «профанное» пространство, терпеливо отслеживая процесс «инфантилизации» взрослых тем, в командном порядке хочется перевести обратно, на нормальный русский все, что тут лепечется, изрыгается и, с позволения сказать, поется — с полным причем задействованием *всего* имеющегося у актеров «телесно-мышечного» и «двигательно-мускульного». Не будем столь же тупо-благодушно ссылаться на необходимую и даже в чем-то полезную роль демифологизации и деконструкции старых авторитетов, отживших идей. Не столь уж мы, во-первых, таковыми (пусть даже и отжившими) нынче богаты. А во-вторых, конечно торжества концептуалистской «утопии языка и культуры» в нашей отдельно взятой стране что-то никак не предвидится. Юбилейные пушкинские празднества последнего разлива, к слову сказать, ничего не прибавили к облику поэта, но ничего и не убавили. Как-то даже не интересно уже доказывать, что Пушкину на самом деле *ничего не страшно*. Страшно может быть только нам — без него. А некоторым, что скрывать, страшно еще и потому, что образ поэта, представляющий идеальный вариант для демифологизации, ну никак не становится подобным «материалом». Демифологизировать его оказывается невозможно. Хочется, да не можется — вот такая загвоздочка. Об этом, кажется, и пишет А. Зорин, автор предисловия к концептуалистскому сборнику «Шинель Пушкина», составленному М. Бергом, автором тут же имеющейся повести «Несчастливая дуэль».

Так обозначается поле нашей собственной тревожности — ономастика и топонимика нашего «несчастья».

Вряд ли перипетии подобных, перекраивающих родную географию игр вдохновляли режиссера Васильева. Не о демифологизации идет речь, не о создании антимифа. Детская забава — навешивать на классический канон русской литературы ответственность за все наши исторические беды, попутно вставляя самого себя в прези отечественных святцев.

«Самое ненависть к русской литературе позволяет сегодня быть писателем в русской литературе. Это ужасно!» — писал в своем пронзительном дневнике-«романе» Сергей Шерстюк, рано ушедший от нас художник и философ, «гистрион» и «лицедей» наших дней (журнал «Октябрь», 2000, № 8; «Комментарии», 2000, № 19, со-

ставитель Игорь Клев). Он так и не создал своего романа *об Украденной Книге*, как-то не освоившись с той истиной, что Служенье Муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть Величаво. Пастернаковское откровение о «строчках, хлынувших с кровью горлом», было ему дороже и действительно стоило дорого, очень дорого...

Кажется, Васильев точно так же врасплох застигнут дилеммой «уединенной величавости», отшельничества художника и его «полной гибели всерьез». Тем, что такое сама *возможность творить* словесную и театральную реальность сейчас, живое умение воспринимать и транслировать слово дальше, все дальше... Имеющие уши пусть услышат.

Что же слышится на этот раз?

Бесстыдная свобода, с которой язык публично выражает сам себя. Пестрая, прущая отовсюду, изо всех уст, изо всех дыр, многоцетность «сценречи», заполнившая регистры, отменяющая все понятия, не ведающая, что можно куда-то еще переключиться... Но порой дышит, словно из ничего, обэриутский абсурд, вспухая метаязыком не взлелеянных культурой, пущенных под колеса истории поколений. Разгулявшаяся — «народная», масскультурная, массмедийная стихия. «Прекрасный низ», так сказать, который побеждает «прекрасный верх» всеми доступными способами. Нас, нас самих, нас с вами — вот что мы слышим!

Но — «прекрасная музыка-то в чем виновата?» — спросил после просмотра один наш известный музыкальный деятель.

Музыка не виновата ни в чем. Равно как и пушкинское Слово. Но этот выступающий под маской поэта молодой зверек, эти резво беснующиеся звуки и есть наша реальность. Пусть она не моя и не твоя, любезный читатель. Пусть это какая-то беспощадная «музыка чисел» — чем меньше число, тем более созвучны тона, им порожденные; вырастая, числа способны дать лишь иррациональные шумы... Хочется их перекричать: отдайте мне МОЕГО ПУШКИНА! Но меня *не слышат*. Музыка все выпадает и выпадает — в осадок, в глупо просверленное отверстие на дне той вечной урны, над чьей струей дева «вечно печальна сидит»... А эти поющие, фланирующие туда-сюда по пространству спектакля, — они, конечно же, не знают языка, на котором говорят. У них к божественному пушкинскому слову приставлены свои эмоции. Не мои. Однако же...

«Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает думать, ибо незаметно подсовывает понятия, не соответствующие большей действительности». Это не концептуалисты говорят, это филолог, теоретик языка Л. Щерба.

То есть язык — некое умное, загадочное устройство, которое само, без посторонней указки может помочь нам *думать*. Он сам «проговаривается» о наших бедах, предостерегая от зон омертвения и различных «дыр» сознания.

И вот посреди крошечной словесной тьмы в спектакле вдруг тихо начинается будто бы маятник раскачиваться — какие-то спасительные детские качели. Доведенные до полной потери смысла слова окончательно мертвеют, и смерть их *настолько непереносима*, что вдруг возникают обратные предпосылки. И нас тянет туда, в родную сторону. Вокруг слова оживает слуховое поле. Оказывается, на весь этот сценический «джаз», на наше пустословие есть отзыв и ответ — молчание Слова. Которое отчасти сродни «гомерическому смеху» или тому булгаковскому «великолепному презрению», о котором писала Ахматова.

И тогда, сквозь смех или плач, окончательно уничтожая стратегию подрыва культуры, нам прочтут «19 октября» 1825 года — так *подробно*, с такой личной «разрядкой» — «Чей глас умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж вами нет?» — что действительно становится *очень страшно*; здесь и сейчас не пребудет на пире «кудрявый наш певец»... Вот тут-то каждое звучащее слово, каждая буква окажутся ровно на своем месте. На пике творческого сострадания театра. Только почему-то никуда не деться от этого чувства — потери и утраты.

Интерлюдия

И вдруг закрадывается крамольная мыслишка: а может, все-таки лучше с теми, другими, которые услужливо предлагают нам различные модели игры, где сами они чувствуют себя совершенно комфортно,— отдохни и ты, любезный читатель. А то на самом деле уж очень больно и страшно. Жизнь в отсутствии певца. Невозможность петь никак, кроме как песенно-хоровым или церковным пением. Неналичие слуха у слушателей. И что если эта жизнь и впрямь дискретна — не продолжается, не переигрывается. Если сам ты уже ничего не споешь и театральное чудо тобою тоже утрачено... Прекрасное прошлое. Отдаленное будущее. Здесь и сейчас — карнавал над бездной, под уютно расписанным потолком. Гофмановское лицедейство, оборотничество героя, попавшего по ведьминому наущению под стекло. Зазеркалье, свет не отражающее, лишь преломляющее.

«Я распадаюсь, я теряю ощущение своей цельности, я не знаю, кто я и что я — божественная искра или беснующийся зверь»... Разбить это зеркало.

А может, тут другое прочитывается — образ «моря стеклянного, смешанного с огнем»; что-то из Апокалипсиса. «...А победившие зверя и изображение его, и число имени его стоят на стеклянном море с арфами Божиими»... Конечное какое-то страшное знание.

Впрочем, результаты смещения мистерии и истории, кажется, достаточно известны — и не только по опыту Третьего рейха, но и по своему отечественному.

«Мистериальный театр» Васильева смотрит как раз туда, в разбитое стекло. Может, поэтому на его спектаклях отчетливо слышен не голос ветхозаветного пророка, вещающего на развалинах «пораженного нечувствием» (В. Мартынов) человечества, а поступь бедной Русалочки, идущей со всей своей на протянутых руках любовью — по осколкам. Прорезавшимися босыми ножками, сотворенными из рыбьего хвоста.

Но, привыкшее к цельности отражения, живое и чувственное зеркало сцены по своему восстанавливает, затягивает раны.

В «Школе драматического искусства» по воле маэстро, слава Богу, неукоснительно заводится «механизмик» театра, устанавливаются магически отражающие плоскости декораций, и по всем углам все оживает, двигается. Манекены, как люди, шагают и вертят головами, кричит и хлопает крыльями механический пегух, и носят на руках красивую маленькую церковь. И, конечно, никакой это не рай, а как и положено,— раек. Но слово-то звучит именно здесь, и сейчас, и на самом деле.

Разработка. Пушкин как тело

Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут
мне.

А. Ахматова. Поэма без героя

Спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть» — часть театральной трилогии с общим замыслом, заявленным в предыдущих спектаклях Камы Гинкаса: бунт свободы и казнь, преступление и наказание, вражда и месть. Перипетии «несчастливого сознания» на одном, бесконечно длящемся отрезке истории.

Феномен «несчастливого сознания» — понятие, введенное и артикулированное Ортегой-и-Гассетом, испанским философом, который усматривал подлинную реальность человека в его истории, «истолковывая ее в духе экзистенциализма, как духовный опыт непосредственного переживания» (БСЭ). Автор «Восстания масс» и «Дегуманизации искусства», ушедший как раз посередине истекшего столетия, оставил нам свои концепции «массового общества», массовой культуры и теории элиты.

...Как-то даже не повернется язык на этом спектакле о Пушкине употребить слово «феномен» — само несчастное сознание тут действует, ищет слова, напоминает.

Музыкально-хореографическое действо.

Сеанс массового гипноза людей, замороженных Пушкиным, его жизнью и смертью.

Фрейдистская клоунада подсознания.

Семейная психодрама, где в терапевтических целях разыгрывают спектакль на тему «мы и живой поэт», — тогда как на столе уже лежит его посмертная маска... Надо привести себя к какому-то душевному результату, что это не ты ее сюда положил, а вошедший лакей... Не ты пролил на скатерть прованское масло, а сам Пушкин. Не ты руку приложил... Как дети. Хоть уже и написан «Вертер», но жить-то хочется... *Открыть окно, что жилы отворить...* Окна два — перечеркнутых рамой крест-накрест. «Мы с тобой вдвоем предполагаем жить...» — сделает значимое ударение актер-Вяземский... За окнами историческая родина. Темнота. Дождь либо снег. Можно немного постоять, упершись лбом в стекло, можно постоять у стенки... Зрителя тоже, слава богу, не таскают, мучая, с места на место, не предлагают посидеть у виселицы, не помещают в бельэтаж над черной дырой сцены, откуда прилетает черный монах нашего сознания. Сиди и смотри. *Сиди и смотри*. Не мелькнет ли что-то в этой комнате — «между шкафом и печкой». Нет, между нашим шкафом и нашей печкой ничего не мелькнет. Не прозвучит. В этой «поэме без героя» особая тишина. Она самое себя не «сторожит», и «зеркало зеркалу», как у Ахматовой, не снится...

Тишина эта смертная, вернее *предсмертная*, когда время точно останавливается, и медленно опускается тьма, и губы сами коснеют, немеют от непроизносимости того, что сейчас случится — уже случилось... «Закатилось солнце русской поэзии»... «Жизни осталось на три четверти часа» — как раз на морошку из рук стоящей тут, на коленях, жены.

И это все.

Оказывается, не черные дыры сознания, не подполье и безумье Достоевского и Чехова, не бездны, а пушкинская ТАЙНА — вот куда заглядывать не просто страшно, а невозможно. Потому что здесь не только вопросы обоюдоостры, но и ответы убийственны. И уже никакой Пушкин, никакое искусство не спасут — запихнет тебя в такой рукав «жаркой шубы сибирских степей», что не достанет никто.

Ибо вместо художника-славы, художника-солнца мы имеем здесь уже только его труп.

Эмоционально это самое сильное место спектакля — когда вслед за раскачиванием стола, где на вспоротой скатерти лежит, а потом предстает и возносится на цепях и крючьях маска поэта, начинается ритуальное, вакхическое, захлебывающееся в слезах и восторге разрывание всего имеющегося на кусочки и поминальные ленточки... Но разительнее происходящий у нас на глазах процесс вскрытия пушкинской тайны. Тайны его застолья, его престола, его брачных риз. Тайнство его чистого листа. Пушкин и Натали. Пушкин и женщины. Пушкин и карты. Пушкин и ногти. Пушкин и карандаши. Африканец и косая мадонна...

Актеры-участники «раздухарятся» до такой степени, что куда там *Хармс о Пушкине*. Поэт ведь и сам *так смеется, словно кишки видны...* Вот и могилку себе подыскивает, где ему с Нащокиным уютно лежать будет, — сам об этом в письме пишет. Сам платит по векселям и требует долги. Сам любит и не приемлет, зачем-то мажет кому-то губы черной сажей... вовсе не поймешь, хорош он или не хорош... *Сам...* А что же вы-то, очевидцы, рук его не смогли удержать своими руками, которыми мечете, летаете в белых нечувствительных перчатках, будто танец лебедей исполняете?.. Как дети...

На одиноком перекрестке детской безвинности и потерянности выкликается пушкинское слово. Наличие до такой степени не утешающего спектакля на сцене театра для *юных зрителей*, само присутствие в этом театре Камы Гинкаса — это бес-

компромиссная жизнь именно в таком, осиротелом пространстве, работа с *таким* актерским и зрительским сознанием. Еще в «Золотом Петушке» за сценической травестией нескрываема была мысль о «заигравшемся народе», о властителе, который ребячливо забывает «перед ней смерть обоих сыновей». Она — та же «химера искусства», а не только шамаханская царица; игровые чары жизни вообще. Заигрались...

Пожалуй, именно ригоризм, недвусмысленность оценок у режиссера Гинкаса порой так раздражают молодое поколение, создателей и участников масс-продукции. Пинание красоты толпой. Растерзание добра и доведение его почти до бессилия. Унижение высокого низким, элитарного — низовым и элитным, неприкосновенного — грубо рыночным... Все это почему-то кажется им совершенно не имеющим к ним отношения. Ведь они-то в новой реальности живут и работают. Но для Гинкаса существен не культурный антагонизм тем, а именно их разработка, *работа* с неготовым и несчастным сознанием. В своей книге «Эрос невозможного» А. Эткинд приводит характерное высказывание С. Аверинцева, связывающего неготового, незамкнутого, незавершенного, «как все, что есть в жизни» человека, — с опытами советского тоталитаризма. Вплоть до ощущения *себя*, человека, одновременно «и трупом и ребенком». Ребенком, замечает Эткинд, потому что он не завершен и всегда готов к переделке; и трупом — потому что застыл в смертном страхе, зная, что всякая переделка человека есть переделка в трупы. И далее у Аверинцева: «Готовым он (режим) считает только себя... Действительность должна быть пластичной, чтобы ее ваять и перекраивать».

Спектакль Гинкаса лишен пластичности традиционного мемориально-театрального представления, хоть и имеет в качестве прочной основы и сцендвижение, и музыкальный ритм, и музыку (О. Каравайчук). Но непрерывность и непреложность человеческой памяти разрывается, прерываясь деталями, переварить которые, кажется, нельзя. Поперхнешься от этой морошки, от цепей с крючьями, от черной подушечки в изголовье. И даже от маскарадного, «насекомого» разноцветия вееров, за которым поблескивают чужие глаза и жизни, не по себе. Все это детали-воронки, вроде отбитой руки статуи, которую живой Пушкин сначала хотел было помочь прикрепить, да потом вспомнил: вот она — одна из возможностей предсказанной гибели.

Детали не придумываются, а как бы уже имеются в жизни. Создаются промыслом, в котором чужая гибель может готовиться постепенно, своими руками, то есть и твоими тоже.

Механизм и процесс накапливания таких деталей, соединение их в какой-то дьявольский сюжет *клеветы* — и есть пластика спектакля. Живое, движущееся, лихорадочно пытающееся себя «сартулировать», замутнение источника веры и красоты. Унижение «косой мадонны», непереносимое для так странно и неистово верующего. Вот тут и высовываются из спектакля пушкинские *белые глаза безумия*... «Любил ездить на пожары. Смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше». А вы-то любили смотреть, как *он на это* смотрит!

«Множество биноклей на оси», уставленных в пушкинскую, в человеческую, незамутненную и неискаженную глубину. ПОТЕРЯ И УТРАТА ЗРЕНИЯ. И просто потеря и утрата... И последняя малю-ю-ю-юсенькая лазейка — вдруг увидеть *лицо*, а не помертвевшую маску, БЮСТ, ПАМЯТНИК.

Пушкин недаром верил в дурной глаз. Он, как и всегда, не ошибался. После его смерти оптическое устройство Русской Литературы уже не было таким точным, кристально ясным. И пропуски в его рукописях, увы, не восстановимы. Он сказал все, что хотел сказать, — нечего искать в черновиках.

Поэтому Пушкин в спектакле так никогда больше и не появится. Даже слово его будет звучать скупой и мало... «Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался...» Но он и сам не мог, как говорят свидетели, дочитать до конца «19 октября» 1836 года.

Нельзя до конца произнести — про это зияние времени.

Пушкинского слова в спектакле почти нет. Но разве не звучит это Слово как *весть* всей нашей культуры после дуэли и смерти?

Скорбность вести покрывается лишь властным художественным покоем спектакля, законченностью его формы, что ни говори, питаемой памятью о солнечном центре истории, о *блаженстве* завершеного пушкинского слова. Это форма, рожденная не от несчастного сознания, а от знания того, что и мы с таким словом живем в *последний раз*...

Совсем напоследок история, услышанная краем уха в антракте. О том, как украли пушкинскую реликвию — игрушечный театрик с мышью, исполняющей на рояле музыкальные произведения. Находилась в Царскосельском музее — рассказывающая этот театрик видела, помнит... Пушкинские волосы и бакенбарды, как мы узнали из спектакля, нарезали и растащили еще на смертном одре поклонницы. Древняя этимология слова «одр» — и «дереву», и «настил» вокруг него. Родоначальное и рукотворное. Вот куда иной раз заводят слова.

Такой сюжет про нашу память. Нарочно, действительно, не придумашь. Но еще мы помним, как у Хармса: жизнь опять побеждает смерть неизвестными природе способами.

Фуга

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Ф. Тютчев

О Колобове, лауреате национальной премии «Триумф», герое многочисленных дирижерских рейтингов, художественном руководителе московского театра «Новая Опера», критики пишут достаточно много. Рецензируют. Освещают. Приветствуют. Критикуют.

Почему же ощущение, что так мало сказано? И много недослышано. Не то чтоб особо ругали — не соглашаются с отдельными трактовками. Иногда подвергают сомнению стратегию оперно-музыкального поиска. Вдруг высовывается какой-то странный образ, чуть ли не Крошка Цахес с золотыми волосинками — дерни, и ничего не останется. Убери дар в виде театра — рассыплется. Рассыпья... Кого действительно интересуют подробности этой вполне самостоятельной и в какой-то степени естественной для истинного музыканта биографии, того я отсылаю к его интервью главному редактору журнала «Континент» И. Виноградову (2000, № 105). Тут Колобов высказывается на темы глобальные и просто так, как считает нужным. Мы тоже его о многом бы расспросили, но по ходу статьи сами должны догадываться.

Нелегкое мужание... «Труден первый шаг, и скучен первый путь»... Поступательно феерическая карьера. Главное дирижерство в славных театрах. Ветер перемен... Создатель и обожатель *ее*, *Новой Оперы*. Ездит в театр не на лимузине, а на велосипеде. Сажает цветы возле новенького, с иголочки, современного фасада. «Агент влияния Лужкова». Тут покруче будет, чем «типичный представитель», «генный и злодейство» или же «луч света в темном царстве»... Вот только беда — как писала Ахматова, «когда люди умирают, изменяются их портреты». Когда живут в иностранстве музыки, там, где поют, — представьте, тоже.

Опера — это театр, где почему-то поют, повторяет Колобов.

А что касается его отношений с критикой, то здесь, в сущности, нет ничего удивительного. Умение *прочитать*, признать автора в лицо не входит в число достоинств этой последовательно легкомысленной и тайно фригидной дамы. Она нынче предпочитает обслуживать себя своими самостоятельными средствами, гордо даже признавая за собой простительный грешок — не суметь дочитать до конца. За все

этим, однако, в свою очередь прочитывается недостаток весьма серьезный: отсутствие пафоса как внутренней страсти, и «медведь на ухо наступил». Ничего не попишешь, сделаем вид, что не такая уж страшная болезнь, болеют люди и похуже. Жить, конечно, будем...

Вот только вспомним, как тот же Эфрос на протяжении всей жизни беседовал с критиками и недоброжелателями, терпеливо *объясняя*, как и почему он сделал то-то и то-то и почему по-другому было нельзя. И как сам себе он всегда говорил — что можно было сделать по-другому и лучше.

Так что не верьте, будто болезнь не серьезна. Знайте: критика — это там, где любят. Не я сказала, Д. С. Мережковский написал: «Критика есть последнее знание любви». Иначе никак и никуда.

Тема

«Евгений Онегин» в Новой Опере одет в сине-зеленое, «ломберное» сукно. Задник тоже из синевы, но более темной, загустевшей. Каре сценической выгородки с легким намеком на ампир (сценограф С. Бархин) замыкается на зрительный зал, образуя квадрат. По бокам в высоких ложах — полукружия хоров. Контуры дверей — для входящих-уходящих — больше напоминают проемы пустых зеркал. Все соразмерно для глаза — классические пространственные фигуры нашей материальной культуры: четырехугольник, круг, крест, определяющие ее ритм. Симметрия Космоса и обратная земная симметрия... Музыкальное отражается в сценическом (режиссер С. Арцыбашев).

Так, начиная свою арию «Письмо Татьяны», актриса встает в самую дальнюю точку и, чуть метнувшись в сторону, к традиционному перу и бумаге, идет вперед, чтобы там спеть на помосте — лежа, крестообразно раскинув руки.

Но вдруг симметрия размыкается: внутри образуется хаотично круговое движение, как медленный поворот ключа (в сцене объяснения в саду, в сцене дуэли), или же какой-то резкий росчерк, или лишняя, протяженная диагональ. По концам ее — два солиста (иногда между ними кто-то третий) или же хор и солист.

Музыка словно подсказывает сцене такое «месторазвитие». Не настаивая на своем, вслушивается — следит внимательно, чрезвычайно внимательно, ловя в свои сети отражения происходящего. «Лирические сцены» в семи картинах, как это было задумано у Чайковского. «Роман в стихах». «Энциклопедия русской жизни»...

Критика, обрушившаяся на спектакль за его последнюю фразу про смерть, которую идет искать герой, очевидно, не знала, что так — в либретто, в первоначальной редакции. Впрочем, у Чайковского и Татьяна вначале бросалась в объятия к Онегину и только потом под давлением общественности (того же «словесника» Тургенева) «одумалась» — и финал привели в чувство.

Словом, конечно, опера — это вам не «энциклопедия жизни», а совсем-совсем другое. Колобов почему-то называет ее «утопией». Не потому ли, отчего и идеолог русской культуры начала прошлого века писал: ужас оперы «Евгений Онегин» не в том, что искажен текст и вставлены стишки, а в самой невозможности даже помыслить спеть это: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она...» Неприкасаемое пушкинское слово.

Но мы же слышали: опера — театр, где почему-то поют...

Еще Колобов настаивает, что тут — не одна, а множество смертей: и сама Татьяна, и Ольга, и Гремин. Смерть, разумеется, не физическая. Смерть-привычка. И няня оденет Ларину-мать в фартук, в какие-то нарукавники: хозяйка имения, дитя, кукла... Положим, преувеличение. Пушкин не то имел в виду. Положим, это субъективное видение... Но нельзя же быть до конца уверенным, что автор Шестой симфонии, с ее замирающим дрожанием струнных в финале-адажио, был совершенно чужд подобной «проблематике». Долгим и трудным поворотом ключа отмыкая «пассивно-интеллигентское» и «элегически чиновничье», «немного кислое» (по определе-

нию поэта М. Кузмина) безвременье 80—90-х годов XIX века, уводя его от баллады к драме, от элегии к трагедии. Антиномиям того культурного пограничья, которое в истории называлось по-разному — и декадансом, и позорным десятилетием, и расцветом культуры, и ее гибелью. В этой деритмизации и разное целой эпохи сюжет «любовь и смерть» имел особое значение и весьма мощный разброс. От трагедии рока (у Чайковского это и Четвертая симфония, и «Франческа да Римини», и многое другое) до поэмы «Девушка и смерть», исполняемой Горьким Сталину, до самых душераздирающих массовых историй любви и смерти нашего ГУЛАГа. И до ежесекундно происходящей гибели человечности и человеческого.

Конечно, не дела «финдесьякля» — Одетта-Одиллия, любовь-ненависть, лебединое озеро безвыходной страсти а-ля Людвиг Баварский — волновали создателя спектакля. Что-то другое.

Оставим в стороне тайны мелодики, новаторство или, наоборот, традиционность музыкального языка Чайковского и пределы его современного реформаторства. Даже про «нервную экспрессию» оркестра не будем. Это все горький хлеб музыковедов. Но стойкий феномен искусства Колобова, разнообразие интонаций и музыкальных смыслов, «жестов» и «картин», наконец само чудо его неповторимого, каждый раз нового ритмического рисунка — все это наше общее достояние и опыт.

Тут, пожалуй, следует сделать небольшое отступление в область ритма и временного ритмообразования, в ходе которого появление слова, собственно говоря, и делается возможным. Помните проговор: «Каждый пишет, как он слышит» или «как он дышит». В ритме прозы дыхание обычно прерывисто (или точнее «в прозе на всех уровнях торжествует непрерывная переменность». — КЛЭ). Оно как бы затруднено жизненным шагом, это долгий и трудный человеческий путь в надежде куда-то прийти — поэтому дыхание надо правильно рассчитать. В поэзии с ее «точным временем» ритм задан сразу. Полиритмия художественного произведения, возможно, и есть отражение нашей жизни, ее общих и частных ритмов. Чувства ритма *в нас*.

Первая имитация темы (или ответ)

О чувстве ритма, характерном для театра А. Васильева, я уже упоминала. Но вернемся все же к тому сценическому методу, который А. Эфрос немного смешно называл «нервно-клеточный». Имея в виду задействование *всего* человеческого аппарата актера для передачи не только чувств, но и смыслов — живых, разговорных, вечно существующих и уже готовых омертветь. Он и сам, повторю, оставил нам в своих книгах замечательное словесное разъяснение этого нервно-клеточного хода при постановке классического произведения: экспликация спектаклей, воспоминания, наблюдения, всяческую жизненную мимолетность... В его театре все это действительно претворялось «полной чашей» *действия* — в противоположность простой читке классического текста или демонстрации собственного опыта художника. Она имела совершенно конкретное, светлейшее наполнение — эта горькая чаша. Ведь сценическое представление не имеет права «гибели всерьез». Оно должно шествовать, выстраивать свой закон непрерывности движения так, будто ни смерти, ни финала нет. Они и оставались за пределами сценической реальности. Спектакль же Эфроса *летел*. А вокруг нарастал ритм зрительного зала...

Некоторые оперные спектакли у Колобова удивительным образом напоминают мне эфросовские — при всей разнице арсенала средств. В распоряжении Эфроса был человек-актер, эмоциональный и словесный аппарат которого он неустанно настраивал и разрабатывал. В распоряжении Колобова — человек, поющий арии. И еще сама музыка в придачу. Тут уж не до летающей реальности. Тут задачи и вопросы *синтетического театра* решаются, в том числе и практические — как соединить

свое с чужим, три таких разнородных, разнопричинных вида искусства, как словесный, музыкальный и театральный. В рамках прогрессирующего хаоса...

Опера — театр, где почему-то поют. Опера — утопия... Но почему все-таки?

«Такая странная, завораживающая зрительная и слуховая скрупулезность, которая сама по себе уже почему-то тревожит...»

«Препятствие, которое нужно преодолевать с легкостью... Движение к крупной цели... Оно может быть чрезвычайно сложным, это движение, извилистым...»

«В Шекспире нужно всего лишь четыре всплеска, вспышки, а в остальном — тишина точно развивающейся мысли...»

«Надо углубляться в дело как бы не на все 100 процентов, а на 95. А 5 процентов оставить словно бы легкомыслию, воздуху, чтобы не казалось, что вся жизнь твоя вот тут решается...» (А. Эфрос. Репетиция — любовь моя; Профессия: режиссер).

«Для меня партитура — это как стихотворный оригинал, который нужно еще перевести на другой язык — язык спектакля. И я могу по-разному перевести — могу как Пастернак, а могу как Лозинский...»

«...что такое “опера”. Там пунктов восемь — десять, и один из них — “сочинение, произведение, творчество”. Что мне очень нравится...»

«Я люблю слова Мандельштама — нет выше музыки, чем тишина. Не мертвая, а та, божественная, которая этим божественным и дышит. Поэтому сейчас, на склоне лет, я даже и не знаю, не могу определить, что такое музыка — ноты звучащие, или просто стихи, или просто шум ветра. Это ведь тоже музыка» (Е. Колобов. Интервью в «Континенте»).

Какие разные, однако,— при очевидном сходстве — *способы творчества*. Вот эфросовский «Месяц в деревне», уходящий в Сороковую симфонию Моцарта,— спектакль о том, как живет человек, живет и вдруг попадает в какую-то дырку, бездну времени (Эфрос сравнивал этот драматургический сюжет Тургенева с чеховским «Черным монахом»). Как бы это, кажется, могло выиграть, если б представление сплошь состояло из музыки... А вдруг, наоборот,— не выиграло бы, а проиграло... Театр — искусство зримое, *грубое*. И «воскрешаемая плоть» тут соткана из реальной человеческой плоти, из нервов и эмоций... Из слов.

А Колобов стремится сформулировать принцип перевода в работе над оперой — с одного языка на другой. Может показаться, он воплощает на сцене некое *стихотворение*. Не музыку. Не театр. А текст. Но ведь тогда все относительно просто — пользуйся нотами клавира как подстрочником и пиши *свое*. Ищи собственные рифмы, собственный поэтический полет. Где ж тут тогда синтетический театр — ведь он в корне своем как раз не перевод языка одного искусства на другой, а их слияние, не через внешние, а через внутренние резервы. Но это-то, наверное, и есть *утопия*, причем прекраснейшая. Потому что цель поэзии, как сказал Пушкин,— поэзия. Цель театра — театр. А цель слова — что? Слово?... Потому что если оно *было в начале*, то почему бы не предположить, что оно и в конце будет? Слово-звук...

В музыкальном театре есть вероятность, что все это предстанет в соединенном виде. Как три ипостаси единого и неделимого.

Не для того ли таинственнейше «перекачивается» в реальность Новой Оперы и тот драматический эфросовский воздух, делающий музыкальную партитуру нервной сквозной тканью, и жестко драматургическое — извилистое — движение к главной цели, вся эта тончайшая аритмия событийности и кажущейся случайности единой «драмы жизни», непроизносимые (то есть не переводимые ни на какой язык) нюансы звука — странно летучего, легчайшего, «запотевшего», как капли лопаются на стекле, на доли секунды не просто замирающего, а *хрустально стекленеющего* до такого предела, что, кажется, дальше нельзя — и «времени больше нет»?..

Но как он образуется, неповторимый колобовский ритм? Или «собственный каданс», как авторитетно определял эту субстанцию Шенберг, считая ее основополагающей для дирижера. Да-да, слышали: каждый пишет, как он дышит... или как там... Еще есть возможность: «спроси у них — у дуба, у березы»... Колобов советует: у ветра. Что ж... Ему слышнее... А мы все-таки попытаемся уточнить.

«Каданс (окончание) — гармонический оборот, завершающий музыкальное построение и сопровождающийся ритмической остановкой; важнейшее композиционное средство не только завершения, но и членения музыкального произведения на разделы».

Оказывается, интуиция интуицией, а более точный ответ получить можно. И хотя бы частично его понять. Каким образом достигается этот *свой* «гармонический оборот», завершающий и одновременно членящий, то есть дающий музыкальному временному потоку саму возможность движения — его первопричину и смысл... И куда Колобов так разгоняет оркестр, допустим, в невиннейшем дивертисменте «Россино», посвященном автору легких, «псевдосерьезных» опер, — гонит вплоть до изумляюще серьезной, звучащей на нашем родном языке (в отличие от традиционно принятого итальянского в других «номерах» дивертисмента) «Молитвы Моисея в Египте». «Взгляни, о Боже правый, на бедный свой народ... О Боже!..» И что такое эти его хоры, для которых буквально не хватает на сцене места?..

Вторая тема (продолжение первой)

...Буквально тонешь в звуках. Это почти вагнеровская «бесконечная мелодия», почти вырвавшийся на нашу волю ницшевский дух музыки. Но именно почти. Ведь там неизвестная золотиносная река течет, а здесь свое, родное. Иная текущая непрерывность, привязанная к конкретным адресам и адресатам. Непрерывность пушкинского «Онегина». «Энциклопедия русской жизни».

Колобовский оркестр — некое чувствилище. Пока действующие лица на сцене еще не вполне разобрались что к чему, певцы еще исполняют, тянут свои партии, он уже как будто что-то *знает* или скорее *предчувствует*.

Опутанная бытом, слипающаяся музыкальная речь четырех женщин в начале, близкий хор, ария Ольги — и летучая легкость оркестра, пробрасывающего звук-смысл на окончаниях, чтобы тут же его подхватить. Намеки, исчезающие отзвуки «ветреной надежды» — вздохи флейт. Музыка словно чуть пересмешничает, подсматривает, что там, какая лишняя тень промелькнет в распахнутом окне событий — то вроде бы не к месту поставленной музыкальной точкой, то вольным росчерком, то синкопой, легким «обмороком» музыкальной фразы... Все что угодно, только не прямая ровная линия-привычка... Ольга поет про вечность — «слово страшное». А в оркестре — «я люблю вас, я люблю вас»... Нет, кажется, зазора между Онегиным, докладывающим нам: «Мой дядя самых честных правил», — и мелодией, но что-то выдается легкой дрожью звуков, тоска какая-то... Чтобы уже серьезно отозваться в Интродукции перед сценой письма. Тема рока? Да, наверное. Но не «с бездонными глазами», как написал поэт, наш современник, а надрывающего нам сердце «средствами простыми»... В этой сцене (музыкально, зримо) — удивительная нежность, ощущение *святой плоти* жизни, каждого в ней момента. И так внятно пропоет няня, как ее «отвели в семью чужую». И мимолетно прикоснется к Тане, а та ответит ей лаской. Но слух героини уже полон ее Письмом. «Пускай погибну я»... Задыхающийся бег скрипок и часто пульсирующая тема «как они страдали, как они страдали»... Про Ричардсона. Музыка прочитывает — про тебя. По твою душу...

Отточив филигрань «разговорных» интонаций, оркестр все более настойчиво передает пульсации, толчки, мельчайшие «подсознательные» движения. Музыкальная лирика осваивает ритм прозы.

В художественном решении Колобова работает то, что в кино и театре называется принципом «двойной экспликации». Двойного объяснения. Это когда один кусок текста или даже целая сцена словно бы наплывает на следующую, одно изображение прозрачно накладывается на другое, давая ему новое объяснение. Получается, что последующий смысл особо окрашивает и все ранее случившееся. На сцене еще не смолк бал у Лариных, а Ленский уже поет свою тему — про «день грядущий». «Хор девушек» (его присутствующая на сцене часть) зеркально объединяет письмо Татьяны и сцену в саду. В сцене бала сквозь реплики участников мерцает траурный ритм мазурки. И там, где прежние трактовки выводили раздумье, печаль, элегию, там Колобов слышит разведенные «да» и «нет» — невозможность любви, жизни невозможность. Трагизм.

Развертывание музыкальной ткани (та же экспликация) в этом оперном спектакле сродни пушкинскому художественному опыту просвечивания свободной поэзией прозы жизни, существующих литературных схем и сюжетов. Выстраивающему единый временной, отражающий ритм «волшебного кристалла». Может быть, отсюда — ощущение особой прочитанности автора, выверенности всех поэтических смыслов.

Музыкальный текст «Онегина» именно *разворачивается*, точно свиток, — последующая строка еще скрыта, но тот, кто это *писал*, тот, кто *услышал* эти слова, знает ведь, что там сказано дальше.

Своего рода «предвосхищающее знание» (был в педагогике такой метод). Трактовки Колобова — то же знание, получаемое разом, из чужих рук, но становящееся своим кровным.

Третья, или тройная, тема

Какое-то *тихое пение*, дрожание сфер посреди музыкальной глади оркестра в финале спектакля все вдруг вместит и отразит. Как и в романе, заканчивающемся, если мы помним, не сценой объяснения героев, а сценой расставания поэта с самой реальностью романа.

В распоряжении создателя спектакля не имелось романских тонкостей, сложной словесной вязи, делающих это пушкинское произведение загадочным до такой степени, что некоторые даже считают его незаконченным.

Для публики театра эта история закончена. Никакой недосказанности нет.

Просто Гремин споев свою арию, а потом «переадресует» ее — уже откуда-то оттуда, из-за строки романа.

Просто Татьяна очень чисто и верно споев «я вас люблю» как «я вас прощаю». И про «свиданье верное».

Просто счастье действительно окажется ослепляюще близким. Оно буквально, музыкально ослепит Татьяну при виде Онегина, но она станет *зрячей*, а он так и пребудет в своей слепоте. Не смерть, а бессильная жизнь.

Лирические сцены. Конечно.

Но, как писал Бахтин, «всякая лирика жива доверием к возможной хоровой поддержке»; «лирическая одержимость в основе своей — хоровая одержимость». У Колобова в спектакле эта поддержка очень существенна.

Тайное и явное хоровое начало пронизывает оперу. Не знаю, может быть, на его волне мы и прощаем текстовые искажения — «улыбку уст, движение, взгляд» (вместо «движение глаз», как у Пушкина). Музыкально-хоровое начало восстанавливает тесные врата пушкинского слова-смысла.

Тут угадывается что-то очень дальнее: хор как молитва безличных женско-мужских божеств, молитва в самом древнем, еще дорегионном облици: воскрешающее женское — природа, эрос и смерть — и земное мужское, выражающее муку перед лицом города и мира в надежде утешения.

По-особому строится и музыкальный диалог. В классической западной опере — патетическая ясность. Страстный вопрос — строгий, часто безнадежный ответ или

целых два одинаковых вопроса-ответа, звучащих в унисон. Дозволяются лишь легкие вариации смысла. В опере «Евгений Онегин» — диалог пушкинский, повторяю, зеркальный, понятый *музыкально и хором*, через перипетии «коллективной души». Тут не произвольное вкладывание своего «я» в общее и постороннее. Тут аскеза, умирание одного голоса в другом — ради воскрешения третьего смысла. По сути дела, ради жизни тройной темы, которая и есть суть синтетического театра. А если этого умирания не происходит, не происходит и оперы как творчества.

В отличие, скажем, от театра Васильева, экспериментально занимающегося не безопасными для жизни эксплантациями и имплантациями своего и чужого (театра и мистерии, различных жизненных энергий), результатом чего являются столь удачно привнесенные в театральное зрелище то принципы прозы, то «дух музыки», то молитва (то есть создание нового текста, или метатекст) — в отличие от такого поиска Новая Опера находит *тайный язык*. Как готовую вечную форму, без которой никакая настоящая коммуникация на самом деле невозможна. Старый это язык или новый — я не знаю. Но он насущно необходим.

Без этого языка, как говорит один чеховский герой, — «не нужно, ничего не нужно». Ни «идей», ни «аптечек», ни «библиотечек». Ни даже ИДЕИ РЫНКА (хотя, конечно, пускай все это будет). Однако главное содержимое искомого языка — само таинство, в котором способно происходить пресуществление. (Вроде переключения; как полный «поворот ключа».) Не перекачка одной энергии в другую, а изменение субстанции в целом. Не отмыкание тайны, а свое присутствие в ней. Не наличие готовых идеалов, существующих где-то над нами, в пространстве, а то, что способно преобразоваться *внутри нас*, так сказать, в процессе...

И это действительный процесс, когда музыка становится как слово и как действие, оставаясь при этом собой, — как бы получает способность шагать, шествовать, жизненно длиться. И через эту нарастающую силу по-новому освящать плоть времени. В таком *действовании* музыка светоносна, она одухотворяет и воскрешает человека. Он может ее *вкушать* — как хлеб и вино...

В естественно-научной практике это, вероятно, может быть сравнимо с процессом закладывания в клетку головного мозга одной мысли, свободного додумывания ее до несколько другой (второй, «задней»), а получения — совсем новой (третьей, или же тройной, как плод синтеза), словно бы тебе и не принадлежащей. Синтетический театр мысли.

Не утверждаю, что абсолютно все колобовские спектакли находятся на таком уровне художественного синтеза. Но чего, и как, и почему ему в других случаях не хватает, господин управляющий музыкой, похоже, и сам знает.

В Новой Опере всего в достатке. Вот и не только оперный Пушкин, но и оперно-балетный («О Моцарт! Моцарт...»), и музыкально-драматический, даже «чтецкий» — ближе к тексту, чем делает это Алла Демидова в «Пиковой даме» (в ее исполнении звучит также на оперной сцене и ахматовская «Поэма без героя»), кажется, не придумашешь. Здесь же, в фойе театра, литературовед В. Непомнящий занимается умы «постройкой» и «контекстом» — читает и комментирует главы «Онегина». Зачем Колобову, не в обиду певцу и актеру, нужен еще и чтец, и исследователь? Вероятно, ему важен ритм не только отдельного готового произведения, но и ритм *индивидуальный* — времени, природы за окном, нашей эпохи, если угодно. Да, да — «учись у них, у дуба, у березы»... у ветра. У живого человека. Важен некий исследователь текста, не противопоставленный объекту исследования (всезнающий). Человеческая интонация, ритмические жесты, мелодика речи порой могут выразить смысл лучше, чем это делают слова.

«Интонационный жест смысла; а он и есть мелодия», — определяет М. Гаспаров, когда пишет о работе А. Белого «Ритм как диалектика». Предполагая, между прочим, что из этой исследовательской работы поэта может «вырасти стихотворение завтрашнего дня». Может, и музыка завтрашнего дня — тоже?

Во всяком случае, без личности, вне такого понятия как «персонализм», пришедшего к нам через довольно трудные условия личного выживания от Бердяева и Шестова,— в отрыве от индивидуального опыта вообще ничего невозможно. Ни искусство, ни религия, ни «синтетический театр».

Критики, которые корят Колобова за его внемузыкальную практику, этого или не знают, или не понимают.

И, вероятно, не случайны то и дело раздающиеся сетования на то, что у нас нет Литературы, а есть одни тексты — откуда ж ей, матушке, взяться, если не видят и не слышат *отдельного* художника. И почему в нашей литературной критике не имеется (или они крайне редки) работ, исследующих индивидуальный язык писателя — его *слово*, ритм, «интонационный жест», его «музыку»?

Литературы нет, потому что нет помысла о ней как о *человеческой*. Все нам некогда... все деньги — товар — деньги, звезды да бестселлеры.

Зато в зале Новой Оперы, под золоченым Победоносцем, хорошо слышно, как приближается звук. Он «переводится» своими собственными способами, попадая ко всем имеющим уши и к каждому, кто готов жить не по принципу человеческой массы, а по законам коллективной души. Но ведь и с массой можно обращаться по-разному: можно как с Прекрасной Дамой, а можно, как учили Гитлер — Сталин. Здесь нами пытаются управлять согласно гармонии, которую слышат сегодня, сейчас. Может, это называется властью таланта, а может, талантом власти.

Кода

Иногда вокруг «классики» такие сомнения и ропот, что за музыку и впрямь становится страшно.

Но, к счастью, Колобов не производит впечатления ни экспериментатора, ни музыкального романтика, творящего над бездной,— он человек точной мысли, не из ностальгического, а из нашего времени. Его дух музыки не сливает нас в «оргийном экстазе», не обещает человечеству «сон золотой». Он врачует и освящает. Но ведь это еще Чайковский говорил (по крайней мере у Н. Берберовой, основывающей свою книгу на документальных свидетельствах) — музыка не опьянение, она откровение.

В Новой Опере это «откровение» носит характер реальный и насквозь гуманистический. *Пьета* — слово милости и сострадания, взывающее к коллективному человеческому разуму, вот что в первую очередь услышано театром в репертуаре западной классики. Но что такое бред и морок коллективной души, Колобов знает не хуже нас. Знает, что можно и деградировать коллективно, и убивать в общем экстазе.

Так что, хочет он того или не хочет, общая направленность его эстетики не трагедийная. Она повествовательная. Вдумчиво-точная. Иногда очень мощная, реквиемоно грозная. Всегда связанная с историческим *преданием*. Изучающая это родное предание и объясняющая нам его.

Но слово «экспликация» — объяснение — по счастью, имеет еще дополнительное значение: легенда, *развертывание* смысла. Легенда же, предание в цепочке смысла — то, что должно быть прочитано. Что написано. Было и будет, как в «Апокалипсисе». А между «было» и «будет» развертывается сегодняшняя реальность, застывающая, но еще не застывшая, а потому полная до краев, как чаша, *всем* — сомнениями, упованиями и надеждами. Голосами мира сего.

Ю. Лотман в статье о «географической судьбе» культуры России пишет:

«Прогнозировать облик будущего культурного универсума — занятие не для историка... В настоящее время в России не сложился облик будущего, и поэтому столь туманно и неопределенно выглядит прошлое, но одновременно неопределенность прошлого и будущего — естественный результат того, что настоящее не отлилось еще в законченные формы и постоянно *меняет свое лицо* (курсив мой.— С. В.).»

Для того, кто будет описывать нашу современность из далекого будущего, она будет выглядеть необычайно интересной. Для современника же это — напряженная смесь трагических опасений и надежд.

Вот такая «полная чаша». Такие вот «начала и концы».

Впрочем, бойкие современники уже предостерегли в одной телепередаче, посвященной судьбам русского языка уходящего (уже ушедшего) века: произносить иные слова, как-то «концы», «конец», просто неприлично, ибо второе их значение вытесняет первое. Слова, действительно, мстят, метя рикошетом — прямо в лицо. Скажешь: «конец — начало» века — про тех, а оказывается, — про себя.

Поэтому со словами надо поосторожнее. Наша собственная глухота, тайная и явная недоброжелательность к чужому высказыванию стимулируют окружающее нас «бешенство слов». Хотя все это, конечно, сор — по сравнению со святыней Слова... Так что не будем о концах... Но о началах, я надеюсь, можно? О любви как о последнем знании — не возбраняется? Ведь это все тоже слова, каким-то образом до нас дошедшие. Завещанные нам, «первым встречным» культуры.



«Пиковая дама означает тайную недоброжелательность...»

ИЗ КНИГИ «БОЛДИНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Весной 1980 года мне позвонил Саша Кайдановский. Мы были знакомы давно — с тех пор, когда я, работая, как и сейчас, в московском музее Пушкина, заканчивала МГУ, а он театральное училище. В нашем музее Саша, еще будучи студентом, поставил замечательные спектакли-композиции по пушкинским произведениям. Он был умным, обаятельным, талантливым (впрочем, сегодня это всем известно). С ним было всегда интересно. И вот Саша попал в весьма затруднительную историю с «Пиковой дамой» и просил меня ему помочь. Почему меня? Я не помню, говорила ли я Кайдановскому о том, что «Пиковая дама» всегда была (и до сих пор остается) для меня блистательным и таинственным шедевром пушкинской прозы, загадкой, которую многие исследователи (и я в их числе) пытались и пытаются разгадать. Но я помню, что задолго до Сашиного звонка я подарила ему свою статью о «Пиковой даме». Я писала в ней о движении пушкинских героев в пространстве и времени, о том, какими приемами Пушкин воссоздает в сознании читателей иллюзию реальности мира, сотворенного его воображением. Приведу из моих наблюдений лишь один пример, но пример, как мне кажется, поразительный.

«Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный а l'oiseau royal, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...»

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу».

Когда Германн идет в спальню старухи, он ни о чем не думает: лестница узкая, витая; идя по ней, нужно быть внимательным, чтобы не упасть. В спальне Германн видит мертвую графиню. Размышлениям о ней, о ее тайне, которую некогда она открыла молодому счастливцу и теперь унесла с собой в могилу, не мешает прямая пологая лестница, по которой Германн начинает спускаться. Читая пушкинский текст, видишь, ощущаешь его движение. Пушкин передает это движение Германна по лестнице внутренним ритмом его размышлений. Каждая пауза, графически выраженная запятой,— это лестничная ступень:

По этой самой лестнице,
может быть,
лет шестьдесят назад,
в эту самую спальню,
в такой же час,

1-я ступень
2-я ступень
3-я ступень
4-я ступень
5-я ступень

в шитом кафтане,	6-я ступень
причесанный а l'oiseau royal,	7-я ступень
прижимая к сердцу треугольную свою шляпу,	8-я ступень
прокрадывался молодой счастливец,	9-я ступень
давно уже истлевший в могиле,	10-я ступень

Здесь лестница кончается, и кончаются паузы (запятые). Окончание фразы разбито одной логической паузой: «а сердце престарелой его любовницы (пауза) сегодня перестало биться». Это два шага Германна по узкой площадке к двери, которая выводит его в коридор, а затем на улицу. Доказать, что Пушкин создает иллюзию движения своего героя именно так, достаточно просто: если уничтожить паузы, построить фразу по-другому, эта иллюзия исчезнет.

Так или иначе, но Кайдановского моя статья заинтересовала. И, оказавшись в затруднительном положении на съемках фильма «Пиковая дама», он обратился ко мне за помощью. Когда Саша познакомил меня со сценарием фильма, мне стало ясно, что сниматься в нем такой артист, как Кайдановский, просто не мог. Пушкинский текст был чудовищно искажен, появились какие-то невообразимые диалоги, сцены, которых нет в повести: Томский говорил графине на балу, что управляющего надо взашей гнать, лакеи целовались под лестницей, суверный Германн поднимал на улице подкову et cetera, et cetera... Одним словом, надо было как-то отказаться от участия в этом антипушкинском действе. И мы решили написать новый сценарий.

Это были сумасшедшие и прекрасные дни. В Сашиной квартире на Пушкинской улице мы самозабвенно сочиняли. Посмотреть, как мы работаем, приезжали Гога Рерберг и Валя Титова (признаюсь, тогда для меня было важно, что известный оператор Георгий Рерберг, снявший фильм «Зеркало», — сын Ивана Федоровича Рерберга, выдающегося художника-графика, автора иллюстраций к «Маленьким трагедиям», а Валентина Титова — актриса, сыгравшая Марию Гавриловну в фильме «Метель»).

В нашем сценарии не было ни одного непушкинского слова. Мы много спорили, но потом согласились, что должно быть только так. К тому же такая установка отнюдь не мешала нашей фантазии. Саша тогда увлекался Рене Магриттом. Работы этого художника он вспоминал, когда мы обдумывали, как в кино передать навязчивые видения тройки, семерки и туза в больном сознании Германна: «Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком». Помню, Саша предложил дать крупный план: щека спящего Германна, закрытый глаз; по щеке быстро-быстро ползет паук; глаз открывается, во взгляде — ужас; паук превращается в карту — туз.

Конечно, у кино в отличие от художественной прозы — свои законы. В «Пиковой даме» есть эпизод, когда Лиза читает графине книгу, присланную Томским. Какую — в повести не сказано. И я предложила, чтобы в болдинской повести «Пиковая дама» звучала другая повесть, также написанная Пушкиным в Болдине, чтобы Лиза читала «Гробовщика», сцену явления к Адриану Прохорову мертвецов с синими лицами и ввалившимися носами. «Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить». Текст «Гробовщика» в нашем фильме своеобразно соотносился с текстом «Пиковой дамы»: мертвецы, привидевшиеся Прохорову во сне, и мертвая графиня, явившаяся к Германну после его пробуждения...

Мы написали сценарий чуть ли не за четыре дня. Но увы! История с «Пиковой дамой» кончилась тем, что режиссера отстранили от работы, фильм передали другому режиссеру, и он снял другой фильм, по другому сценарию, с другим Германном.

Прошло шесть лет. «Пиковую даму» затеял снять Михаил Козаков. Он дал мне прочесть свой сценарий, и я согласилась быть консультантом его фильма. Конечно, я внесла и кое-какие свои предложения. К тому времени вышла моя статья в «Болдинских чтениях» о надгробном слове в «Пиковой даме».

«Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное усение праведницы, которой долгие годы были ти-

хим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного»).

Художественный эффект пушкинской иронии достигается с помощью скрытого сопоставления реальной действительности, изображенной в авторском повествовании, с ее идеальной моделью, представленной в надгробном слове молодого архиерея: вздорная старуха названа праведницей, образ жениха полунощного иронически проецируется на Германна, который «ровно в половине двенадцатого <...> ступил на графинино крыльцо». Заметим, что в «Пиковой даме» — всего лишь цитата из надгробного слова, произнесенного молодым архиереем. Но, как образно (и справедливо) заметил О. Мандельштам, «цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна». Это значит, что, познакомившись с частью надгробной речи в «Пиковой даме», читатели пушкинского времени не могли не воспроизвести невольно в памяти житейски привычную ситуацию похоронного обряда, много раз слышанные церковные слова, должны были с помощью знакомых стереотипов как бы реконструировать произнесенное при отпевании старой графини надгробное слово в его полном объеме. Я и попыталась это сделать, обратившись к подлинным надгробным речам пушкинской эпохи. Они строились по общим законам. Надгробное слово включало жизнеописание усопшей, похвалу ее христианским добродетелям. Оно было призвано не только утешить слушателей, но и укрепить их в вере, дать им достойный образец для подражания. Так, например, в «Слове при отпевании ее сиятельства генерал-лейтенантши Ордена Святыя Екатерины Кавалерственной Дамы, княгини Анны Александровны Голицыной, урожденной Баронессы Строгановой, произнесенном Синодальным членом, управляющим Московскою Митрополию, Преосвященным Августинном, Архиепископом Дмитровским, Свято-Троицкая Сергиевы Лавры Архимандритом и кавалером 1816 года, апреля 25 дня» были такие наставления:

«Жены! Будьте столь же благонаравны, столь же удалены от празднословия, от злоречия и всяких суетных занятий, как преставльшаяся. Матери! Потщитесь также воспитывать чад ваших в вере, в благочестии и в страхе Божием, как преставльшаяся. Господіе! Управляйте подвластными вам с тою же кротостию, как преставльшаяся. Христиане! Будьте столь же верны и послушны общей матери нашей святой православной Церкви, храните с тою же строгостию все спасительные уставы, как преставльшаяся. <...> Праведницы во веки живут...»

Подобные ораторские тексты, привычные для читателя пушкинского времени и словно бы достраивающие в его сознании цитату надгробного слова из «Пиковой дамы», соотносились с текстом повести в целом. При этом оказывалось, что данные в авторском повествовании характеристические черты, детали, подробности, связанные с графиней, прямо противоположны традиционным наставлениям церковных проповедников: церковные ораторы призывали удалиться «от всяких суетных занятий» — графиня «участвовала во всех суетностях большого света»; если церковные ораторы ставили в пример добродетели усопшей, ее кротость, самоотверженную любовь к ближнему, попечительную заботу о служителях своих, то Пушкин сообщал о своенравии, холодном эгоизме графини, описывал ее безразличие к многочисленной челяди, которая «делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху»; требование исполнения церковных уставов в действительности заменялось участием в светском обряде — графиня «таскалась на балы <...>; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду». У праведницы была домашняя мученица — бедная воспитанница Лиза. Идея примера праведной жизни усопшей воплотилась в том, что после смерти графини Лиза также взяла себе воспитанницу. Мотив вечной жизни праведницы обернулся в «Пиковой даме» дьявольским явлением призрака графини. Так сопоставление текста пушкинской повести, где есть цитата из надгробной речи молодого архиерея, с надгробными словами пушкинского времени, эту речь дополняющими и по-своему «работающими» в механизме читательского восприятия, позволяет раскрыть иронию Пушкина в ее глубине и многозначности. И еще — найденные надгробные речи, конечно же, могли быть включены в фильм, в сцену отпевания старой графини. Ведь в них — подлинные голоса пушкинской эпохи, которые вновь могли зазвучать с экрана.

Козаков показал мне некоторые кинопробы. Мы встречались с Александром Абдуловым — он должен был играть роль Томского, а ему, как я поняла, не очень этого хотелось. И я призвала на помощь все свое красноречие, чтобы убедить его, что Томский — отнюдь не второстепенная роль: ведь именно он рассказывает анекдот о трех картах, который является завязкой сюжета, и фразой именно о нем завершается повесть. Но так случилось, что и замыслу Козакова не суждено было осуществиться...

Прошло еще восемь лет. В 1994 году к нам в музей явились две дамы. Они, сколько я помню, представляли телевизионную программу «Открытый мир». Речь шла о создании телепередачи, посвященной «Пиковой даме». Разумеется, я согласилась написать сценарий. В передаче должен был сниматься народный артист России Геннадий Бортников. Я пригласила его принять участие в этой работе — читать в кадре и за кадром пушкинский текст, потому что, как мне кажется, его дарование созвучно этому произведению Пушкина, его герою с профилем Наполеона и душой Мефистофеля. К тому же Бортников блистательно играл Раскольника, предтечей же этого героя Достоевского был пушкинский Германн. Но в передаче должны были еще сниматься вещи, множество вещей. Конечно же, мне хотелось максимально использовать поистине безграничные возможности нашего музея. Собранные музеем бесценные коллекции — книги XVIII—XIX веков, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мебель в интерьере прекрасного ампиричного особняка — все это в соединении с текстами Пушкина, стихами и прозой других авторов, с письмами, дневниками и мемуарами пушкинских современников, в сочетании с музыкой ушедших эпох позволяло приблизиться к постижению философской повести великого писателя, к его размышлениям о прошлом, настоящем и будущем России. Мне хотелось показать зрителю, как из впечатлений жизни, литературы, искусства рождалась «Пиковая дама». Мне хотелось, чтобы тексты и предметы, объединяясь в ассоциативные ряды, на экране воссоздавали образы пушкинских героев, Парижа XVIII века и Петербурга XIX столетия, передавали фантастический колорит пушкинской повести.

— Что козырь? — Черви. — Мне ходить.
 — Я бью. — Нельзя ли погодить?
 — Беру. — Кругом нас обыграла.
 — Эй, смерть! Ты право сплутовала.
 — Молчи! Ты глуп и молоденек.
 Уж не тебе меня ловить.
 Ведь мы играем не из денег,
 А только б вечность проводить!

Пушкинские рисунки: Мефистофель, покойница, скелеты, черт, греющийся у огня, летящая Фортуна. Карты, настоящие карты XIX века: тройка, семерка, туз. Журнал «Библиотека для чтения» 1834 года. Вот она — первая публикация «Пиковой дамы».

Лист из дневника Пушкина. Запись 7 апреля 1834 года:

«Моя Пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н. П. и кажется не сердятся».

В нашем музее хранится замечательный живописный портрет, выполненный неизвестным художником с оригинала Б. Ш. Митуара в начале XIX века. Это портрет княгини Н. П. Голицыной, о которой так писала мемуаристка Е. П. Янькова: «Родившись в начале царствования Елизаветы Петровны, при которой она была фрейлиной, княгиня Наталья Петровна Голицына видела царский двор при пяти императрицах, и, будучи старожилкой, не мудрено, что считала всех молодежью. Все знатные вельможи оказывали ей особое уважение и высоко ценили ее малейшее внимание...» Пушкин пишет о старой графине: «У себя принимала она весь город, соблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо».

Один из первых биографов Пушкина, П. И. Бартенев, записал со слов П. В. Нащокина:

«Пиковую даму Пушкин сам читал Нащокину и рассказывал ему, что главная завязка повести не вымышлена. Старуха графиня — это Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее Голицын рассказывал Пушкину, что он раз проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже Сен-Жерменом. «Попробуй», — сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести вымышленно».

На живописных портретах XVIII века — молодая дама и господин в пудренных париках, на гравюре — тот самый герцог Ришелье, который некогда волочился в Париже за графиней — русской Венерой. И еще — виды Парижа и Версаля; на столике красного дерева — зеркальце, коробочка для мушек (помните: «бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше...»), веер и бисерная сумочка и, конечно же, карты, карточные фишки.

Атмосферу XVIII века («столетье безумно и мудро» — так сказал об этом веке А. Н. Радищев) передает и редчайшая гравюра на шелку с изображением фейерверка, боскетов, роз, пляшущих фигур и стихи Г. Р. Державина:

В те дни, как все везде в разгулье:
 Политика и правосудье,
 Ум, совесть и закон святой,
 И логика пиры пируют,
 На карты ставят век златой,
 Судьбами смертных пунтируют,
 Вселенну в трантелево гнут;
 Как полюсы, меридианы,
 Науки, музы, боги — пьяны,
 Все скачут, пляшут и поют.

Игроки XVIII столетия и игроки XIX века...

А. П. Керн вспоминала: «Пушкин очень любил карты и говорил, что это единственная его привязанность».

Английский путешественник Томас Рейкс 23 декабря 1829 года сделал в своем дневнике такую запись о Пушкине: «Он откровенно сознается в своем пристрастии к игре; единственное примечательное выражение, которое вырвалось у него во время вечера, было такое: “Я предпочел бы умереть, чем не играть”».

«Страстные игроки были везде и всегда, — писал в «Старой записной книжке» князь П. А. Вяземский. — Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Пушкин во время пребывания своего в Южной России куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою. Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию».

А. Н. Вульф 8 декабря 1836 года записал в дневнике: «Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей».

«Он имел сильные страсти и огненное воображение», — так Пушкин представил героя «Пиковой дамы» Германна, сына обрусевшего немца, человека скрытного и честолюбивого. Так Пушкин представил героя нового времени, безвестного армейского офицера с профилем Наполеона и душой Мефистофеля.

Мы все глядим в Наполеоны.
 Двуногих тварей миллионы
 Для нас орудие одно.
 Нам чувство дико и смешно.

Любовь к бедной воспитаннице — всего лишь средство для достижения поставленной цели: «все это было не любовь! Деньги — вот чего алкала душа его! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!» С истине наполеоновской решимостью Германн идет на бессознательное, но все же

убийство. Для Пушкина в «Пиковой даме» наполеонизм — сложнейшая историческая, философская и психологическая проблема. Здесь он — предшественник Достоевского, герой которого рассуждает, Наполеон он или тварь дрожащая. «Люди верят только славе,— писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум»,— и не хотят поверить, что между ними может находиться Наполеон, не командовавший ни одной егерской ротой...»

И час настал, и в усыпленье
Ума и чувств впадает он,
И перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон,
Виденья быстрые лукаво
Скользят налево и направо,
И будто на смех ни одно
Ему в отраду не дано,
И как отчаянный игрок
Он желчно проклиняет рок...
Все те же сыплются виденья
Пред ним упрямой чередой,
За ними с скрежетом мученья,
Он алчною следит душой.

«...когда сон овладел им, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини».

Работая над сценарием телепередачи, я неожиданно пришла к небезынтересному, как мне кажется, наблюдению. Оказывается, в болдинской повести «Пиковая дама» отразились и впечатления Пушкина, связанные с его детством и юностью. В болдинском «Каменном госте» Пушкин писал о Мадриде и Париже, в болдинской «Пиковой даме» — о Париже и Петербурге; сказались в ней и семейные предания, место действия которых — Москва, Михайловское и Петербург. Эти предания записал племянник Пушкина, сын его сестры Ольги Сергеевны Л. Н. Павлищев:

«Бабка моя, Надежда Осиповна, год спустя после появления на свет Александра Сергеевича,— следовательно в 1800 году,— прогуливаясь с мужем днем по Тверскому бульвару в Москве, увидела шедшую возле нея женщину, одетую в белый балахон; на голове у женщины был белый платок, завязанный сзади узлом, от которого висели два огромные конца, ниспадавшие до плеч. Женщина эта, как показалось моей бабке, не шла, а скользила, как бы на коньках.— «Видишь эту странную попутчицу, Сергей Львович?» Ответ последовал отрицательный, а странная попутчица, взглянув Надежде Осиповне в лицо, исчезла».

Спустя пять лет Надежда Осиповна в Михайловском опять увидела это странное существо, скользящее по полу как будто на коньках. Спустя же еще пять или шесть лет оно явилось к ней в Петербурге:

«Однажды Надежда Осиповна, в ожидании прибытия гувернантки, укладывавшей Ольгу Сергеевну спать, вязала в своей комнате чулок. Комната освещалась тусклым светом висячей лампы; свечи же на столике бабка из экономии не сочла нужным зажигать до прихода мисс Белли. Внезапно отворяется дверь, и Надежда Осиповна, не спуская глаз с работы, говорит взошедшей: «А! Это наконец вы, мисс Белли! Давно вас жду, садитесь, читайте». Вошедшая приближается к столу, и глазам бабки представляется та же таинственная гостья Тверского бульвара и сельца Михайловского — гостья, одетая точно так же, как и в оба предшествовавшие раза. Загадочное существо вперило в Надежду Осиповну безжизненный взгляд, обошло или, лучше сказать, проскользнуло три раза вокруг комнаты и исчезло, как бабке показалось, в стене».

«Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старрой графини».

В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко — и тот час отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращается с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользя, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!»

Конечно же, я включила в сценарий и приведенный фрагмент из «Пиковой дамы», и воспоминания Л. Н. Павлищева. В кадре же предполагались часы, висячая лампа, стол с погашенными свечами, на столе — раскрытая книга...

В завершение фильма должно было звучать пронзительное стихотворение Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума». Когда же читался за кадром текст заключения «Пиковой дамы» — «Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”» — на экране появлялась «Панорама Невского проспекта» И. Иванова с оригинала В. С. Садовникова. В нашем музее хранится очень редкий экземпляр с раскраской 1830-х годов. Так вот, я хотела, чтобы звучал вальс, а камера ехала по панораме, чуть задерживаясь на барышнях, перебегающих проспект, скачущих военных, едущих каретах. «Игра пошла своим чередом». Это Германн сошел с ума, а жизнь — игра идет своим чередом...

Сценарий был написан. Начались съемки. Но... Бортникова заменили другим артистом. Что же касается моего сценария, то телевизионные дамы настолько его изуродовали, что я вынуждена была снять мое имя из титров отснятого фильма. Ну что же... Все верно: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность».



Владимир БЕРЕЗИН

Ф Э Н Т Е З И

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит...

А. С. Пушкин

Фэнтези — слово странное, нет даже уверенности в том, как оно правильно пишется. На русском языке, разумеется. Его писали так и этак, чередуя «э» и «е», особенно во времена полиграфического бума конца восьмидесятых. Слова «фэнтези» нет в словарях. Все современные определения неточны и начинаются тягуче, как леденец: «Это когда...».

Зарубежную фэнтези совершенно справедливо отделяют от авторских сказок вроде путешествий маленькой английской девочки по кроличьей норе и истории летающего домика с американской девочкой внутри. Придуман был даже специальный термин — *adult fantasy*. Настоящая фэнтези — родственница сказок, а не потомок, что бы ни говорили о ее происхождении от мифологии и готических романов.

Можно ради шутки считать первой русской фэнтези «Руслана и Людмилу» — налицо все формальные признаки: путешествие героя, множество ролевых персонажей, а уж мечей сколько там — не передать. Причем, что важно, Пушкин написал вполне светскую поэму, где герой действует не подобно рыцарю, а подобно кнехту, наемнику. У героя есть награда — Людмила-Русь, есть враг и есть череда магических предметов, встречающихся на пути. Герой не радеет о спасении человечества, не выполняет рыцарских обетов.

Если же о генезисе фэнтези говорить серьезно, то настоящей фэнтези всего около ста лет. Ее историю можно еще более укоротить, ведя отсчет не с комиксов начала прошлого века, а с его середины: с появления «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса в 1950 году, а затем, через четыре года — трилогии «Властелин колец» Д. Р. Р. Толкиена. Тут-то все и завертелось.

А вот корни этого молодого явления действительно древние, уходящие во вполне конкретные сюжеты — свод преданий о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Причем христианская составляющая вытравлена из артуровского цикла эволюционным способом. Здесь сказался какой-то загадочный закон, который не позволил и христианскому Льюису стать по-настоящему популярным. Понятно, что открытая проповедь была бы для массового читателя скучна, ангелы, пустившиеся в полет по глянце-вым страницам, — невозможны. Но и дьявол в фэнтези не встречается — в отличие от демонов и бесов. Дьявол не соответствует языческому стандарту фэнтези.

Причем тот же закон облек фэнтези в мрачноватые одежды кельтской эстетики. Несмотря на то что греко-римский пантеон гораздо более структурирован, именно кельтская эстетика стала доминировать в фэнтези. Этот современный светский жанр населен раннефеодальной атрибутикой цеховой магии. Волшебники там гордо несут свои фаллические шляпы, процветает странствующее рыцарство, не имеющее, правда, собственно рыцарского канона. Меч — еще один внешний признак этого поджанра фантастической литературы, одного из частей триады — утопии, фэнтези и научной фантастики. Меч — символ того, что действие происходит в Темные века, в допороховую эру. Невозможно представить гнома не то что с пулеметом, но и с пикалью.

Итак, в отличие от *science fiction*, где даже самые невероятные явления и события имеют научное — или псевдонаучное — обоснование, повествование в фэнтези строится по законам сверхъестественным, охотно используя магическую атрибутику. Эстетические символы фэнтези — меч, заклинание, логово мага, путешествие героя.

Чем интересна серийная литература фэнтези, так это попыткой создать связный мир с народами, королевствами, городами, реками и землями. Иногда, однако, забывается принцип, необходимый серийной книге: каждая отдельно взятая должна

обладать самостоятельностью. То есть при потере части информации об описанном мире читатель не должен быть обижен.

Клишированные путешествия фэнтези происходят в у-топии. То есть месте несуществующем. Что приводит к особым отношениям с топографией.

Интересно, что карты являются еще одним неизменным атрибутом фэнтези еще с тех времен, когда даже самого слова не существовало. Они, эти карты, в советском детстве начинались с изображения Большого Зуба Швамбрании. Но перелистай хоть тысячу страниц фэнтези, не найдешь в этих картах изовысотных линий и градусной сетки. В известных изданиях Толкиена существует всего лишь привязка к сторонам света — остроконечная стрелка, указывающая на «N». У других авторов загадочная роза ветров лишилась букв.

Между тем вопрос о магнитном склонении в утопии остается открытым. Изобретение голландца Синеллиуса — триангуляция — здесь нежизнеспособно. Попробуйте представить себе эльфа с теодолитом. Для картографии можно применить магию, но все же утопия живет в доптолемеевых проекциях, склоняясь к Марину Тирскому и Эратосфену. Ей не знакомы прелести Меркатора и Эккерта. Впрочем, говорить о проекции нужно осторожно — картографическая проекция есть изображение на поверхности шара, а кто может поручиться, что действие фэнтези не происходит на плоской земле? А может, подобно лунным коротышкам, герои путешествуют по внутренней поверхности шара?

Чем-то карты фэнтези напоминают средневековые портоланы, морские навигационные карты: береговая линия на них часто становится единственной достоверной деталью. На портоланах, кстати, впервые появились рисунки линейных масштабов, но в чем измерять расстояние в утопии — в милях, днях пути или придуманных единицах?

Зато на книжных картах горбатятся сказочные горы, холмятся волны, торчат стилизованные елки и палки, а в середине сказочного материка болота преграждают путь персонажам.

Освоив швамбранскую топографию, мы смело приступили к странствиям в мире фэнтези. Чуть состарившись, мы следили по таким же картам за странствиями хоббита и его приятелей. Попутно отметим, что в современной фэнтези карты часто оторваны от сюжета. Карта превращается из изображения земной (или неземной) поверхности в деталь повествования, в знак, указывающий на существование несуществующего, пытается удостоверить реальность утопии.

По этой поверхности и движется герой, собирая амулеты, ввязываясь в драки с людьми без голов и головами без туловищ, складывая вместе с читателем в осмысленную картину пазл, состоящий из загадок. То же делали и герои артуровского цикла, собирая чаши да копья. И не этим ли заняты наши современники, играющие в компьютерные игры, называемые «квестами», ведь квест, собственно, и есть путешествие, странствие.

Но вернемся к основоположнику. Итак, почти два десятка лет назад к нам явился Толкиен, фигура настолько символическая для истории поджанра, что даже его фамилию до сих пор пишут по-разному. Проникновение Толкиена в массы породило уйму эпигонов.

Это проникновение свершилось по-настоящему с началом «перестройки». Нет, его читали и раньше — листали разваливающиеся томики на английском в Библиотеке иностранной литературы, штудировали изданного «Детлитом» «Хоббита». Но хлынувшие рекой переводы, вне зависимости от их качества, тут же ввели толкиеновские сюжеты в массовую культуру. Будто звоном вахтенного колокола эпоха была отмечена звоном мечей на Ленинских горах.

В СССР, причем, почва для фэнтези была подготовлена другой книгой — романом «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Согласно идеям, в него заложенным, роман можно было бы отнести к классической научной фантастике — земная цивилизация посылает своих эмиссаров на планету, находящуюся на средневековой стадии развития. Ничего мистического не происходит, но роман пронизан упомянутой выше эстетикой. Кстати, именно по этой книге в конце семидесятых годов проводились одни из первых ролевых игр. Игра, правда, была больше похожа на самодельный спектакль, но имена героев Стругацких намертво приклеились к актерам. И спустя много лет можно было еще услышать: «Вот, дескать, иду по лесу, а под кустом лежит Будах и спит нетрезвым мертвым сном».

Про эпигонов сказано было не просто так: прошедший мимо интересов общества «высокой литературы» скандал с продолжением толкиеновской саги был для любителей Толкиена настоящей трагедией, разделив их на два лагеря.

А сейчас на российском рынке живут совместно два вида этой литературы отечественного производства — фэнтези с родным привкусом и фэнтези, сделанная под зарубежный образец. К первому относится Мария Семенова со своими романами про Волкодава, Никитин с циклом «Трое из леса», еще несколько авторов — интересных и не очень. Это называется «славянская фэнтези».

Но прежде чем говорить о национальных отличиях, нужно сделать несколько замечаний о языке. Язык фэнтези странен. Стилизован его чрезвычайно просто из-за обилия заглавных букв. Стандартная фэнтези написана будто по-немецки, где любое существительное начинается с прописной буквы. Так что какому угодно предложению можно придать весьма возвышенное звучание: «Он встал и подошел к Окну. Во Дворе росло Дерево, и шел Человек в Шляпе».

В славянской фэнтези есть свои особенности и загадки. Она порождается национальным колоритом, поскольку понятие «фэнтези» определяется не только набором взятых напрокат из национальной мифологии сюжетов, но еще и стилем. Причем неизвестно, чем в большей степени. Географические названия, имена народностей — все подчинено неписаному, но строгому закону.

Есть в наборе стилистических правил фэнтези и правила для написания как бы «русского романа». К содержанию они отношения не имеют, а имеют отношение именно к языку. Это такой квазисоляженицынский язык, а то и пародийный язык «деревенской прозы», в котором рыскают по страницам странные слова, напоминающие славянизмы, — все эти «индо взопрели озимые», «вотще» и «ныне», «нешто» и «пошто».

Одна из книг, написанных таким образом, — «Травень-остров» Алексея Семёнова. «Славились вельхи доперезь всего искусными своими кузнецами». «На что им лжу молвить?» — эти и другие фразы иллюстрируют забавный, но не всегда умелый процесс языковой стилизации. «...Зорко, улучив миг, схватил Брессаха левой рукою за кисть его десницы, державшей клинок, и своим мечом нанес ему удар по левой кисти...» Руки мешаются с десницами, причем к Древней Руси сюжет, понятное дело, никакого отношения не имеет.

Вот герой спасает барышню, вытаскивает ее из пропасти. Причем автор слова в простоте не скажет, герой справляется не с тяжестью, а с «тяготой». И вот: «Наконец Зорко справился с тяготой, и Иттрун очутилась, как и должно было ей, в этом мире, а не на грани с исподним». Эх, хорошо, ай да лучше не скажешь! Страшен исподний мир.

Есть еще способ загонять глагол на последнее место в предложении: «Мама мыла раму» — «Раму мама мыла» — все получается как-то величественнее.

Автор не брезгует и другим приемом — время от времени герои обращаются друг к другу по отчеству: «— Благодарствую, Иттрун Хальфдириовна, — поклонился он севганке». Интересно, каково было отчество Бильбо Бэггина? Для интересующихся можно сообщить: Бангович. Бэггинс, Бильбо Бангович. Вот каково.

Беда большинства романов русской фэнтези — это детский восторг, с которым автор рисует восточный орнамент, подобный придуманному Остапом Бендером для ленивых журналистов. Этот восторг и самодостаточная радость от описания меча и щита гасят интерес к книге. Текст превращается в эзотерическую радость. То есть радость для людей, что испытывают экстаз от одной надписи на обложке — «фэнтези».

Дело не в чистоте жанра — в фэнтези все дозволено, но если писатель взялся за гуж, взялся за стилизацию, начал писать на таком языке — ему приходится отвечать за последствия.

А если он взял за образец жесткий канон классической фэнтези, то ему приходится помнить о том, что в литературе странствия героя обычно подчинены какой-то идее. Книги основоположника жанра читались с увлечением, даже если тома странствий хоббита были разрознены.

Разумеется, качественная фэнтези смешна не наивной стилизацией. Существуют блестящие образцы юмористической фэнтези, в частности, книги Терри Прачетта. Он говорил, что человек — как коктейль — состоит из смеси юмора и философии. Замечу, что слова Прачетта можно рассматривать и как рецепт, общий для всей литературы. Однако зачастую в современной фэнтези бармен не доликает юмора.

Плодятся угрюмые квазирыцарские романы, толкиенисты мрачно исполняют свои масонские ритуалы... Конечно, бывают и исключения, но тенденция к сугубо серьезному восприятию придуманных миров преобладает. Есть, кроме Прачетта, и другие писатели, что влили в читателя поболее юмора, чем ритуала. Это в первую очередь Роберт Асприн с его Скивом Великим, можно назвать еще несколько имен. Но, видимо, Прачетт переведен так, что ни с кем его не спутаешь. Человек, в свое время отвечавший за PR атомных электростанций, очевидно, не может не быть юмористом. Именно он придумал четырех всадников Абокраллиссиса, которые надрались в придорожной корчме, и конец Плоского света не состоялся.

Конец того мира, в котором в спутниках у неудачливого волшебника не пес или слуга, а бодро ступающий всеми четырьмя ножками Бездонный Сундук; где шляпа волшебника сварлива и никак не может найти подходящую голову; где книги, ошалевшие от потрясений, летают туда и сюда, а наиболее дерзкие гоняются за птицами.

Дело в том, что Прачетт не забывает доливать и философии. Поэтому его серия о Плоском мире не набор острот, а действительно замок фэнтези, только окрашенный юмором в разные цвета. Кстату, вот цитата: «Волшебники не очень-то любят философию. Их ответ на известную философскую дилемму: “Все знают, что та-

кое хлопок двумя руками. Но что такое хлопок одной рукой?» — довольно прост. С их точки зрения, хлопок одной рукой выражается в звуке «хл».

Вот тебе, бабушка Яга, и Юрьев дзэн.

Или другая легко расшифруемая пародия: «За описанием химеры обратимся к знаменитому сочинению Брумфого “Неестественные животные”: “У нее три русалочьих ноги, шерсть черепахи, зубы курицы и крылья змеи. Разумеется, все это я знаю только с собственных слов, поскольку сей зверь обладает дыханием раскаленной печи и темпераментом воздушного шарика, несомого ураганом”». Отзвук Борхеса в этом пассаже понятен всякому.

Промежуточный между западным образцом и славянским орнаментом вид фэнтези — это цикл Макса Фрая о причудливом мире Ехо. В аннотации к последнему тому его саги говорится: «Читатель с удивлением узнает, что не кто иной, а он сам был главным героем книги». Звучит это почти как декларация постмодернизма. Мир Фрая воистину состоялся. У этого мира есть недоделки литературного плана — в общем, все как в анекдоте про портного, которого упрекают в том, что слишком долго шьет. А ведь Господь, дескать, создал этот мир всего за шесть дней. На что портной отвечает: «Так посмотрите на этот мир и на эти брюки». Миры всегда создаются с недоделками — лишним пафосом или неловкими шутками.

Особенностью мира Макса Фрая становится то, что в него при совершенно серьезном выражении лица попадают абсолютно постмодернистские конструкции. За «неклассичность» Фрай заслужил множество нареканий — и со стороны любителей «настоящей» фантастики, и со стороны «чистой» фэнтези. Шутки и анекдоты, перенесенные из контекста большого российского города в причудливый город Ехо, постоянные отсылки к русской речи и ценностям современной культуры «среднего возраста» и впрямь уводят от традиционной для фэнтези серьезности. В текстах Фрая сосуществуют Армстронг (не астронавт) и группа «Dereche Mode», Марлон Брандо и бог Один, его герои смотрят магнитофон и ругаются матом, превышают скорость на дорогах и отпускают сортирные шутки. Такое впечатление, что в последние десять лет центонность стала едва ли не самым модным приемом в литературе. И у Фрая главный герой разглядывает самопишущие таблички и перебирает в памяти раскрытые дела: «“Воины Дрохмора Модиллаха”. Это хлопотное дело было еще напоминанием о том, как я впервые посетил оперу...; “Сад Мокки Келесса”; “Бездомный буриув”...» Как тут не вспомнить десятки пародий на А. Конан Дойла, где в обязательном порядке перечисляется пяток раскрытых дел, от которых остались одни лишь названия.

Серийные романы о приключениях героев Тайного Сыска напоминают детективные серии, например, цикл полицейских романов американца Эда Макбейна. Его полицейские служат в своем 87-м участке, женятся, расстаются, раскрывают преступления, горят на работе. Создается иллюзия дряхлеющей живой жизни, с одной стороны, наркоманически привязывающая читателя, а с другой, опять же конструирующая самодостаточный мир. Правда, внимательный читатель вдруг осознает, что Управление Полного Порядка, где работает Макс Фрай, отнюдь не полиция. Полиция в том мире тоже есть. Управление Полного Порядка — это самая настоящая госбезопасность, а сослуживцы Фрая — колдуны-чекисты. Поэтому вереница романов и повестей — не детектив в стиле фэнтези, а скорее сага о магах-контрразведчиках. Что еще сильнее привязывает Фрая к традициям массовой культуры.

Это обстоятельство очень важно. Герой фэнтези, таким образом, не просто ищет свой путь, его путешествие сопряжено с детективной интригой, с расследованием. Он шпион или контрразведчик, вор или полицейский, только на этот не новый сюжетный каркас накинута магическая попона.

В заключение надо сказать, что фэнтези оказалась видом литературы, чрезвычайно способствующим объединению читателей. Среди причин этого явления обычно называют подростковый протест, социальный эскапизм жителя большого города. Недаром наиболее успешные съезды ролевиков, то есть любителей ролевых игр, проходят весной и осенью, подверстанные к школьным каникулам. Сообщества ролевиков замкнуты, они живут по своим законам, общим для групп, посвятивших себя популярной эзотерике.

Кланы ролевиков неизбежны в современной культуре, они так же логичны в ней, как монашеские братства в поджанре, который их породил.

При этом любовь к чуду стала в народе поистине массовой. Обращать внимание на оксюморон популярной эзотерики ждущему чуда невозможно.

Так думал я, разглядывая однажды Дом культуры, в котором, как потревоженный пчелиный рой, гудели хоббиты, орки и тролли. Там, на ступенях, стояли две эльфийские девушки и во весь голос распевали «Хава нагилу».



Павел БАСИНСКИЙ

ДОНЕЦК

Наталья ХАТКИНА. ПТИЧКА БОЖИЯ. Донецк, Издательская группа М. О. С. Т., 2000. Без указания тиража.

Имя Натальи Хаткиной, донецкого автора, пишущего на русском языке, уже второй раз попадает в рубрику «Русское поле». Это, верно, уж что-нибудь да значит! В прошлый раз я с удовольствием процитировал строчки поэта. Не откажу себе в удовольствии и сейчас:

Нет у света ничего, кроме тьмы.
Он в ней лилией пророс и погас.
Кто там плачет в темноте? — Это мы.
Нет у Бога никого, кроме нас.

С онтологической точки зрения это неверно, но с поэтической — выразительно!

ENTER. Книга донецкой прозы. Донецк, без изд-ва, 2001. Без указания тиража.

Коллективный сборник донецких прозаиков, пишущих как на русском, так и на украинском языках. Таким образом сборник двуязычный. «Enter» — компьютерный термин, название одной из главных и наиболее часто нажимаемых функциональных кнопок. По-английски «enter» означает «вход». Взрыв русско-украинского постмодерна. Дело Вячеслава Курицына продолжает жить и побеждать. Хай соби живз! Авторы та же Н. Хаткина (в качестве прозаика), Дмитрий Пастернак, Элина Свентицкая, Олег Завязкин, Григорий Ициксон, Юрий Коробчанский, Светлана Заготова (проза, о ее стихах см. в прошлом выпуске «Русского поля»), Елена Стяжкина, Владимир Скобцов, Константин Богдан, Вячеслав Верховский, Владимир Авцен, Анна Біла, Олег Соловей, Олег Кажан, Дмитрий Білий, Иван Ревяков, Сергей Шаталов, Ирина Шаповалова. Образчик прозы — короткий рассказ Владимира Рафеенко:

ДЕВУШКА-ЖЕНЩИНА

Потопа шла домой, да и напилась по дороге. А женщина она большая — вот и сломала у соседа входную дверь. Тот выходит и говорит:
— Мариша, какого черта?
— Не грусти, Степаныч, — ответила девушка.

ХАРЬКОВ

Лео ЯКОВЛЕВ. АНТОН ЧЕХОВ. Роман с евреями. Харьков, Издательская группа «Ра-Каравелла», 2000. Тир. 1000 экз.

Очень любопытное исследование «еврейской темы» в жизни и творчестве классика. Вывод: Чехов не был антисемитом (как иногда неосновательно считается). В качестве приложения даются фрагменты прозы Чехова на соответствующую тему и воспоминания о нем Исаака Альтшуллера.

СЫКТЫВКАР

Владимир ЦИВУНИН. ИМЕНА ВСЕХ ЖИВУЩИХ (ВРЕМЯ ЛИСТЬЕВ). Сыктывкар, Коми книжное издательство, 2001. Тир. 500 экз.

Стихи о России, о времени, о Боге и, конечно, о себе. Следующие строчки поразили меня весомой простотой и точностью определений:

Живем на пенсию родителей,
И не пойдем своей вины
Неприспособленные жители
Перестаравшейся страны.

Не убавить, не прибавить! А живем-таки!

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Юрий СТОЮШКИН. КОРАБЛИ МОЕЙ ВЕСНЫ. Н.— Новгород, без изд-ва, 1996. Тир. 500 экз.

Стихи капитана II ранга запаса. «Да, я всю жизнь служил на флоте, / Да, флот мой ад и флот мой рай, / Но вы-то чем теперь живете: / Купи — продай, купи — продай...» Много обид (впрочем, понятных). Есть очень трогательные строки:

В Москве скончался дядя Коля,
Все говорят, от алкоголя...

Скорей он умер от того,
Что звали пьяницей его.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Дмитрий ЕВДОКИМОВ. РОЖДЕНИЕ. Великий Новгород, без изд-ва, 2000. Тир. 500 экз.

В сборник молодого поэта, как следует из аннотации, вошли избранные стихотворения, написанные им с 1997-го по 2000 год. Стихи любительские. Но иногда (само по себе) в них прорывается что-то метафизическое:

Идет дедушка с клюкою
В поисках еды.
За ним девушка с косою...

Я не уверен, что автор сам понимает, КТО преследует с косою бедного душу.

ВОЛГОГРАД

Елена КОЛЫШЕВА. ПТИЦА. Рассказы и повести. Волгоград, «Перемена», 1999. Тир. 100 экз. Серия «Творческий опыт».

Первая книга в серии, основанной издательством «Перемена» при Волгоградском педагогическом университете. Автор — студентка филологического факультета. Рассказы иногда романтические, иногда жутковатые — например, о том, как люди в современном городе умирают от голода.

ПЕРМЬ

Владислав ДРОЖАЩИХ. ТВЕРДЬ. Книга стихов. Челябинск-Пермь, Фонд «Галерея», Фонд «Юрятин», 2000. Тир. 500 экз.

Безумно красиво изданная книга стихов одного из лидеров уральского поэтического андеграунда. Цитировать отдельные строчки не имеет смысла, надо погружаться в контекст. Вообще подозреваю, что стихи Дрожжих (как и более известного в Москве Виталия Кальпиди) вне уральского поэтического контекста утратят половину смысла, а может быть, и всякий смысл. Это не упрек, а констатация проблемы. И проблема эта заключается вовсе не в траченной молью оппозиции «Москва-провинция», а в том, что стихи сами по себе, вне конкретно зримого и осязаемого культурного контекста, давно уже никому не нужны. Грубо говоря, современному Евтушенко-2 не имеет смысла рваться в столицу, чтобы дурачить людям головы на площади Маяковского. Гораздо правильнее ему было бы культивировать свой контекст на станции Зима.

Пользуясь случаем, посылаю сердечный привет Марине и Володе Абашевым (Фонд «Юрятин»).

ЧЕЛЯБИНСК

Николай БОЛДЫРЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ВЕТРА. Три книги стихотворений. Челябинск, Студия «Единорог», 2000. Тир. 200 экз.

Авторское избранное одного из самых интересных и серьезных уральских писателей. Замечательная графика Тамары Меженовой, специально созданная еще по рукописям стихов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Леонид ГРИГОРЬЯН. ПОСЛЕДНЯЯ СВЕРКА. Избранные стихи и переводы. Ростов-на-Дону, МП «Книга», 2000. Тир. 300 экз.

Культурные стихи и переводы из современных армянских поэтов.

ИВАНОВО

Владимир ЧЕРКАШОВ. ПРОЗРЕНИЕ. Иваново, МИК, 2000. Тир. 300 экз.

Вторая книга стихов студента-заочника Литературного института им. Горького.

Деревня родная!
Что смотришь так строго?
Старушка седая
сидит у порога...

ВОЛОГДА

Галина НЕЧАЕВА. СПОЛОХИ И БЛИКИ. Вологда, «Евстолий», 1999. Тир. 200 экз.

Галина НЕЧАЕВА. BLIGENDE HOLLÖNDER (ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ). Вологда, без изд-ва, 2000. Тир. 100 экз.

Стихи. В основном — он, она, встречи, разлуки и проч.:

Без тебя — ни глотка, ни дыхания,
Без тебя, как без солнца навек...

Возвращайся, пожалуйста, солнышко,
Я тебя больше жизни люблю.

ВОРОНЕЖ

Борис ЗАМБРОВСКИЙ. ПОТУСТОРОННИЕ РИТМЫ. Воронеж, без изд-ва, 2001. Без указания тиража.

Первая книга стихов доктора философских наук, действительного члена Международной академии наук высшей школы. Размышления о времени и о себе. Есть стихи эротические.

ТУЛА

Владимир САПОЖНИКОВ. ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ВЕЧЕР. Тула, «Тульский полиграфист», 2000. Тир. 1000 экз.

Шестая книга стихов профессора Тульского университета. Многие стихотворения вполне естественно посвящены Ясной Поляне и лично Льву Толстому.

ВОЛЖСК

Андрей АЛЕШИН. ЗАРИФМОВАННОЕ СЧАСТЬЕ. Йошкар-Ола, без изд-ва, 1999. Тир. 150 экз.

Кажется, первая книга стихов не слишком молодого автора из города Волжска. В начале книги — солнечная фотография поэта с его дочкой Ириной.

Кто сказал, что от любви не умирают,
Кто сказал, что можно жить и не любить?

В самом деле — кто сказал подобную глупость?

НОВОСИБИРСК

Анатолий СОКОЛОВ. КРЕПОСТЬ. Новосибирск, Издательский дом «Сибирские огни», 2001. Тир. 500 экз. Поэтическое приложение к журналу «Сибирские огни».

Есть хорошие поэтические строчки, с чувством меры и ритма:

На жесткие спины крестьянских телег
Тяжелыми хлопьями падает снег...

И тут же нечто совершенно невнятное:

Захочешь забыть виртуальные дрязги,
Проведай пространства отчизны родной...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
www.Gazety.ru

Во втором полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 52 рубля;
для подписчиков стран СНГ — 69 рублей
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

*Читайте
в ближайших номерах:*

ОЛЕГ ПАВЛОВ
*Карагандинские девятины,
или Повесть последних дней*

«Караганда плыла и плыла на степных ветрах. Что ни утро пугливо разбегались облака, повывлезшие за ночь как из щелей на черствые звездные крошки. Открывалось широкоэкранное черно-белое небо ноября, давно предвещающая одну и ту же погоду. Из каменной глыбы дня наружу выходил холод, сумрачно бродил по городу. Волны ветров качали плотами одинаковые порыжевшие шеренги деревьев на просторах улиц, проспектов, площадей. На ветру и холоде еще торговали арбузами. И было как будто далеко то время, когда должны были колко потрескаться инеем стекла неприступных морозу и снегу человеческих жилищ и погибнуть в стужу от лютой ледяной пытки то бездумный пьяница, то несчастный бродяга».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца года
«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумёртвого дома.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Роман.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. Продолжение книги «Далее везде».

Павел КРУСАНОВ. **Роман.**

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман. Продолжение.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Роман.**

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.

Олег ПАВЛОВ. **Карагандинские девятины, или Повесть последних дней.**

Юрий ПЕТКЕВИЧ. **Повесть.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

Статьи философа Александра СЕКАЦКОГО, писателя Мориса СИМАШКО, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, размышления о театре Виталия ВУЛЬФА.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Татьяны АНДРОНОВОЙ, Юрия БУИДЫ, Дмитрия БЫКОВА, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.